

Э. И. Смогов

ЗАПИСКИ  
ЖАНДАРМСКОГО  
ШТАБ-ОФИЦЕРА  
ЭПОХИ НИКОЛАЯ I

Издательство «Индрик»





**ЭРАЗМЪ ИВАНОВИЧЪ СТОГОВЪ.**

† 17 СЕНТЯВРЯ 1880 Г.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова  
Исторический факультет

Э. И. Смогозов

ЗАПИСКИ  
ЖАНДАРМСКОГО  
ШТАБ-ОФИЦЕРА  
ЭПОХИ НИКОЛАЯ I



«ИНДРИК»

Москва 2003

УДК 82-94  
ББК 63.3(2)47  
С 81

Редакционная коллегия серии «Deus conservat omnia»  
*Г. И. Вздорнов, А. Е. Иванов, Л. И. Шохин, Л. Г. Захарова*

Издание осуществлено при поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
(проект № 02-01-16073д)

**Стогов Э. И.**

Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I /  
Издание подготовлено Е. Н. Мухиной. — М.: Индрик, 2003. —  
240 с. (Deus conservat omnia.)

**ISBN 5-85759-228-3**

В своих «Записках» Эразм Иванович Стогов — родной дед по материнской линии известной русской поэтессы Анны Ахматовой — рассказывает о жизни и нравах мелкопоместного дворянства, в кругу которого на рубеже XVIII–XIX вв. прошло его детство и начал формироваться его характер; об учебе в Морском кадетском корпусе; о командировке в Сибирь; о службе в Симбирске в качестве жандармского штаб-офицера в 1830-е гг. В его воспоминаниях содержатся яркие характеристики многих известных людей, с которыми ему приходилось встречаться в течение своей долгой жизни; среди них были венценосные особы (императрица Мария Федоровна, император Николай I), государственные деятели (М. М. Сперанский, А. С. Меншиков, А. Х. Бенкендорф, Н. А. Протасов), декабрист Г. С. Батенков, герой Отечественной войны 1812 г. Д. В. Давыдов и др.

© Составление и подготовка текста, Е. Н. Мухина, 2003

© Московский гос. университет, 2003

© Оформление серии, издательство «Индрик», 2003



# Содержание

<i>Е. Н. Мухина. «Человек толпы»</i> .....	7
<b>I</b> .....	29
<b>II</b> .....	71
<b>III</b> .....	99
<b>Приложения</b> .....	177
I. Женитьба Э. И. Стогова. Полюбовное размежевание .....	179
II. Последние дни жизни Эразма Ивановича Стогова (Письмо его дочери в редакцию «Русской старины») .....	196
III. Инструкция графа А. Х. Бенкендорфа чиновнику III отделения .....	200
<b>Комментарии</b> .....	203
<b>Аннотированный указатель имен</b> .....	222



## «Человек толпы»

В начале 1878 г. редактор журнала «Русская старина» Михаил Иванович Семевский получил от никому до той поры не известного Эразма Ивановича Стогова письмо. Стогов упрекал редактора за задержку публикации «Записок» И. С. Жиркевича, остановившейся на самом интересном для него времени — времени их совместной службы в Симбирске; торопил с публикацией обещанных редакцией «Записок» декабриста Михаила Бестужева — «Миша Бестужев мой корпусной товарищ; гардемаринами мы дрались на дуэли»; и, наконец, предлагал собственный очерк о быте ссыльнокаторжных в Охотском солеваренном заводе, написанный на основе личных воспоминаний: «Если годится — напечатайте, не годится — бросьте. Если годится и вы пожелаете продолжения, то напишите, я найду свободное время и могу рассказать вам несколько эпизодов из быта ссыльно-каторжных и моих столкновений с ними... Хотите, я кой-что расскажу вам о Сперанском в Иркутске..? С Г. С. Батенковым я был тогда очень дружен. Я был действующим лицом в 1832 году, когда архиепископ бунтовал против генерал-губернатора Лавинского»<sup>1</sup>.

Обещанные сюжеты и то, что новый корреспондент неплохо владел пером\*, заинтересовали редакцию, и вскоре Стогов стал активным сотрудником журнала. В 1878–1879 гг. в «Русской старине» появились восемь глав его «Очерков, рассказов и воспоминаний», охватывающих период с конца 1810-х гг. (с момента отъезда Стогова на службу в Сибирь и на Камчатку) до конца 1830-х (ухода из Корпуса жандармов

---

\* Если говорить совсем точно, то — карандашом: все подготовленные им для редакции рукописи были написаны без помарок и исправлений, четким почерком и именно карандашом. В письмах к М. И. Семевскому Стогов жаловался, что на старости лет ему трудно писать пером.



и перевода в Киев). Первые главы автор подписывал «Э....ъ .....въ». Но после того как в конце 1878 г. в журнале были опубликованы рассказ Стогова о службе в Симбирске в качестве жандармского штаб-офицера и воспоминания И. С. Жиркевича<sup>2</sup>, назвавшего фамилию этого штаб-офицера, забота о сохранении анонимности в дальнейшем становилась бессмысленной. Следующие главы, появившиеся в январском номере журнала за 1879 г., он подписал уже полным именем: «Эразм Стогов».

М. И. Семевский был известен не только тем, что старательно выискивал в провинциальных и семейных архивах интересные материалы для публикации, но и тем, что побуждал людей, много видевших и переживших, к написанию мемуаров. Уступая его неоднократным просьбам, Стогов взялся за написание своей автобиографии, но завершить работу над рукописью для редакции не успел — умер в сентябре 1880 г. Рукопись, в которой рассказывалось о его семье, детстве и годах учебы, была доведена до окончания им Морского кадетского корпуса в 1817 г. и обрывалась буквально на полуслове: «Чтобы не забыть, пришел я из Охотска...» Эта часть воспоминаний была прислана в редакцию дочерью мемуариста и опубликована в десятом номере «Русской старины» за 1886 г. под заголовком «Посмертные записки».

Впоследствии выяснилось, что существовал еще один вариант воспоминаний, хранившийся в семье. В отличие от прежде опубликованного варианта, в котором хронологическая последовательность жизнеописания Стогова не соблюдалась и каждая глава могла восприниматься как самостоятельный очерк, здесь события описывались последовательно, начиная с момента рождения автора (1797 г.) и кончая завершением его службы в Киеве в начале 1850-х гг. Кроме того, в нем раскрывались фамилии многих действующих лиц, первоначально обозначенные лишь одной буквой: «Z» — Загряжский, «M» — Маслов и т. д. Новый редактор «Русской старины» — Н. Ф. Дубровин, — отметив существенное сходство обоих вариантов, счел целесообразным опубликовать в 1903 г. и второй вариант, пояснив, что в нем имеются некоторые интересные и важные для характеристики описываемой эпохи подробности. При этом, как отмечает современный исследователь В. А. Черных<sup>3</sup>, он подверг текст «семейной» версии некоторым сокращениям. Очевидно, во избежание новых протес-

тов \* со стороны получивших в «Записках» нелестные оценки деятелей редакция рискнула полностью назвать лишь фамилии некоторых второстепенных персонажей.

Так увидели свет два журнальных варианта воспоминаний Э. И. Стогова. Представляют ли они для нас какой-либо интерес? По-моему, несомненный, ибо дают достаточно редкую возможность услышать живой голос «человека толпы» (по меткому замечанию самого мемуариста). Дело здесь не в утолении праздного любопытства. Своеобразие любой исторической эпохи проявляется как в деятельности выдающихся в каком-либо отношении личностей, так и в мировоззрении и поведении многих миллионов их оставшихся в тени современников, чьи имена канули в Лету. Поэтому представление о любой эпохе неизбежно будет упрощенным, схематичным и в конечном счете — искаженным, если мы ограничимся изучением биографий только выдающихся людей. Сможем ли мы понять и оценить хотя бы их, если будем игнорировать их окружение и тем самым создавать вокруг них некое безвоздушное пространство?

Воспоминания Стогова воссоздают перед нами лишенную схематизма, чрезвычайно яркую и многогранную картину жизни российского дворянства, вовсе не такого монолитного, как порой это представляется. Перед нами проходят люди, различающиеся не только по материальному положению, но по самому образу жизни и мышления: утонченные столичные аристократы, получившие блестящее европейское образование, и патриархальные мелкопоместные дворяне, только начинающие привыкать к мысли, что их дети (сыновья) должны где-то учиться; увлекающиеся сложными мистическими учениями масоны и верящие в колдунов и чертей их менее образованные собратья по сословию; восстающие против царского деспотизма бунтари-декабристы и люди, видящие в императоре воплощение живого божества. И притом все они не живут изолированно друг от друга, а оказываются тесно связаны многочисленными нитями родственных, соседских, дружеских, служебных связей и, несмотря на резкие различия, сознанием принадлежности к общей корпорации.

\*

В начале 1879 г. «Русская старина» была вынуждена предоставить место для публикации гневного опровержения бывшего симбирского губернатора А. М. Загряжского, узнавшего себя под лицом, обозначенным буквой «Z» и назвавшего рассказ Стогова «выдумкой и клеветой».

Воспоминания Стогова дают нам также ценную возможность на его примере составить представление о личности рядового жандармского офицера эпохи Николая I. Хотя общепризнано, что высший орган политической полиции — III отделение Собственной Е.И.В. канцелярии и приданный ему Корпус жандармов были ярчайшими символами этого царствования, низовое звено этих учреждений, обеспечивающее связь между монархом и подданными, до сих пор оставалось в тени. Не уделив внимания взглядам и деятельности Стогова и его коллег, мы не получим полного представления ни о сути николаевской системы, ни о ее социальных корнях.

Прежде чем предоставить слово самому Эразму Ивановичу, стоит в нескольких словах очертить контуры его биографии, тем более что, по его собственному признанию, с хронологией у него дело обстоит не очень благополучно и некоторые моменты нуждаются в уточнении.

\* \* \*

Эразм Иванович Стогов родился 24 февраля 1797 года, в день поминовения святого Еразма — черноризца и схимника Печерского<sup>4</sup>, что, видимо, и определило выбор набожными родителями столь «необщеупотребительного» (по выражению М. М. Сперанского) имени для своего первенца.

Первые годы жизни Эразма прошли в подмосковном имении Золотилово среди многочисленной родни, большей частью таких же мелкопоместных дворян, как и его родители. Хотя речь идет не об отдаленном захолустье, надо признать, что за сто лет, прошедших со времени петровских преобразований, быт и нравы этой среды изменились мало, они оставались патриархальны и похожи на быт и нравы крестьян, отличаясь от последних лишь чуть большим материальным достатком и сознанием благородства своего происхождения. А в остальном — та же непоколебимая и искренняя вера в Бога, в их сознании естественно сочетающаяся с пережитками языческих представлений, то же безоговорочное признание авторитета «старшего» в семье, которым в зависимости от конкретных обстоятельств мог быть отец, тесть, муж, старший брат. «Старшему» безоговорочно подчинялись; за ним признавали право «вразумлять» провинившихся членов семьи посредством физического воздействия, которое, впрочем, не вызыва-



до обиды и часто сопровождалось выражением благодарности «за науку». Очень характерен в этом отношении рассказ о порке, которой дед мемуариста подверг зятя — отставного офицера, «суворовского сослуживца», отличавшегося к тому же крутым нравом. В детских воспоминаниях Стогова таких эпизодов немало.

Но уже в раннем детстве Эразм смог увидеть и другой мир — мир, в котором обитали их соседи Бланки, масонское окружение семьи его крестной матери — Т. С. Белого. Здесь даже общались между собой на другом языке — не на русском, а на французском; носили другие одежды; зачитывались не житиями святых, а «Бедной Лизой» Н. М. Карамзина и даже занимались сочинительством (в то время как отец Эразма — Иван Дмитриевич — с большим трудом мог написать обыкновенное письмо); совершенно иначе относились к женщине и т. п. Здесь некоторые проявления неограниченной власти старшего над младшим (подобные демонстрации Иваном Дмитриевичем своей власти над сыном перед семьей Белого) воспринимались как дикость.

Возможности родителей Эразма дать образование сыну были весьма ограниченны и, по признанию самого мемуариста, ему в будущем грозила опасность зачахнуть в должности какого-нибудь писаря уездного суда, но случай — покровительство родственника Ивана Петровича Бунина, служившего в Морском корпусе, — изменил его судьбу. По протекции Бунина Эразма 8 февраля 1810 г. зачислили в Морской кадетский корпус. 13 мая 1814 г. он был произведен в гардемарины, а 1 марта 1817 г. — выпущен из корпуса с присвоением чина мичмана<sup>5</sup>.

Первые два года службы он провел в плавании: сначала на корабле «Берлин» совершил рейс от Кронштадта до Кале, затем на галете № 8 курсировал между Кронштадтом и Петергофом. В 1819 г. Стогов выразил желание служить в Охотске, куда и был командирован вместе с двумя другими морскими офицерами.

В Сибири Эразм Иванович провел 14 лет — в Европейскую Россию он вернулся только в 1833 г. В течение этого времени он последовательно командовал бригами «Михаил», «Дионисий», «Екатерина», «Камчатка» в Охотском море; дважды повышался в чине: в 1820 г. его произвели в лейтенанты, в 1830 г. — в капитан-лейтенанты и назначили начальником Иркутского адмиралтейства.

После возвращения в Петербург Стогов недолго оставался морским офицером. Он был достаточно честолюбив и при этом хорошо понимал, что без связей и средств бедному провинциалу карьеру в столице сделать практически невозможно. Как он признается сам, материальные соображения сыграли далеко не последнюю роль при принятии им решения перейти на службу в формировавшийся Корпус жандармов. 29 октября 1833 г. перевод состоялся, и вскоре Эразм Иванович, стремившийся к тому, чтобы «быть старшим» — хотя бы и в провинции, а «не под командой» — пусть даже и в Петербурге, добился назначения в Симбирскую губернию. 8 января 1834 г. он прибыл к новому месту службы.

В Симбирске Стогов прослужил сравнительно недолго; точную дату его ухода из Корпуса жандармов установить не удалось. С уверенностью можно сказать, что он прослужил здесь до 1837 г.: в «Отчете о действиях Корпуса жандармов за 1837 г.» Стогов упоминается среди особо отличившихся штаб-офицеров, но в «Отчете» за 1838 г. в качестве симбирского жандармского штаб-офицера упоминается не он, а его бывший адъютант и преемник — капитан Шишмарев<sup>6</sup>.

Нет необходимости описывать деятельность Стогова в Симбирске — он сам подробно и увлеченно об этом рассказывает, поскольку очень гордится своим званием «нравственного полицейского». Ему не приходит в голову что-либо скрывать, боясь произвести невыгодное впечатление\*. Наоборот, присущее ему «веселонравие» и бесцеремонность, с которой он нередко вмешивался в частную жизнь посторонних людей, устраивал розыгрыши, побуждали не его, а редакцию «Русской старины» делать купюры, «приглаживая» некоторые эпизоды и опуская, например, чистосердечные признания об использовании личных связей для удаления из Киевской губернии «надоевшего» ему архиерея.

---

\* При этом, однако, надо учитывать, что мемуарист явно склонен к завышенной самооценке. Так, например (как это будет подробнее оговорено в комментариях), данная им оценка действий его предшественника полковника Маслова не совпадает с оценкой их общего начальства; некоторые действия высшей власти (особенно в кадровых вопросах) не являлись непосредственной реакцией именно на его донесения; а его слова об увольнении какого-либо должностного лица с предписанием «впредь никуда не определять» всерьез принимать просто нельзя.

Однако несколько слов о том, насколько Стогов соответствовал ожиданиям высшей власти, возлагавшимся на него и его коллег, и о том, какие качества позволили ему стать чрезвычайно характерной для николаевского царствования фигурой, сказать стоит.

В воспоминаниях современников и в трудах историков много говорится о произволе, чинимом жандармами, об их стремлении вмешиваться в дела далекие, казалось бы, от политики. Там же мы встречаем постоянные упоминания о раздражении, неприятии жандармов обществом. Возникают вопросы: во-первых, кто ответствен за произвол — высшие власти или недалекие непосредственные исполнители, неумело и неумно толкующие содержание должностных инструкций? Во-вторых, в чем же все-таки черпало силу III отделение для того, чтобы в течение нескольких десятилетий держать в повиновении всю Россию, если неприятие его населением, действительно, было столь сильным и всеобщим?

Можно согласиться, что произвол жандармов мог отчасти быть связан с тем, что Корпус жандармов набирался из людей, не имевших (как и Стогов) специальной подготовки и потому часто действовавших кто во что горазд. Можно согласиться и с тем, что секретная инструкция, данная А. Х. Бенкендорфом подчиненным (которой они так любили козырять), также таила в себе возможность произвола из-за чрезвычайно расплывчатых формулировок<sup>7</sup>. Но не это главное. Сама расплывчатость формулировок была не случайна, да и специальная подготовка жандармов при тогдашних представлениях о задачах политического сыска не очень требовалась.

В ту эпоху сознательная оппозиция власти только зарождалась, и власть не всегда могла четко определить, откуда исходит опасность. Почувствовав угрозу подрыва своего могущества, она просто ужесточила контроль за всеми проявлениями жизни всего населения империи, поручив его III отделению. Представления Стогова о том, что он не только имеет право знать про опекаемых им жителей «своей» губернии «все», но что это является его прямой должностной обязанностью, полностью соответствовали представлению о правильном государственном устройстве самого Николая Павловича. Суть воспоминаний, оставленных современниками об этом императоре, сводилась к одному — он считал, что его власть может и должна распространяться «не только на внешние



формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть», что он сам «в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению»<sup>8</sup>.

Жандармские штаб-офицеры как раз и были призваны стать «глазами и ушами» императора в провинции. Стогов как нельзя лучше соответствовал своему назначению. Во-первых, не всякому образованному человеку в середине XIX в. такая служба была по душе. Сохранились, например, воспоминания о том, что даже сам Л. В. Дубельт любил выписывать своим агентам вознаграждения, сумма которых была бы кратной цифре 3 — 30, 300 рублей («в память тридцати сребреников», как пояснял он в кругу знакомых)<sup>9</sup>, что явно свидетельствовало об определенном душевном дискомфорте. Стогов же считал эту службу своим призванием, она не требовала от него никакого насилия над собой. Во-вторых, на мой взгляд, несмотря ни на что, его можно считать человеком, который служил не ради выгоды (во всяком случае этот мотив не был определяющим), а ради определенной идеи. Да, он был практичен и у него были материальные интересы при переходе в Корпус жандармов (что он и не скрывал); должность жандармского штаб-офицера помогла ему даже подыскать невесту, которая бы его устраивала. Да, он был честолюбив и самолюбив: та же должность позволила ему занять в губернском обществе столь высокое положение, которое не обеспечила бы ни одна другая. Да, ему очень нравилось чувствовать свою силу\*: к нему за разрешением начать игру в карты обращался сам губернатор, а завязтые картежники по одному его слову «проигрывали обратно» деньги тем лицам, на которые он указывал; он один мог восстановить попранный справедливость (помирить жениха с невестой, утешить убитого горем отца) и наказать порок (добиться отставки болтливового губернатора, выставив его к тому же на посмешище перед верховной властью в своем отчете «в юмористическом духе»). Но в первую очередь его поведение на службе определялось не перечисленными мотивами. Главным для него, на мой взгляд, было стремление оправдать оказанное ему доверие монарха<sup>10</sup>, возложившего на него обязанность охранять существующий порядок вещей, который к тому же и монархом,

\* Справедливости ради надо признать, что эту силу он не стремился использовать во зло, по крайней мере — сознательно.

и им самим воспринимался как единственно правильный. Стогов не видел ничего предосудительного в сословных привилегиях дворянства, считая их естественным следствием честной и усердной службы многих поколений предков. Порядок начала XIX в., с его точки зрения, был намного справедливее того, который он наблюдал в пореформенной России под конец жизни, когда стали цениться деньги, а не «унаследованное от предков честное имя». Он был благодарен правительству, которое в дни его юности не делало различия между дворянами бедными и богатыми, и потому он — «сын дворянской фамилии, служилого рода», сын «честнейшего, но бедного отца» — получил возможность выучиться, стать офицером и заплатить правительству за прежнюю заботу почти 40-летней ревностной службой.

Стогову удалось идеально вписаться в созданную Николаем I систему управления государством, потому что у него с ней было много общего. Николаевская система главной опорой имела не армию или Корпус жандармов, а патриархальный уклад жизни, характерный для подавляющего большинства населения империи. Тот же уклад определил основы мировоззрения и Эразма Ивановича — «человека толпы», «плывущего по течению».

В родительском доме прошла незначительная часть сознательной жизни мемуариста: он покинул его 13-летним подростком и в следующий раз ненадолго заглянул сюда бывалым 36-летним морским офицером. Такая рано прервавшаяся связь с семьей, очевидно, утвердила его в мысли, что обучение в корпусе и служба принципиально изменили его, сделали непохожим на предков. Несмотря на то, что он сохранил о детстве и ближайших родственниках (кроме отца) самые теплые воспоминания, Эразм Иванович смотрел на патриархальный быт предков как бы со стороны — искренне удивляясь одним проявлениям «старины» и подтрунивая над другими (например, над верой сестренки в возможность материализации черта в доме). Действительно, чисто внешнее отличие было разительное: он получил достаточно солидное образование; обучился светским манерам (пожалуй, особенно он гордился своим умением танцевать на балах); вырвался из тесных границ родового поместья Золотилова и увидел мир — побывал как у западного (Кале), так и восточного побережья громадного Евразийского материка, дважды пересекал Сибирь

(вряд ли многие современники могли похвастаться тем же). Но он явно не осознавал, насколько большую роль в его жизни сыграло именно семейное воспитание — именно в детские годы в его сознание были заложены те мировоззренческие ориентиры, которых он (пусть не всегда осознанно) придерживался в течение всей своей жизни.

От предков к нему перешла искренняя и глубокая вера в Бога, что так ярко проявилось в последние дни его жизни. Образование позволило этой вере очиститься от народных суеверий, отцовского начетничества, стерло мнимое противоречие между нею и наличием в доме таких, например, благ цивилизации, как часы, которые, по представлениям деда мемуариста, якобы оскорбляли Бога.

От предков (частью укрепившись, частью приняв несколько другие формы) к нему перешло признание власти (в его восприятии прежде всего — нравственной) «старшего» в доме; а отсюда следовал естественный вывод о том, что таким «старшим» в доме, именуемом Россией, является император, стоящий на «недосягаемой высоте». Рядом с ним простой смертный (тот же жандармский подполковник) ощущает себя «инфузорией» и воспринимает как величайшую награду брошенную царем в его адрес фразу: «Какой у тебя там шут сидит? Но действует умно» \*. Подданные при приближении монарха превращаются в восторженную безликую толпу, теряют дар речи. Эразм Иванович не исключение: готовясь к предстоящему визиту Николая I в Симбирск, он «голову наполнил статистикою», чуть ли «не мог отвечать, сколько в губернии тараканов», но не предполагал, что «государи так просто спрашивают». Когда при представлении губернских чиновников Николай спросил: «Сколько лет вы здесь служите?», Стогов, вопреки своей обычной находчивости, растерялся: «...первая цифра пролетела сквозь голову 8, за ней 80, 800, никак не поймаю мысль... чувствую — кровь приливает к голове, стою и молчу... Государь очень милостиво, с его невыразимо привлекательной улыбкой тихо сказал: «Ну, что же вы молчите? Вы здесь служите три года, я помню вас и доволен вами, продолжайте служить» <sup>11</sup>.

\* Реакция Николая I на доклад А. Х. Бенкендорфа о том, как Стогову при помощи хитрости удалось склонить крестьян к повиновению, не применяя воинскую команду.



Николаю Павловичу, совмещавшему «в своем лице роль кумира и великого жреца» идеи «самодержавия милостью Божией»<sup>12</sup>, такое благоговение импонировало; а вид несущихся на протяжении нескольких верст за его каретой экипажей, рискующих «ежеминутно быть опрокинутыми», «очень забавлял»<sup>13</sup>. Таким образом, ни Стогову, ни боготворимому им императору, как и подавляющему большинству их современников, не приходила в голову мысль, что быть монархистом и растворяться, теряя свою личность, в толпе верноподданных — не обязательно одно и то же и что бурная любовь толпы недорого стоит по сравнению с верностью тех, кто готов служить царю и Отечеству, не унижая при этом своей личности.

Вспомнив формулу «служба царю и Отечеству», важно обратить внимание на акценты, которые Эразм Иванович в ней представлял. Для него она прежде всего означала службу монарху — конкретному (пусть даже и стоящему «на недостижимой высоте») человеку. Отвлеченные рассуждения о благе Отечества, появившиеся у его более чутких к духу Просвещения современников, ему, по всей видимости, были чужды. Возьмем, к примеру, его разговор со Сперанским в Иркутске в 1819 г. На сделанное Сперанским заключение, что выпускники Морского корпуса, очевидно, являются большими патриотами, он отвечал:

— Да, мы очень любим государя.

— А Россию?

— Да как любить, чего не знаешь; вот я еду более года и все Россия, я и теперь ее не знаю<sup>14</sup>.

Для сравнения любопытно привести мнение по тому же поводу ровесника Стогова — известного государственного деятеля А. М. Горчакова, который никогда не был потрясателем основ государственного устройства, но тем не менее в отличие от автора публикуемых «Записок» был человеком иной формации. Свою заслугу как дипломата он видел в том, что первым «в депешах стал употреблять выражение: „Государь и Россия“. До меня, — говорил он, — для Европы не существовало другого понятия по отношению к нашему отечеству, как только „император“. Граф Нессельроде даже прямо мне говорил с укоризною, для чего я так делаю. „Мы знаем только одного царя, — говорил мой предместник, — нам дела нет до России“»<sup>15</sup>.

Скорее всего, Стогов (подобно многим образованным людям своего времени) слышал и об «естественном праве», и об

«общественном договоре», но эти отвлеченные теории не затронули ни его сердца, ни его души. Пожалуй, он даже порой симпатизировал тем, кто эти идеи разделял. М. М. Сперанский, Г. С. Батенков вызывали у него, например, гораздо больше симпатий, чем сибирский генерал-губернатор И. Б. Пестель и его ставленник Н. И. Трескин. Но по мышлению, по поведению он все же ближе к последним.

Также не под влиянием достаточно популярных в начале XIX века теорий просветителей сформировалось отношение Эразма Ивановича к праву, а под влиянием семейных традиций. Во-первых, перед ним никогда вообще не вставал начинавший беспокоить некоторых его современников (включая Александра I<sup>16</sup>) вопрос о том, может или не может монарх закон нарушить. Ответ очевиден: воля монарха, естественно направленная на благо России и подданных, сама по себе закон. Во-вторых, у Эразма Ивановича была очень зыбкая граница между писаными законами и неписаными — т. е. традициями, «обычным правом». Как его отец, будучи судьей, судил крестьян прежде всего по справедливости, а не по закону, так впоследствии действовал и он. Сталкиваясь с крестьянскими волнениями, он не следовал слепо формальным требованиям закона и не добивался обязательного наказания виновных по суду. Дело здесь не в какой-либо особой доброте Стогова (как видно из его воспоминаний, он мог быть очень крут и без наказания (т. е. порки) бунтовщиков не оставлял), а именно в особенностях его правового сознания и приоритетах, т. е. в понимании того, что именно нужно для государственной пользы — восстановление поколебавшегося порядка и возвращение государю его временно заблудших, но преданных подданных или формальное наказание по закону, разрушающее крестьянское хозяйство и плодящее число озлобленных и недовольных. Надо отметить, что при всей типичности Стогова для николаевской России его стремление избегать соблюдения многочисленных бюрократических формальностей и добиваться успешного выполнения поручения, превращая серьезное дело в фарс, — достаточно редкое для чиновничества любой эпохи (а тем более для царствования Николая Павловича) свойство.

Характерная для правосознания Стогова ориентация на справедливость и традиции не менее ярко прослеживается и в его борьбе со взяточничеством. Он не стремится его искоренить как таковое, поскольку по его представлениям это абсолютно

нереально (на то и мелкие чиновники, «крапивное семя», чтобы брать взятки); он борется с особенно зарвавшимися судейскими, берущими взятки и от одной, и от другой стороны. Причем вновь предполагается не открытое наказание по закону, а не видимое никому отеческое «объяснение» в тиши кабинета, но такое, «от которого сойдет с головы три мыла»<sup>17</sup>.

Действуя в рамках патриархальной традиции, Стогов неосознанно переносит образ «семейных» отношений на подчиненную его надзору губернию. Даже губернаторов — представителей государственной власти — он оценивает в первую очередь не по деловым качествам, а по внеслужебным отношениям, которые складываются между ними и местным дворянским обществом. При нем в Симбирске сменились три губернатора: А. М. Загряжский, И. С. Жиркевич, И. П. Хомутов. И в каждом случае Стогов очень большое внимание уделяет налаживанию контактов между начальниками губернии и дворянами. Загряжскому он подсказывает имена двух главных «оппозиционеров» и советует помириться с ними, чтобы вернуть себе любовь общества. Сосредоточенность Жиркевича исключительно на делах и нежелание принимать участие в развлечениях местной знати побуждает его аттестовать Жиркевича начальству как человека честного, трудолюбивого, способного управлять тремя губерниями сразу, но — не больше и не меньше — как «вредного» для местного дворянства, которое способно «уважать губернатора, но когда он стоит во главе общества и делит с ним удовольствия». По мнению Стогова, как ни жаль с точки зрения службы, но «необходимо для общей пользы избалованного, но благородно преданного государю дворянства симбирского» сменить губернатора<sup>18</sup>. При приезде нового губернатора возникли те же проблемы...

Из дел, о которых рассказывает Стогов, сравнительно небольшая часть может быть отнесена к делам хотя не всегда политическим, но все же имеющим отношение к охране общественного порядка, например:

— надзор за несколькими сосланными в Симбирск неблагонадежными лицами (причем следует отметить, что отношение к ним у Эразма Ивановича спокойное, а порой сочувственное, как, например, к замешанному в деле декабристов П. И. Мошинскому, которому он старался помочь соединиться с семьей);

— неоднократно возникавшие крестьянские волнения;

— хлопоты по ликвидации раскольниковьего монастыря на р. Иргиз (правда, здесь он действовал как частное лицо, по личной просьбе князя А. Я. Лобанова-Ростовского);

— борьба с ворами (помимо описанного в «Записках» эпизода, можно вспомнить также о поимке приказчика, сбежавшего с деньгами хозяина<sup>19</sup>).

Пожалуй, значительно больше времени и внимания у Стогова требует опека над симбирским обществом, о частной жизни представителей которого он знает «все». Борясь с лавиной нарастающего революционного движения в начале XX века, отдаленный преемник Стогова только в страшном сне мог бы подумать о том, чтобы, помимо «политики», взвалить на себя еще ответственность за предотвращение обольщения девиц, неповиновение детей родителям, неблагоприятные поступки родственников по делам о наследстве, злоупотребления опекунов и т. д.<sup>20</sup> Но через высший орган политической полиции, каким являлось III отделение, в эпоху Николая Павловича ежегодно сотнями проходили и такие жалобы, и следовательно, сотрудники III отделения и Корпуса жандармов должны были ими заниматься.

Эразм Иванович этой категорией дел занимался без всякого стеснения, чувствуя себя достаточно могущественным, чтобы порой, следуя личным симпатиям, отойти от должностных инструкций, например, разрешить тайно играть в запрещенные в то время азартные игры в карты, помочь двум гусарам и сбежавшим с ними девицам тайно обвенчаться. Знание семейных секретов могло стать мощным оружием в руках непорядочного человека, но если верить Стогову, то главным его достоинством в этом отношении было то, что он их не разглашал.

В связи с этим следует отметить такую деталь, важную как для характеристики работы жандармского штаб-офицера, так и для оценки достоверности информации, содержащейся в «Записках». Приобретение знания «всего обо всех» могло осуществляться только одним способом, т. е. за счет сбора сплетен и слухов<sup>21</sup>. (Очевидно, именно поэтому Эразма Ивановича так пугала перспектива утраты расположения местных дам — «родных друзей», после чего ему, по его собственному признанию, оставалось бы только застрелиться.) Об этом обстоятельстве нужно постоянно помнить, так как сам Стогов не всегда проводит границу между рассказами о том, что видел сам, и тем, что слышал от других.

Чтобы созданная Николаем I система исправно функционировала, необходимы были не только опекавшие население жандармские штаб-офицеры, но и подданные, допускающие подобную опеку над собой. Для того чтобы начать тяготиться такой отеческой опекой, было необходимо почувствовать себя самодостаточной личностью, способной осознанно принимать решения и нести за них ответственность. Такими личностями могли быть не только лица, состоявшие в сознательной оппозиции системе, но с таким же успехом и люди, верой и правдой служившие царю и Отечеству, — достаточно было, чтобы они перестали уподобляться грибоедовским героям, способным унижаться и «жертвовать затылком» для того, чтобы быть «пожалованными высочайшею улыбкой».

В нашей исторической литературе практически не уделялось внимания изучению общественных настроений в провинции<sup>22</sup>, а по столичной общественной элите об общественной жизни во всей России в целом судить нельзя. Пребывание Стогова в Симбирске приходится на 30-х гг. XIX в. В это время в столицах существовали литературные салоны, бурно обсуждалось, например, «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, велись споры о путях развития России между будущими западниками и славянофилами, большим потрясением для россиян в начале 1837 г. стала гибель А. С. Пушкина. В воспоминаниях Стогова мы не встретим даже намека на отголоски этих событий. Боготворимое Стоговым симбирское общество проводит время в развлечениях; возмущается поступком губернатора Жиркевича, вытолкнувшего в гнев из своего кабинета проворовавшегося архитектора (а ведь архитектор — местный дворянин!); вступает в конфронтацию с губернатором Хомутовым, жена которого посмела сказать, что симбирское общество мелко для нее. И повод для конфронтации, и форма «протеста» — обструкция, устроенная дворянами Хомутову, весьма показательны для характеристики общества: мало того, что дворяне, сговорившись, не явились на устроенные для них губернатором бал и обед на 70–80 персон, так еще нарочно, дразня губернаторшу, всю ночь мимо ее дома гоняли пустые кареты.

Справедливости ради надо заметить, что портрет симбирского дворянского общества мог получиться не вполне адекватным, поскольку, бесспорно, в выборе сюжетов повествования, оценках ярко проявился менталитет самого автора мемуаров.

А ему весельчак Г. В. Бестужев, неслыханно обрадовавшийся возможности, выдав болезнь племянника за свою, на старости лет «показаться молодцом» и развонить по всему городу о печальных последствиях своих любовных похождениях, гораздо ближе, чем губернский предводитель М. П. Баратаев. Баратаев упоминается в «Записках» лишь как жертва грязной сплетни, пущенной губернатором Загряжским. А между тем это был один из очень образованных и интересных людей своего времени, тем более явно заметно выделявшийся среди провинциальных дворян. Он, например, увлекался поэзией, нумизматикой, был знаком со многими видными деятелями русской (А. И. и Н. И. Тургеневыми, И. А. Гончаровым и др.) и грузинской культуры (он происходил из старинного рода грузинских князей, был родственником известного грузинского поэта Н. Бараташвили)<sup>23</sup>. Были и другие примеры. Но в целом, очевидно, нет оснований сомневаться в том, что Стогов и обожаемое им симбирское общество идеально подходили друг другу, а потому находили общий язык лучше, чем его коллеги и представители столичной культурной элиты.

Дошедшие до нас официальные материалы III отделения показывают нам, что служба Стогова высоко оценивалась начальством. Его имя неоднократно выделяется среди особо отличившихся штаб-офицеров; и даже отмечается, что в июле 1835 г. его действия при приведении в исполнение сенатского указа об отмежевании помещице Нефедовой земель из владения татар в Сызранском уезде обратили на себя благосклонное внимание императора<sup>24</sup>. А в Отчетах А. Х. Бенкендорфа за 1835–1836 гг. на основании отзывов губернатора И. С. Жиркевича и направленного по высочайшему повелению в Симбирск кн. А. Я. Лобанова-Ростовского в связи с крестьянскими волнениями, возникшими при переводе казенных селений в удельное ведомство, он прямо характеризуется как «главнейший участник» событий, проявивший «чрезвычайное усердие» и «особенное благоразумие»<sup>25</sup>.

Но во время упомянутых крестьянских волнений между Стоговым и чиновниками удельного ведомства, которых он называл главными виновниками событий, возник острый конфликт. И в результате, очевидно, в 1837 г. он принял решение о переезде в Киев и уходе из Корпуса жандармов. До 1852 г.<sup>26</sup> он был управляющим канцелярией Киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова, затем вышел в отставку в чине полковника.

Как уже отмечалось, Стогов был теснейшим образом по службе и по духу связан с царствованием Николая I, и весьма символично, что его выход в отставку совпал с уходом самого императора; символичен и разговор между ними во время их последней встречи в 1850 г. Николай спросил:

«— А ты, старый драбант \*... все еще служишь?»

— Устарел, ваше величество, хочу в отставку.

— Погоди, вместе пойдем» <sup>27</sup>.

Наступала другая эпоха, за которой Эразм Иванович наблюдал уже как зритель. Последние годы жизни он провел в своем благоприобретенном имении Снитовка Летичевского уезда Подольской губернии, где умер 17 сентября 1880 г. Перед смертью, успокаивая дочь, он говорил: «Не плачь, Юша, о чем плакать? Ты видишь, я говорю без отчаяния, без горечи, пожил долго и счастливо, благодарю Господа и без ропота пойду, когда Он призывает меня!» <sup>28</sup>.

\* \* \*

Завершая рассказ об Эразме Ивановиче Стогове, можно сказать еще несколько слов. Его мемуары нельзя назвать хорошо известными широкому кругу читателей; но тем не менее занимательные рассказы «веселонравного» моряка и жандарма время от времени привлекали внимание любителей старых исторических журналов. В результате — в начале 1960-х гг. молодой лейтенант, командир брига «Михаил» Эразм Стогов воскрес на страницах повести для детей «Иди полным ветром» Ю. Давыдова. Писатель, посвятивший свое произведение известному мореплавателю Ф. Ф. Матюшкину, позаимствовал у Эразма Ивановича забавный рассказ о женитьбе английского путешественника Кокрена, а заодно ввел и самого мемуариста в число действующих лиц. Но на этом сходство литературного героя со своим прототипом и его судьбой заканчивается. В повести лейтенант Эразм Стогов погибает при столкновении русского и турецкого флотов во время греческого национально-освободительного восстания.

---

\* Драбанты — в Средние века особые отряды для охраны начальствующих лиц.

\* \* \*

При отборе материала для данной публикации за основу был взят подготовленный к изданию самим автором первый журнальный вариант «Записок» 1878–1886 гг., из которого были исключены главы, касающиеся службы Стогова в Сибири<sup>29</sup> (исключение сделано для главы о встречах автора со Сперанским и Батенковым в Иркутске в 1819 г.). В этом варианте деятельность жандармского штаб-офицера описана несравненно подробнее и красочнее, чем в варианте 1903 г. Текст журнальной публикации 1878–1886 гг. был сверен с хранящимся в ИРЛИ оригиналом<sup>30</sup>.

Рукопись Стогова, за исключением раздела по Симбирску, не подвергалась сколько-нибудь серьезной редакторской правке: в ряде случаев были изменены окончания слов с целью согласования главного и придаточного предложений; авторский текст для удобства чтения разбит на абзацы, которые в оригинале практически отсутствовали. Эти изменения сохранены и в данной публикации.

Что же касается раздела по Симбирску, то здесь правка была достаточно солидной: редакция опустила упоминание о рапорте «в юмористическом духе», в котором фактически высмеивался заболевший от страха губернатор; резкие характеристики разного уровня чиновников удельного ведомства; упоминание о смещении Стоговым «надоевшего» архиерея; о способах завоевания новым жандармским штаб-офицером авторитета у местного общества; о его «проверках», «шутках» его друзей и его самого над местными дворянами и т. п. В данном издании авторский текст восстанавливается полностью; отрывки, отсутствовавшие в предыдущей публикации, отмечены квадратными скобками.

В первом варианте записок имена практически всех упоминаемых лиц были скрыты (и в публикации, и в рукописном оригинале) под начальными буквами фамилий. Во втором опубликованном варианте незначительная часть имен раскрывалась на основе авторской рукописи, поступившей в редакцию в начале XX века. В данной публикации фамилии всех установленных лиц приводятся полностью.

Изменен (по сравнению с 1878–1886 гг.) порядок публикации отобранных глав: они располагаются в хронологической последовательности<sup>31</sup>.



Поскольку в публикации 1903 г. содержатся некоторые, хотя и незначительные, но любопытные дополнения (например, относительно настроений русского общества в 1812 г., характере отношений между мемуаристом и Л. В. Дубельтом и т. п.), было решено привести их в подстрочных примечаниях со ссылкой на соответствующий номер «Русской старины» за 1903 г.

К тексту «Записок» было решено добавить 3 приложения.

Первое из них — самостоятельная глава из публикации 1903 г., в которой рассказывается о женитьбе Эразма Ивановича, — является прямым дополнением к описанию его жизни в Симбирске<sup>32</sup>. Кроме того, описание семьи дворян Мотовиловых может представить интерес для поклонников творчества Анны Ахматовой, которая была внучкой Эразма Ивановича и его жены Анны Егоровны (урожденной Мотовиловой). Известно, что сама Анна Андреевна рассказывала, что в качестве псевдонима выбрала девичью фамилию своей прабабки, которую она называла «татарской царевной». Как сможет убедиться читатель, творческое воображение Ахматовой существенно изменило образы реальных предков — ее реальные прадедушка и прабабушка по материнской линии больше походили на типично русских провинциальных дворян типа капитана Миронова и его супруги из «Капитанской дочки» Пушкина.

Второе — письмо дочери Стогова (И. Э. Змунчиллы)<sup>33</sup>, рассказывающее о последних днях жизни и смерти мемуариста. Оно является логическим завершением жизнеописания Стогова и последним очень колоритным штрихом к его автопортрету.

Третье — секретная инструкция чиновнику III отделения<sup>34</sup>, текст которой помогает уяснить представления высших властей о задачах жандармских штаб-офицеров и круге предоставляемых им полномочий.

*Е. Н. Мухина*

## Примечания

<sup>1</sup> Русская старина. 1878. № 6. С. 316.

<sup>2</sup> Там же. № 9. С. 33–54.

<sup>3</sup> Черных В. А. Эразм Стогов и его «Записки» // Общественное сознание, книжность и литература периода феодализма. Новосибирск, 1991. С. 334.

- 4 Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992. Т. 1. Стлб. 868.
- 5 Наблюдается разноречивость в датировке тех или иных событий жизни Стогова. Так, например, в «Русской старине» отмечается, что он учился в Морском корпусе в 1807–1813 гг. (1886. № 10. С. 77); также, не называя года поступления в корпус, 1813 годом датирует его окончание В. А. Черных (*Черных В. А.* Указ. соч. С. 332). В данной статье все даты, относящиеся ко времени службы Стогова на флоте, взяты из официального издания Морского министерства, см.: «Общий морской список». СПб., 1894. Ч. 8. С. 254–255.
- 6 ГАРФ, ф. 109, оп. 223, д. 3 (Отчеты III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии и Корпуса жандармов с 1837 по 1839 г.). 1837 год как год окончания службы Стогова в Симбирске называется также В. А. Черных (Указ. соч. С. 332). Датировка этого события 1839 годом, приведенная журналом «Русская старина» (1878. № 12. С. 631; 1886. № 10. С. 77) и повторенная в Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (СПб., 1901. Т. 31а. С. 668), представляется неверной.
- 7 Оржеховский И. В. Самодержавие против революционной России (1826–1880). М., 1982. С. 48.
- 8 Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1990. С. 97.
- 9 Каратыгин П. П. Бенкендорф и Дубельт // Исторический вестник. 1887. № 10. С. 172; Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. 1826–1855. СПб., 1908. С. 122.
- 10 Очень характерны объяснения Стоговым мотивов своих действий, направленных на улаживание конфликта, возникшего между губернатором А. М. Загряжским и дворянством: «Разыграйся глупость — огорчила бы государя...»; или при решении направить в Петербург курьера, который должен был опередить уже отбывшего в столицу А. В. Бестужева, в личных интересах раздувавшего слухи о силе крестьянских волнений: «Боясь, что он [Бестужев. — Е. М.] беспокоит государя своими рассказами...» [выделено мною. — Е. М.] (Русская старина. 1878. № 12. С. 648, 663).
- 11 Русская старина. 1878. № 12. С. 675.
- 12 Тютчева А. Ф. Указ. соч., С. 96.
- 13 Описание одного из эпизодов той же поездки Николая I, о которой рассказывается в «Записках» Стогова, встречаем у А. Х. Бенкендорфа: «Утром, при оставлении нами Тамбова, дамы в экипажах старались объехать государеву коляску, чтобы иметь счастье взглянуть на него; когда же мы выехали на широкую столбовую дорогу, то началась настоящая скачка: одни экипажи стремились опередить другие, рискуя ежеминутно быть опрокинутыми, что продолжалось несколько верст. Эта живая панорама счастливых и хороших личек, беспрестанно мелькавших перед глазами

- государя и ежеминутно сменявшихся новыми, очень его забавляла» (Отрывок из записок графа А. Х. Бенкендорфа // Русский архив. 1865. № 2. Стлб. 1177).
- 14 Русская старина. 1878. № 11. С. 523.
- 15 Рассказы князя А. М. Горчакова // Русская старина. 1883. № 10. С. 168.
- 16 Можно, например, вспомнить его письмо к кн. М. Г. Голицыной, обосновывавшей свою просьбу к императору тем, что он выше закона: «Как скоро я себе позволю нарушить законы, кто тогда посчит за обязанность наблюдать их? Быть выше их, если бы я мог, конечно бы не захотел, ибо я не признаю на земле справедливой власти, которая бы не от закона истекала» (Письмо Александра I к кн. М. Г. Голицыной от 7 августа 1801 г. // Русская старина. 1870. № 1. С. 44–45).
- 17 Русская старина. 1878. № 12. С. 646.
- 18 Там же. С. 658; ИРЛИ, ф. 265, оп. 1, д. 21, л. 292.
- 19 ГАРФ, ф. 109, оп. 223, д. 3, л. 121 об. (Отчет о действиях Корпуса жандармов за 1837 г.)
- 20 Обзор деятельности III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии за 50 лет (1826–1876) // Вестник Европы. 1917. № 3. С. 100.
- 21 Сбор слухов не являлся отличительной чертой деятельности только Стогова. Руководство III отделения всегда относилось к ним с большим вниманием. В архивных фондах этого учреждения частично сохранились донесения агентов, в которых рассказывается обо всем ими слышанном в дворянских салонах, на улицах, в местах скопления простого народа и т. д. «Штаб-офицеры, — предписывал Бенкендорф, — обязаны мне доносить о всех злоупотреблениях, до них дошедших, и донесения делают свои на слухах, которые они не имеют способа проверять подробным исследованием без предписания начальства, и потому не могут и ответствовать за достоверность оных» (Цит. по: Оржеховский И. В. Указ. соч. С. 63).
- 22 В известной степени этот недостаток компенсируется в художественной литературе.
- 23 Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1992. Т. 1. С. 157.
- 24 ГАРФ, ф. 109, оп. 223, д. 2, л. 101 об. (Отчет о действиях чиновников Корпуса жандармов за истекший 1835 год).
- 25 Там же, л. 103 об. (тот же отчет); л. 207–207 об. (Отчет... за 1836 г.).
- 26 Датировка В. А. Черных (Указ. соч. С. 332).
- 27 Русская старина. 1878. № 12. С. 704.
- 28 Русская старина. 1886. № 10. С. 127.
- 29 Исключение этих глав диктовалось более скромными задачами и объемом данной публикации. Предложение же, высказанное

- В. А. Черных, о целесообразности подготовки полного академического издания «Записок» Э. И. Стогова мне кажется перспективным (*Черных В. А. Указ. соч. С. 336*).
- <sup>30</sup> ИРЛИ, ф. 265 («Русской старины»), оп. 1, д. 2657–2658.
- <sup>31</sup> Ч. I — *Стогов Э. И.* Посмертные записки // *Русская старина*. 1886. № 10. С. 77–128; ч. II — *Э[разм Стого]в*. Очерки, рассказы и воспоминания. Гл. IV // Там же. 1878. № 11. С. 499–530; ч. III — То же. Гл. V // Там же. 1878. № 12. С. 631–704.
- <sup>32</sup> Записки Э. И. Стогова. Ч. VIII // *Русская старина*. 1903. № 5. С. 307–330.
- <sup>33</sup> *Змунчилла Э. И.* Последние дни Эразма Ивановича Стогова (Письмо его дочери в ред. «Русской старины») // *Русская старина*. 1886. № 10. С. 125–128.
- <sup>34</sup> Русский архив. 1889. № 7. С. 396–397.

М[илостивый] г[осударь] Михаил Иванович <sup>1!</sup>

[К издаваемому вами журналу «Старина» вы приложили мой портрет для доказательства, что у «Старины» и сотрудники старики. Это расчет редактора и издателя; но выставив меня на сцену перед вашими читателями, вы вызываете меня рассказать о нравах во времена моего младенчества и юношества. С начала знакомства нашего] вы изъявляли желание, чтобы я написал подробно о моей жизни все, что сохранила моя память; это называется, кажется, автобиография; я не соглашался, мое убеждение было, что жизнеописание принадлежит людям почему-нибудь славным, гениальным и, по крайней мере, возвысившимся над средним уровнем народа: такие жизнеописания служат поучением читателям.

Я был и есть человек толпы, моя жизнь прошла по течению, не выделяясь из 80 миллионов. Конечно, долгая жизнь не могла пройти без борьбы с препятствиями, без счастья, несчастья. Все это было так мелко, так незаметно, как в любой из жизней 80 миллионов. [Опираясь на мои убеждения, я спорил с вами и не соглашался, но чтобы исполнить, хотя частично, ваше желание,] я счел достаточным в моих простодушных и искренних рассказах поместить периоды моей службы. Так, вспомнив о жизни Сперанского в Иркутске, я коснулся причин решимости моей ехать в Камчатку. Вспоминая об Иринее, я рассказал о невольном занятии должности начальника Адмиралтейства <sup>2</sup>. Вспоминая о службе моей в Симбирске, я объяснил причину желания моего перейти из флота и удачу поступления в корпус жандармов. Заканчивая службу в Симбирске, я кратко упомянул о невольном поступлении моем на службу в Киев, где и окончилась моя почти сорокалетняя служба. Мне казалось слишком довольно для публики о такой скромной жизни. [Но, невзирая на мои доводы, вы продолжали требо-

вать, а я не соглашался; но вы нашли средство покорить человека прошедшего века! Очень естественно, вы — человек современной цивилизации и далеко ушли вперед с того пункта, где я остановился. Видя мое упорство, вы приложили мой портрет к «Старине». Я не назову это хитростью, а настойчивостью достигнуть своего желания и покорить мое упорство. Итак,] мой портрет пред читателями «Старины»; волею-неволею приличие требует сказать без утайки — кто я такой. Уж если вы, уважаемый Михаил Иванович, по праву редактора и издателя журнала, заставляете меня высказываться, то я имею право оговориться: в разное время я вел записки для памяти, были и рисунки замечательных мест; одни записки зачитались, другие исчезли с многими переездами, рисунки украли в Якутске. Следовательно, рассказ мой есть воспроизведение памяти. Что будет искренно и только правда — за это я отвечаю, а что не будет последовательности, будут пропуски, — на том не взыщите, портрет мой будет моим оправданием, — в такой старой голове отвердевший мозг не легко поддается впечатлениям воспоминания давно прошедшего.

\* \* \*

Биографии, автобиографии начинают свой рассказ о происхождении своих фамилий, своих предков, роются в истории; мне, к счастью, не придется трудиться в этой бесплодной работе, мне не пришлось и пожить на своей родине. Все, что я знаю, мне известно из рассказов отца моего. Документов фамильных я не видал, да едва ли они и сохранились, — бедным людям не до истории. Отец мой слышал от своего отца, тот от своего и так далее.

Отец мой передавал мне, что, по преданию, наши предки выселены из Новгорода Иоанном Грозным<sup>3</sup>. Это основательно подтвердил мне Александр Николаевич Муравьев, служивший городничим в 30-х годах в Иркутске; он говорил мне, что он сам читал в своих фамильных записках, между многими фамилиями, подвергнувшимися остракизму<sup>4</sup> из Новгорода, вместе с Муравьевыми упоминаются и Стоговы\*; Муравьевы близко нас живут. В тогдашних московских пустошах дана маетность<sup>5</sup>

\* От старожилов новгородских я узнал, что несколько местностей — теперь пустырей, заросших лесом, носили название Стоговы пустоши, Стоговы озера и проч. (*Русская старина*. 1903. № 1. С. 131–132).

Золотилово, где и до сих пор рождаются Стоговы: Золотилово \*, Московской губернии, Можайского уезда, от Можайска 25 верст по Смоленской дороге <sup>6</sup> \*\*.

Предание говорит, что Стоговы в Новгороде были богаты, дед мой, Дмитрий Дементьевич <sup>7</sup>, владел селением на Беле Озере, вместо оброка ежегодно получал рыбу, что помнит хорошо мой отец, но в один год рыбы не привезли, а приехал староста и доложил, что приехал другой помещик и потребовал оброк. Дедушка махнул рукой, тем дело и кончилось.

Дедушка служил; знаю, что был военный; из всей службы его мне известно, что он препровождал в Охотск какого-то важного преступника и что он ездил на лосях, вероятно, на оленях. Я деда не помню, но весь околодок <sup>8</sup> знал, что он был колдун.

Отец рассказывал мне два случая: через Золотилово идет дорога в Ельну, куда и мы были прихожане. Ехала дворянская свадьба; дедушку забыли позвать. Подъехала свадьба с поезжающими <sup>9</sup> к околице <sup>10</sup>, лошади на дыбы и не пошли — худая примета; другие, третьи сани, лошади нейдут в ворота околицы; тогда вспомнили о своей ошибке, что не пригласили Дмитрия Дементьевича. К нему — дедушка спит. Просили, кланялись в ноги, но известно — колдуны скоро не прощали. Наконец, дедушка простил, взял лопату и метлу, да неизбежный

---

\* С 6-ю душами крепостных... в 20-ти верстах от Можайска по Смоленской дороге (*Русская старина*. 1903. № 1. С. 132).

\*\* Отец рассказывал, что при Екатерине II было генеральное межевание, а Золотилово должно было быть отмежевано к Смоленской губернии; комиссия исполнила просьбу деда, несколько деревень отмежевала к Москве. Золотилово составило границу и клином врезалось в Смоленскую губернию.

Земля в Золотилове до того бесплодная, что без навоза не производит никакой сорной травы, а если рожь на удобренной земле родится сам-третий, то считается хорошим урожаем. Посеву было всего 11 десятин. Трудно понять, как отец жил от такого скудного хозяйства? Долгов никогда не имел, были все сыты, одевались по-дворянски и на все доставало. Правда, более 200 дней в году было постных, но все-таки трудно свести концы с концами при скудных средствах — однако жили и кормили детей, да и бедный не уходил голодным, особливо странники. Именины, рожденья отца и матери справлялись со многими гостями. Делались ежегодно приношения в монастырь Колоцкой Божией Матери в двух верстах от Золотилова. Попала мышь в горшок, утонула курица в колодце, ни есть из посуды, ни пить из колодца нельзя, пока не освятит монах. Как припоминаю, жили прилично; ездили Великим постом ежегодно в Москву для годовых покупок (*Русская старина*. 1903. № 1. С. 135).

ковшик воды с углем, лег в воротах, заставил всех читать молитву, а сам стал сражаться с нечистым; разгреб снег, размел метлой, обошел поезд по солнцу, опрыскал водою и провел первые сани — поезд проехал. Как ни звали деда на свадьбу — не поехал.

— Как же, батюшка, наколдовал дедушка?

— Если, братьей ты мой, пересыпать дорогу порошком толченой печени медведя, то лошадь через дорогу не пойдет.

Друг деда приехал из Вятки, гостил две недели; тогда всякий помещик гнал водку, была не купленная. Дед упрашивал погостить еще два дня, друг не соглашался; отворяют конюшню, чтобы запрягать лошадей, коренная лежит без движения. Друг догадался, что это шутка деда, согласился гостить два дня. Дед заперся в конюшне; все слышали, как он с кем-то бранился, и слышали стук, борьбу. Дед отворил конюшню, и конь коренной здоров и весел.

— Как же это, батюшка?

— А если, братец ты мой, сделаешь из воска шарик с орех, да в середину закатать язык змеи и положить шарик в ухо лошади, то она упадет и скорее умрет, чем сделает движение; вынуть из уха шарик — лошадь веселее прежнего.

Раз отец с моим дедом шли по слободе<sup>11</sup> Колоцкого монастыря (версты две от Золотилова); в одном доме была крестьянская свадьба; дед с отцом присели на завалинке, дед сказал: «Надобно, чтобы они подрались», и действительно, после ссоры и ругани мужики вышли из избы и на улице пошли кулаки.

— Как же это, батюшка?

— Этого, братец ты мой, я не должен объяснять тебе.

— Почему же, батюшка?

— Грех делать зло людям.

Я деда не помню, но отец рассказывал, какой молодец был мой дед.

Раз привели цыгане дикую лошадь, никто и подойти не мог; дед при гостях подошел, быстро прыгнул, лошадь била и унесла. Через два часа дед приехал на лошади шагом, а ему было под 70 лет. При этом дедушка с укоризною сказал бабушке: «Ни одного в меня не кинули». Тогда это была острота; отец говорил, что гости много хохотали.

Отец показывал мне место с краю Москвы, где дед пускал свою лошадь на траву; он часто ездил в Москву верхом (120 верст).

— Лошадь не украли?



— Тогда, братец, не воровали лошадей.

Сохранилась расходная записка о поездке в Москву с бабушкой за годовым запасом. Платили дорогою на постоялом: за ночлег полушку<sup>12</sup>, за ужин себе — деньгу<sup>13</sup>, за лошадей деньгу, запаса в Москве на десять рублей.

У дедушки было три сына: Михаил, Иван и Федор. Были ли дочери — не знаю. Сыновья служили в армии; мой отец, Иван, был бессменным ординарцем Суворова, который за молодость звал его — Мильга; а кончил службу у Потемкина, был при его кончине. Прослужив 18 лет, вышел в отставку подпоручиком; медалей у него было много: и осьмиугольные, и круглые, и эллипсом. Рассказывал отец много. Дисциплина тогда была строгая; ездивши с Потемкиным в карете, должен был стоять навытяжку во весь путь. Отец был замечателен тем, что к нему не приставала чума, а поэтому он часто был начальником чумных лазаретов.

— Я, братец мой, ел с ними, спал на их кроватях.

— Как же вы, батюшка, не боялись?

— А молитва, братец, от всего сохранит, бывало все в дегтя, а я не пачкался.

— Батюшка, при вас брали Одесс?

— Эх, братец, какой Одесс, мы брали Хаджи-бей<sup>14</sup>. Мы с Дерибасом тихо подошли перед зарей, так тихо, что колеса у пушек были обмотаны соломой, тесаки обмотаны паклей. Пришли и стоим, никто и шепотом не говорил. Только стало всходить солнце, смотрим: крепость тихо поднялась на воздух, покачалась, покачалась, да и развалилась надвое. После мы и строили Одесс.

Мой отец очень любил рассказывать о старине. Певал он принятые тогда в армии припевы, например, большой припев при ограждении лагеря рогатками. Расходились спать по палаткам, и много припевов. Зачем я не записал? — Не думал, «Старина» потребует моих воспоминаний. Помнил отец мой весь артикул того времени. Развеселившись, отец захотел показать мне кой-что из артикула. Я скомандовал: «Налево кру-гом!»

— Не так, братец, направо кругом, — ружье к ноге, ружье спереди себя, перемени руки, правую ногу вперед, ногу на место, левую ногу вперед — всякое движение с приговором.

Чтобы сделать направо кругом — я насчитал до 18-ти темпов! Настоящий танец. Вместо «марш» командовалось «ступай». Что за удивительный народ был тогда! Отец рассказывал, что они с Суворовым зимою формировались в Полтаве, им мно-

го привели рекрут<sup>15</sup>, отец имел капральство<sup>16</sup>. Был отдан приказ — девятерых забей, а десятого выучи.

— Ко мне в капральство попали два из духовного звания; здоровяки, молодые. Они всегда держали нагнувши голову так, что бороды касались груди. Что я ни делал и как ни наказывал — не помогало. Я сделал заостренные лучинки и каждому по две лучинки одним концом упер в грудь, а острыми концами подставил по сторонам бороды. Что же ты думаешь, лучинки прокололи в рот, а бороды уперлись в грудь.

— Батюшка, вы видели, как кончался Потемкин?

— Я, братец, стоял в ногах.

— Не помните ли, что он говорил?

Он сказал: «Доктор, спаси меня, я полцарства дам тебе» (что это — пародия Шекспира?). Доктор поднес ему образ и сказал: «Вот твое спасение». Потемкин крепко прижал образ и скончался.

Четыре раза гостивши у меня в Киеве, много рассказывал отец; рассказы весьма любопытные для современников, но не записал — жалею.

Старший брат отца, Михаил, был капитаном, отец называл его мудрым, он управлял всем полком. Полк стоял в Варшаве; Михаил влюбился в польку, женился, через неделю жена ушла; Михаил нашел ее в публичном доме. Сошел с ума и в тихом, молчаливом сумасшествии долго жил у моего отца.

Меньшой, Федор, вышел тоже подпоручиком в отставку; холостой, захотел отделиться, а так как Золотилово состояло из 30 душ, то в уважение того, что Михаил жил у отца, Федор взял 10 душ и пустошь Соловьево.

Михаила я хорошо помню; он был выше моего отца, говорят, необыкновенно силен, всегда молчал, любил очень мою мать; бывало, вспыльчивый мой отец расшумится, Михаил молча, одной рукой вытолкнет его за дверь и дверь на крючок — все молча. Я не видал его улыбки. Отец уважал его как старшего брата. Отец рассказывал мне, когда я родился, Михаил целые часы носил меня и гладил. Раз в сумерки топились печи в Золотилове, дядя Михаил носил меня по зале, в комнате никого не было, случайно входит Никита и видит — Михаил поднес меня к печке, полной жару, гладит меня, называет «зайнька» и хотел изжарить. Никита бросился, схватил меня и сказал:

— Михаил Дмитриевич, что вы, сударь, опомнитесь!

Дядя отдал меня, взялся за голову и начал молча ходить, что он делал постоянно. В Можайск его не брали.

— Батюшка, как вы познакомились с моею матушкою?

— Зачем, братец, знакомиться: покойный батюшка приказал: «Иван, поезжай в Рузу к Максиму Кузьмичу Ломову, у него одна дочь, Прасковья, ты на ней женись, я уже все сладил, и приезжай с женой. Очень не хотелось мне жениться. Я дорогой нарочно не мылся, выпачкался, нарочно разорвал брюки на коленях, разорвал локти сюртука — думал, откажут, ничего не помогло, сыграли свадьбу, и я вернулся с женою.

— Почему же вы не сказали своему отцу, что вы не желаете жениться?

— Как можно, братец, сказать отцу! Божия заповедь — чти отца твоего — тогда все жили по заповедям, скажи-ка я — угодил бы на конюшню.

Я родился в 1797 году, февраля 24 дня, в Золотилове; я первый сын. У отца моего был слуга Никита, он был неразлучен с отцом всю его службу; это был преданный, честный и трезвый человек; в один час со мною у Никиты родился сын Иван и был назначен мне в слуги.

Я себя помню необыкновенно рано, хорошо помню старую мою няню, а более еще помню заткнутый за пояс сарафана крашенинный<sup>17</sup> синий с белыми точками платок; когда няня брала платок, то я уползал под софу, под стол, так боялся я этого платка, и немудрено — бывало, няня утрет мне нос жестким платком, то мало что выступают слезы из глаз, да долго летают искры кругом.

Мать рассказывала мне, что я родился в голодный год, жить было очень трудно, у ней не было молока, но она была рукодельница, делала из разноцветной бумаги, сплетая в узелки, корзинки, коробочки, посылала продавать и покупала для меня молоко.

Мать моя, Прасковья Максимовна, считалась первой красавицей по уезду; помню ее живой румянец, прелестную улыбку, русые длинные волосы, всегда улыбающиеся темно-серые веселые глаза, тихий, приятный голос; она считалась неподражаемой хозяйкой, была цивилизованной между подругами соседками, потому что умела писать. Обе бабушки мои были неграмотны. На вопрос мой отцу: «Как же это дворянки, помещицы, а не знали грамоте?»

— А на что, братец, женщине грамота, ее дело угождать мужу, родить, кормить и нянчить детей да смотреть в доме за порядком и хозяйством, для этого грамота не нужна; женщине нужна грамота, чтобы писать любовные письма! Прежде де-

вушка-грамотница не нашла бы себе жениха, все обегали бы ее, и ни я, ни отец мой не знали, что твоя мать грамотница, а то не быть бы ей моею женою.

Мать моя секретно от всех домашних пряталась на чердак и копировала с печатных страниц, что и можно видеть из сохранившегося у меня единственного письма ее ко мне 1820 г., послал бы в редакцию, — да жаль расстаться, только одно и сохранилось у меня письмо моей матери, писанное ко мне в Охотск. Мать моя как говорила, так и писала, она не могла различить букв «б» от «п», «г» от «к», «ж» от «ш». Мать моя была — сама доброта, скромная, тихая, любима всеми; я только и помню одни ее ласки, любил я ее до обоготворения и молюсь за упокой ее души! Отец мой был другого характера, он был до конца жизни суворовский сослуживец, ростом 2 аршина 7 вершков<sup>18</sup>, сложения сухощавого, мускулистый и замечательно силен и необыкновенно перенослив в физических трудах; до конца жизни держался прямо; вспыльчив, в доме и даже между близкими родными — властитель! Мне говорили, что он никогда не сказал лжи. Старшим по службе, богатым по состоянию не только не кланялся, унижаясь, но был крайне подозрителен, как говорится — был щекотлив, малейшее чванство осаживал, несмотря на лицо. Я много слышал о прямоте и гордости отца; чтобы не забыть, расскажу характерный случай, который и подтвердил мне отец.

В Можайске отец мой служил судьей по выборам<sup>19</sup>. Вздумал объехать Московскую губернию главнокомандующий Москвы князь Голицын, известный барич, пропитанный парижским воспитанием; посетил он со свитою можайский уездный суд; конечно, он не ревизовал дел; обратясь к моему отцу, спросил, отчего видит мало служащих? Отец отвечал, что канцелярские приходят на службу по очереди; «Для чего так?» — «Для того, что у двоих одни сапоги, да и у многих один сюртук на двух».

— Какая же тому причина?

— Жалованья три рубля в месяц, трудно одеваться.

Отцу показалось, что князь смотрит внимательно на судейское просиженное кресло, которое, вероятно, стоит тут с учреждения суда; гордому отцу подумалось, не подозревает ли князь в обычных взятках судью, отец не выдержал:

— Вы, князь, внимательно смотрите на мое кресло, я приглашаю вас сесть и уверяю — не замараются, князь: на этом кресле я сижу!

Князь, конечно, был удивлен, слыша непривычный для него язык.

— Для чего вы мне это говорите?

— А для того, чтобы сказать, что есть честные люди и на кресле судьи! Еще прошу, можете сесть и не замараетесь.

Князь скоро ушел, думая, что отец мой сумасшедший, но после узнал, что с ним говорил честнейший, хотя и бедный человек. После князь судье и канцелярии прислал денежное награждение.

Отец мой не очень любил читать гражданскую печать, но зато в церковных книгах был великий знаток. Он писал: «Императоръ, Иванъ, пісмо, пісаль, чісло» и проч.; своей орфографии был постоянно верен. Был очень богомолен и строго соблюдал посты. Хорошо помню, как приезжал к нам игумен<sup>20</sup> Колоцкого монастыря упрашивать отца помочь отправить всенощную<sup>21</sup> по уставу Феодору Тирону<sup>22</sup>, — кажется, бывает постом. Помню, как отец с книгою переходил с клироса на клирос<sup>23</sup> и звонким тенором что-то читал, и клиросы подхватывали; отец во всю службу командовал в церкви, и его слушались\*.

---

\* Эту характеристику частично дополняет, частично противоречит ей отрывок из мемуаров, опубликованных в 1903 г.:

Отец мой был совершенно нравственный человек, всю жизнь не знал вкуса в водке и вине, не дотрагивался до карт, был до крайности богомолен, посты соблюдал до аскетизма; все знали его как честнейшего и совершенно бескорыстного человека. Воспитание миновало его, церковную печать читал свободно, ну, а гражданскую — не очень быстро; да и считал греховным читать гражданскую книгу, писал тоже по старинке «императоръ» и тому подобное. Написать письмо даже ко мне ему нужно было не менее двух-трех черновых и чтобы во всем доме была ненарушимая тишина; помню, когда делал конверт, и тогда никто не смел пройти по соседней комнате. Нрава был серьезного, улыбка была редкой гостьей, и тогда непривычное лицо делало какую-то страдальческую гримасу. В опасных случаях был крайне смел, должно быть, был храбр. Характера был чрезвычайно вспыльчивого, над зависящими от него был неумолимо строг, даже жесток, перед людьми, на вершок выше его стоящими в иерархии — унижался до последней степени — клал земные поклоны, — таково было время его юности.

Родился он в 1766 или 1767 году, умер в 1852. Будучи в отставке, до старости служил по выборам: городничим, судьей, казначеем, и помню, был содержателем соляных магазинов. Верил отец, не рассуждая: молитва, пост, все постановления церкви — исполнял неотступно, строго, но верил в колдовство и в постоянную деятельность черта; надеть жилет, галстук, не перекрестясь, он не решился бы, но, исполнив все по своему убеждению, он уже ничего не боялся (*Русская старина*. 1903. № 1. С. 134).

\* \* \*

Меня тянет к воспоминаниям моего младенчества, которое неинтересно, как и вся моя жизнь, но для меня младенчество имеет такой же интерес, как и вся моя жизнь.

Верстах в пяти от Золотилова есть село Праслово, там жил богатый помещик Борис Карлович Бланк, отец известного писателя экономиста Петра Бланка<sup>24</sup>. Отец мой был коротко знаком. В летний день отец с матерью собрались сходить пешком в Праслово. Отец пошел вперед. Мать не могла, видно, расстаться с первенцем, взяла меня с собою; когда догнали отца, он сердился на мать, зачем взяла меня, что я устану, а он не понесет. Прошли с версту, я сел и говорю: «Устал». Кажется, мать была беременна, отцу было жаль мою мать. Как теперь гляжу на ореховые кусты, между которыми шла тропинка. Отец вырезал орешину, очистил головку и говорит:

— Эразм, какого я дам тебе коня, только смотри, чтобы он не сшиб тебя, ты крепко его держи, ну-ка садись верхом, я посмотрю, умеешь ли ты ездить.

И дал мне прутик погонять. Я только сел верхом, как лошадь понесла меня, отец как ни кричал: «Держи, держи!», я не мог удержать и добежал до Праслова гораздо прежде родителей.

В 1833 г. рассказывал я отцу этот случай; он удивился, как я могу помнить, и, вспоминая подробности, усердно смеялся. Еще воспоминание изумило отца.

Мы жили в Можайске, я рассказал отцу, как умерла няня и как ее соборовали<sup>25</sup>. Отец сказал: «Ты, братец, помнить этого не можешь», но когда я рассказал отцу подробно расположение нашей квартиры и того амбара, где ее соборовали, и как дьякон гадал по Евангелию, будет ли жива, а на вопрос протопопа тихо отвечал: «Нет», рассказал все подробности церемонии, хотя и до сего времени не случалось видеть соборования, отец изумлялся, слушая меня. Уже кончалась служба, приходит горничная Анюта и говорит: «Няня уже умерла, я видела, что душенька ее пролезла по углу черной кошкой». Няня, действительно, тихо скончалась, но на меня так подействовала уверенность, что душа должна отделиться в каком-нибудь видимом образе, что я только в гардемаринах<sup>26</sup> освободился от этой уверенности, — так впечатлительно младенчество!

Вероятно, я был шалун; отец, кажется, с трех лет наказывал меня розгами, и не скажу, чтобы редко; я ужасно боялся отца, только ласка матери уменьшала мое горе.

Когда мне было года 4, дедушка Максим Кузьмич Ломов приказал прислать меня к нему в Рузу. Я был единственный внук. Дедушка был небогатый помещик Рузского уезда; говорили, что уже полстолетия был казначеем в Рузе. Дедушка был огромного роста, брюнет с черными густыми волосами; говорили, ему было около 80 лет \*, был прямой, весьма здоровый, без очков. Бабушка Настасья Ивановна была среднего женского роста, толстая, но подвижная и крепкая старушка. У них был сын Гаврила и моя мать. У дедушки было два дома на соборной площади, оба дома стояли глаголем <sup>27</sup>, в одном жили дедушка с бабушкой, а в другом помещались присутственные места <sup>28</sup> Рузы; был еще флигелек в переулке, там жил какой-то чиновник, женатый на дальней родственнице дедушки. Такого счастливо-го житья, как мое у дедушки, и вообразить нельзя! Бабушка покупала расписные муравленые <sup>29</sup> кувшинчики, и, бывало, насыплет далеко не полный кувшинчик сухого гороха, нальет воды и с вечера поставит в печурку, а поутру оказывается горох выше кувшинчика; я приходил в изумление и с восторгом ел горох. После обеда пряничные коньки, петушки и человечки, да все с золотом. Любил я полузамерзшее молоко — все мне давала горячая любовь бабушки! Из большой прихожей отгороженная перегородкой комната была моей спальней. Бабушка сама меня укладывала спать, читает молитвы и целует, и облизнет мне глаза. Придет дедушка, сядет на кровать и не уйдет, пока я не усну. Помню, спрашиваю дедушку, как он знает, когда я засну, он отвечал: «Знаю»; когда я спросил: «Дедушка, сплю я или нет», дедушка отвечал: «Не спишь». — Должно быть, я невелик был.

Поутру приходит родственница из флигелька, падает в ноги дедушке и просит заступиться, что она несчастлива. На вопрос — «Какое несчастье?», она, заливаясь слезами, говорит, что вот уже несколько дней все делает назло мужу, бранила его, а он и пальцем ее не тронул, точно она ему чужая — какая же это любовь? Долго высказывала свое горе. Дедушка нашел поступки мужа дурными, и бабушка подтвердила, какая же это любовь, что муж и не поучит свою жену. Отпустил дедушка просительницу с утешением, что он поправит это дело. После обеда по призыву явился виновный муж; это был мужчина лет 30-ти, прилично одетый, высокий, стройный. Не помню всего,

\* В варианте 1903 г. сказано: «Деду было около 100 лет» (*Русская старина*. 1903. № 1. С. 139).

что говорил дедушка, сначала тихо, потом гневался, виновный просил прощения и более молчал. Дедушка, закончив, сказал: «Чтобы я более о таких безобразиях не слышал, не то смотри у меня, ты знаешь, как я учу!»

Дело было к вечеру, уже зажигали огни, мы с Иваном (я забыл сказать, что и ровесник мой, лакей, был со мною) побежали через сад, одно окно флигеля выходило в сад; мы на завалинку, отдули замерзшее стекло и видели и даже слышали, как жена грубила и бранила мужа; он взял со стены полотенце, свил жгут так крепко, что он стоял в руке, схватил жену за косу, бросил на пол и преусердно бил жгутом; она извивалась под ударами жгута и все продолжала бранить; он бил ее долго, она затихла, просила прощения, подползла, целовала ноги, руки, он еще прикрикнул и пригрозил жгутом, она стояла покорно и безмолвно; кончилось тем, что он обнял и поцеловались; разговора мы не слышали. На другой день явилась битая, такая веселая, кланялась в ноги дедушке и бабушке, целовала руки и благодарила.

Припоминая этот случай отцу в Киеве, я спросил его, неужели супружеская любовь прежде выражалась побоями?

— А как же иначе? Подумай, от кого тебе тяжелее неприятность, от человека тебе близкого или от постороннего?

— Конечно, от близкого.

— На неприятность от постороннего я и внимания не обращаю, а огорчение от близкого хватает за сердце. А кто же может быть ближе жены? Если я не обращаю внимания на послушание или грубые слова жены, значит меня не трогают ее неприличные поступки, значит я имею к ней чувства, как к чужому человеку. Мы жили по Писанию: Бог сочетает, человек не разлучает. Жена повинуется своему мужу, а муж да любит свою жену. Есть русская пословица — люби жену как душу, а бей ее — как шубу. Муж глава в доме, ему повинуются все, тогда только и порядок. Так, братец, жили наши деды, так жили и мы, и были счастливы.

Не помню, долго ли я жил у дедушки с бабушкой, думаю, более года, — счастливые не считают время. Дедушка был постоянно серьезен, бабушка ласкова, приветлива ко всем. У дедушки не было часов, он считал грехом иметь часы, говорил: «Что же я буду верить Бога, что ли?» Но зато хорошо помню особенность дедушки: во всякое время дня и ночи он верно говорил, который час, это и мой отец подтвердил: разбудить дедушку ночью и на вопрос — он отвечал без ошибки, который час.



Зимой сказали, что приехал мой отец. Я страшно испугался, уверен был, что отец приехал высечь меня. Во время общей суматохи я забрался в кухню и спрятался под печку, нашел там короб и заставил себя. Схватились меня, кличут, я слышу, а слезы так и льются. Сбились все с ног, искали долго, во всем доме тревога. Не помню, кто и как нашел меня под печкой. Обрадовались, дедушка с бабушкой ласкают меня, а я горько плачу, на вопрос о чем, я признался, что отец будет меня сечь. Тут только объяснилось, что отец часто меня сек. Дедушка строго спросил отца:

— Иван, правду говорит Эразм?

Отец отвечал:

— Правда, — шалун, неслух, не покорить теперь, что из него будет!

У дедушки от зала была отгорожена узенькая его спальня. Дедушка гневно сказал: «Иван, поди-ка сюда». Двери на крючок. Я с бабушкой был в зале и слышал, как дедушка сердито говорил: «Да ты с ума сошел! Ты дурак». Что еще было, не помню; потом ясно были слышны удары; я видал эту плеть из толстого ремня, сколько ударов получил отец, я не знаю, но слышал, как он просил прощения. Далеки эти времена от нас! Не правда ли — как это странно и даже невероятно теперь?! Но я расскажу, может быть, еще страннее и невероятнее о своем действии в 1833 г.

Отец гостил дня три или четыре, с ним были ласковы, и отец был как дома. Любовь дедушки ко мне простиралась до того, что он поручил мне продавать гербовую бумагу<sup>30</sup>, которая хранилась под кроватью дедушки. Купивший мужик давал мне грошик<sup>31</sup>, который я и отдавал прятать бабушке. Как видите, я признаюсь, что брал взятки, но примите и другое мое искреннее и честное признание, что кроме этого, может быть, бессознательного взяточничества, я до сей минуты взяток не брал. Помню раз, когда приходили человек 20 за бумагой и дедушка узнал, то сказал: «Надобно бы, чтобы они поправили плетень около бани».

Я говорил, что у дедушки был сын, Гаврила Максимович; он служил в уездном суде. Ему было лет 20, ростом с дедушку, прездоровенный, но голос был тонкий. Заговорили о свадьбе моего дяди, он ездил в Москву за покупками, о которых я ничего не знаю, но знаю, что он привез новость для всей Рузы — это невиданные тогда смазные<sup>32</sup> сапоги, о них говорили очень много, а мне памятно вот почему. Я был назначен шафером<sup>33</sup>. Вечером

было человека четыре гостей, вероятно сослуживцев дяди; сидели около небольшого стола, я залез под стол и, вероятно, лизнул глянец на сапогах, которые были до колен, и, находя сладким, верно преусердно лизал, а когда шафер вылез из-под стола, то я оказался негром. Бабушка сначала испугалась, а узнав, увела меня умывать. Этот случай много доставил смеха; при этом дядя рассказал, что сапожник научил его делать ваксу — надобно варить воск, сахар и сажу (как это помнится).

Привезли невесту; как я хорошо ее помню — высокая, стройная, круглолицая, с живым румянцем, крошечку ряба, голос мягкий, как будто сиповатый, но приятный, глаза серо-голубые, волосы русые. Была очень нарядна, убрана разноцветными лентами, походка степенная, важная. Смеялась очень охотно. Олена Яковлевна, фамилии не знаю, помещица Можайского уезда, у ней было 6 душ. Видал ли ее прежде дядя — не знаю, думаю — нет. Еще за неделю, как только решили быть свадьбе, меня перевели в спальню бабушки, а мою комнатку приготавливали для молодых. Сколько я помню, заботились, чтобы не подшутил кто-нибудь и не наколдовал бы в комнате: известно, что редкая свадьба проходит без колдовства, без порчи. После меня спала в моей комнате няня Гаврилы Максимовича; днем комната постоянно была заперта на замок; кроме няни входила утром и вечером бабушка, крестила на все стороны и шептала; вообще очень оберегали комнату.

Была зима, в сумерках долго благословляли, все с земными поклонами. Собор был против дома, но все поехали в санях, я впереди с образом. Церковь была полнешенька. Венчание было по чину, я заметил и рассказал бабушке, что дядя целовал Олену в церкви, а дома не целовал. Домой я опять впереди с образом, опять земные поклоны, с хлебом и солью, с образами. Гости было немного, только семейные родственники; рано поужинали. Говорили, чтобы молодые ужинали в венцах<sup>34</sup>, но дедушка не позволил. Гости проводили молодых до дверей комнаты, а в комнату за молодыми вошли только дедушка с бабушкой и я, вероятно, по праву шафера; я внес все тот же образ. Дедушка сидел молча и весьма серьезно смотрел за порядком, бабушка шептала молитвы. Когда надобно было дяде снимать сапоги, дедушка сказал: «Сядь на кровать», молодая стала на колени, сняла у мужа сапоги и чулки. Дедушка сказал мне: «Подай». Я подал молодой плетку, но цивилизация проникла и в Рузу: плетка была сплетена из красных и белых ленточек, да и ручка была обшита шелковой материей. Молодая

серьезно приняла плетку и покорно подала мужу, тот взял как должное и плетку положил под подушку. Дедушка благословил, дал поцеловать руку и ушел; бабушка дождалась как легла молодая, крестила их и комнату, благословила, дала поцеловать руку и увела меня. Бабушка заперла дверь на замок и крепко наказывала няне спать снаружи поперек дверей, а что услышит — читать «Да воскреснет Бог».

Поутру поднимали молодых бабушка с родственницами, меня тут не было. Вышли молодые распринаряженные, особенно тетка, и в шелку, и в лентах; произвели молодые поклонение и получили от всех целование. В прихожей собрались сеньные девушки<sup>35</sup>. Дедушке подали стакан водки, он поцеловал молодую и весело выпил до капли, девушки запели плясовую. Дедушка взял бабушку за руку и начали плясать русскую. Дедушка бойко притопывал и ходил молодцом, бабушка плыла лебедью. Дедушка подлетал, бабушка отмахивалась, у бабушки был платок в руках, — как красиво она им помахивала и то призывала, то отгоняла дедушку; долго продолжалась пляска, наконец, дедушка пошел вприсядку как юноша, победил бабушку и горячо старики поцеловались. Я слышал, как родственницы говорили, что теперь и молодые не пройдут так, как Настасья Ивановна прошла правым боком! Вспоминали бойкость дедушки, сознаюсь, я не смог бы совершить такого подвига! Утренние танцы тем и кончились. Гости приходили и приезжали, стол накрыт был во всю залу. Тогда обедали рано. Молодые сидели в голове стола, я даже помню кушанья: студень, заливная рыба, поросенок под хреном и сметаной, разварная рыба, ветчина с кореньями, щи, к ним пирог с кашей, кашица, пирог с курицею, лапша, пирожки с говядиной, уха, пирог с морковью. Три или четыре каши, языки, мозги с телячьими ножками и головкою. Жаркие: гуси, телятина, баранина, утки и жареная рыба, к жаркому соленые огурцы, разные кисели. Сладкие слоеные пироги, пирожки, оладьи с медом, из сладкого теста какие-то ленты, розаны. Может быть, и еще что было. После каждого кушанья мужчины пили по стаканчику водки, было и вино в бутылках, но его никто не пил. Дамы пили мед. То и дело заставляли молодых целоваться. Припоминая, изумляюсь тогдашнему гомерическому аппетиту. Сидели за столом, думаю, часа 3 или 4, и все-то ели и все-то пили. Я и теперь много ем, даже на удивление моей дочки, но я чувствую и сознаю себя младенцем перед героями на свадебном обеде! Едва доверяю своей памяти, припоминая, сколько

каждый выпил водки! Но все было чинно, не шумно, прилично; помню, к концу обеда соседи между собою много целовались. Вставали из-за стола все тверды на ногах, пьяны не были. Молодая во весь обед краснела, как маков цвет, а дядя глядел победителем. Барыни и от меда зарумянились и повеселели. Тогда чаю и кофе не пили.

После обеда запряженные сани стояли у крыльца. Молодые сели в рогожный закрытый возок, как в карету, с ними старшая тетка. Меня бабушка украсила: на шапку повязала красную длинную ленту и на левый рукав выше локтя — красный бант. Меня посадили на козлы, по левую сторону меня стоял порядочный мешок с мелкими серебряными деньгами, думаю, это были копейки и пятачки. По правую — две стопы маленьких клетчатых сложенных вчетверо платков. Мы ехали на тройке, лошади тоже были украшены, помню красивую дугу, дедушка один в пошевнях<sup>36</sup> сзади. Все гости разместились по саням.

Помню, был ясный, тихий и не холодный день. Поехали шагом. Народу, мне казалось, несчетная тьма. Должно быть, вся Руза стояла по обе стороны дороги. Моя обязанность была бросать в народ серебряные деньги и платки таким порядком: горстку денег направо, платок налево, другой раз, куда бросил деньги, туда платок. Народ ликовал, кланялся, снимая шапки. Временем останавливались, тогда все: купцы, чиновники, мещане — подходили к дедушке, поздравляли и целовали у него руку. Так мы проехали по всем улицам Рузы и уже в сумерки возвратились домой. Платки я все разбросал, а денег осталось немного в мешке. Кроме гостей обедавших, пришли еще гости, вероятно, дедушка приглашал дорогою. Разумеется, бабушка целовала меня и называла умником, дала мне полные руки сладкого со стола, накрытого в углу залы, — чего-чего тут не было: разное варенье, пряники, орехи, миндаль, рожки, изюм, леденцы — это привез дядя из Москвы, моченые яблоки, брусника, большой стол весь был уставлен. На столе горели восковые свечи, а на подоконниках много горело сальных свеч. Прихожая была полна прислугою, девушек было более, чем утром. Сначала пропели поздравительную песню, поминали имена дяди и тетки; потом плясовую. Дедушка с бабушкой не танцевали, а пошли парами молодые русскую. Дядя отлично танцевал, все хвалили. Тетка, разодетая, стройная, с веселыми глазами, тоже удостоилась общей похвалы. Дядя танцевал и трепака, и казака, а как пошел вприсядку — только мелькал, некоторые

из гостей даже вскрикивали от восторга. Молодые открыли бал, помню, все танцы кончались поцелуями. Долго сменялись пары, кажется, все переплясали. Потом составили круг — помнится, все гости, взявшись за руки, ходили кругом, потом парами вертелись. Этот танец и другие не подлежат описанию, потому что они были выше моего понятия. До полночи я, сидя, уснул, бабушка унесла меня к себе в кровать. Говорили, что бал продолжался далеко за полночь, кончился ужин на рассвете. Я поздно проснулся и удивлялся, что весь дом спал. Вот первая свадьба, виденная мною в жизни.

Как я ни был мал, но Рузу хорошо помню, мог бы указать и теперь, где стояли дома дедушки; летом с Иваном мы переходили какой-то ручеек, на косогоре росли редкие березы, под березами норы; говорят, в эти норы жители прятали свое имущество от набегов Литвы<sup>37</sup>; я нашел там две серебряные копейки с дырочками, которые сохранились у меня и до сего часа. Вот только и памяти о Рузе, да глубокое и горячее чувство воспоминания о нежных ласках дедушки и бабушки.

Не хочу скрывать — когда я писал эти строки, так живо припомнилась мне незабвенная любовь этих отживающих стариков, что у меня не один десяток капнул слез, но таких слез, каких бы я желал и вам, читатель!

Еще помню, мне очень нравился запах божьего дерева, растущего по ограде собора; я нюхал часто, но не сорвал ни листочка — это грех, потому что церковное.

Моя мать соскучилась обо мне, писала и просила прислать меня. Горько я плакал, прощаясь с дедушкой и бабушкой, плакали и старики. Напутственный молебен, благословений, поцелуев — без счета; бабушка рыдала и говорила, что более не увидит меня; мучительны были для меня эти минуты, я плакал неутешно. Надавали мне подарков, благословили образами, на дорогу бабушка дала полный мешок сладкого, о печеном и жареном я не говорю — много. Кучер и лакей получили много приказаний; уже я сидел в телеге, отъехали, бабушка выбежала, остановила, еще плакала, крестила и целовала.

Судьба не привела меня увидеть дедушку, бабушку, дядю; из всех рузских родных я видел тетку Олену Яковлевну; в 1847 году она приезжала в Киев на богомолье; старуха весьма бодрая, даже не переменялась, годы наложили свою печать, но так немного, что я без труда видел в ней молодую, разубающую мужа и подающую ему плетку в знак покорности и послушания. Много мы вспоминали старины; когда я напомнил ей о

разувании мужа и плетке, старуха покраснела, целовала меня, а у самой слезы на глазах; очень удивлялась, как я могу так ясно помнить подробности, что я тогда был малютка. Старуха не могла наговориться о том счастливом времени — теперь все не то, нет тех чувств родства, нет той беззаветной дружбы, нет и веселья прежнего. Я соглашался с теткой и уверял, что с большею нашей старостию еще будет хуже, скучнее.

Дед мой умер с горя, когда узнал, что Наполеон взял Москву; бабушка и месяца не прожила после деда. У тетки с дядей были сын и дочь, были еще дети, да умерли. Жили они согласнo, в довольстве; дядя простудился, заболел горячкою и умер, «а какой был здоровяк!». Тетка утерла слезы. Мы не наговорились о старине, а тетка всякий раз выпивала чашек 20 чаю вприкуску и уверяла, что такого чая нельзя купить и в Москве.

\* \* \*

Из Рузы нас с Иваном перевезли в Можайск; мой отец был тогда соляным приставом<sup>38</sup>. О нежных ласках матери я не говорю; я приехал от ее родителей, она хотела все знать, но я едва ли мог удовлетворить ее любопытству; отец дал мне поцеловать руку.

Казенный магазин для продажи соли был каменный, у самого шлагбаума на Московской заставе; часто я бегал к отцу, он давал мне мешочек с солью фунта<sup>39</sup> в два, вероятно, это образцы, по которым принималась соль; мешочки я относил к матери. За заставой, по левую сторону почтовой дороги, было кладбище с длинными шестами, и их было много; тут хоронились колдуны, и эти колья забивались колдунам в спину, чтобы не вставали. Это кладбище считалось страшным по ночам, рассказов о нем ходило много.

Раз вечером у нас были гости, заговорили о страшных случаях на кладбище колдунов; о женщинах говорить нечего, но даже мужчины находили страшным сходить на это кладбище; один отец мой находил, что с молитвою ничего нет опасного. Отца подзадоривали, и суворовский сослуживец взял шапку и палку и пошел. Мать моя очень плакала, и плакали дамы. Возвратился отец и принес срезанную щепку от шеста. Отец гордо смотрел победителем, и все удивлялись его смелости.

В Можайске был тогда городничим<sup>40</sup> Василий Иванович Пан-Поняровский, очень брюнет, первый щеголь, первый остряк, кудрявые черные свои волосы постоянно зачесывал рукою с за-

тылка; он один ходил в круглой шляпе. Мать моя любила играть в бостон, конечно, без денег; около ее тетрадка с расчетом платежа за игру; постоянный партнер был Пан-Поняровский; он всегда острил, помню его одну остроту: «Рал-рал-рал, храбрый я капрал, рал-рал-рал, черт бы меня взял». Все смеются.

Исправник <sup>41</sup> Дмитрий Петрович Кобылин, большой охотник с собаками, давал мне заячьи лапки, а красавица его жена Пелагея Ивановна давала мне много пряников и леденцов; у них не было детей; меня очень ласкали; Кобылины были богаты, и это были аристократы Можайска.

Близ Можайска есть монастырь, называется Лужецкий <sup>42</sup>. Говорили, что в этом монастыре иеромонах <sup>43</sup> Константин — из полковников и человек весьма ученый, хорошо знает французский язык. Не знаю, как устроил отец, но поместил меня с Иваном в монастырь; нам отвели келью во втором этаже. Никто о нас не заботился, никто не учил; обедали мы в трапезе с монахами; после обеда монахи собирались в так называемую беседную, комната с нарами. К нам в келью входили не иначе, когда мы ответим «аминь». Летом мы бегали по садам монастырским, а зимой свели дружбу с мальчишками в слободе; тут мы поучались, смотря с завалинок на оргии монахов у вдов-солдаток; видели, кроме разврата, много кощунства. Не буду описывать ни оргий, ни кощунства — неприятно вспоминать. В беседной только я и слышал укоризны, интриги против казначея, пересуды об игумене — зависть и злоба были господствующие разговоры. Более года я жил в монастыре и вынес познания: *la fourchette* — вилка, *et le couteau* — ножик. Не знаю, знал ли более отец Константин. Если б знал мой отец, какое вредное влияние сделал он на впечатлительный от природы мой характер, то, конечно, не помещал бы в монастырь, — дурное впечатление осталось на всю жизнь о монашеской жизни.

Переехали мы в Золотилово. В одну из побывок в Праслове туда приехал из Петербурга лейтенант Иван Петрович Бунин.

Борис Карлыч Бланк был женат на Анне Григорьевне; мать ее Варвара Петровна была рожденная Бунина и старшая родная сестра Ивана Петровича; она жила постоянно при дочери. Бунин был известен во всем Петербурге как весельчак, балагур, музыкант, танцор, остряк; о нем будет речь после; он был адъютантом известного адмирала Ханыкова. Приезд его в Праслово — была эпоха. Большого роста, статный мужчина, мундир с золотом, короткие белые штаны, шелковые чулки, баш-

маки с золотыми пряжками, шпага с блестящим темляком <sup>44</sup> — я глаза проглядел! Когда отец подвел меня к нему, он спросил, куда думают меня отдать?

Отец скромно отвечал, что он не богат, не знает, что и делать со мною.

Бунин взял меня за ухо, посмотрел на руку и сказал: «Отдайте в Морской корпус <sup>45</sup>, тем более, что его и укачивать не будет, а об определении я устрою».

Не знаю примет, но Бунин отгадал: меня ни одного раза не укачивало в море.

С этой минуты было решено, что я буду моряком.

У Бланка не было детей; Анна Григорьевна и Варвара Петровна пожелали, чтобы я пожил у них; отец и мать с благодарностью согласились; у них еще были дети. Я, конечно, был рад, потому что избавлялся от домашних розог.

Меня поместили на антресолях, там было две комнаты, в одной жил я, а в другой — князь Петр Иванович (кажется, так) Шаликов. Это был молодой человек, сухой сложением, темный брюнет, с большим носом (теперь назвал бы его — некрасивый армянин <sup>46</sup>); должно быть, он был кончивший студент. Чем занимался Шаликов и занимался ли — я никогда не видал, он только гулял.

Борис Карлович Бланк, говорили, был архитектор, другие говорили — сын архитектора; он был очень богат (говоря сравнительно с моею роднею); кроме Праслова, у него были имения в Дорогобужском уезде Смоленской губернии, в Тамбовской — более не помню. Бланк был лет за 40, довольно полный. Супруга его, Анна Григорьевна, молодая дама очень нежного сложения и хорошенькая. Мать ее, Варвара Петровна, еще не старая старушка, маленького роста, мне казалось, любила наряжаться; я износил несколько шелковых чулок ее; помню ее туфельки без задников с каблучками: при всяком движении ноги ее каблучки хлопали, отделяясь от ноги. В доме был отличный порядок, чистота мною невиданная, всегда тихо, никто не приказывал, а все делалось. Все семейство говорило по-французски, так же говорил и Шаликов.

Более всего памятен мне большой сад, разбит геометрически верно дорожками, обсаженными березками, стриженными как одна. Дорожки тверды, должно быть шоссированы, и всегда чисты, сад загляденье! Помню, много мы собирали грибов в саду. В честь Ивана Петровича Бунина была иллюминация; после этих иллюминаций я очень много видел — это была



главная и любимая забава Бланка. Иллюминации были всегда разнообразны. Сколько могу теперь сообразить, устраивались абрисы<sup>47</sup> храмов, триумфальные ворота, абрисы разных зданий, все здания освещались шкаликами и плошками, — я бы назвал теперь архитектурными чертежами. К каждой иллюминации, к каждому зданию, памятнику кн. Шаликов обязан был писать стихи<sup>48</sup>. Живя в этом превосходном семействе, я видел только ласку и милую доброту.

Не умею объяснить себе, как случилось, что я заговорил по-французски, хотя меня никто и ничему не учил. Более всех обращала на меня внимание Варвара Петровна, она требовала от меня опрятности. Бланк много проводил времени в библиотеке; заходя туда, я видал его то за книгой, то за чертежами; он был так добр, что ни разу не выгнал меня. Раз, помню, я застал в библиотеке сына священника, кончившего учение; Бланк экзаменовал его и при мне спросил: «Тупой угол, острый угол?» (самому удивительно, как могла сохранить память непонятные слова). Семинарист не умел отвечать, Бланк с неудовольствием сказал: «Не знаю, чему вас учат!»

В Праслово гости приезжали не часто, но люди богатые и почему-нибудь значительные, более занимались разговорами, что, конечно, было не по моей части, хотя я постоянно присутствовал в гостиной. Один раз приехал граф Мусин-Пушкин<sup>49</sup> с дочерью, девицею лет 16-ти, она воспитывалась или жила в Петербурге; было и еще несколько семейств гостей, был и мой отец один. Бланк с графом и другими мужчинами были в другой комнате; отец сидел в гостиной близ стола. Шалуныя научили графиню тронуть пальцем в середину спины отца. Молоденькая шалуныя только тронула, как отец вскричал нечеловеческим голосом, вскочил и, опаматовавшись, серьезно, не торопясь, взял графиню за ухо и хорошо выдрал с приговором: «Молода, сударыня, видно, не учили тебя уважать старших!»

Страшный крик отца, крик и плач графини вызвали всех мужчин из другой комнаты, и какова же картина: граф Мусин-Пушкин видит, что незнакомый мужчина только что отодрал за ухо его сиятельную дочь!

Граф, видно, вполне был светский, может быть, человек придворный; узнав, в чем дело, ни слова не сказал отцу и кончил ласковым замечанием дочери.

Дело в том, что отец мой, будучи совершенно здоровым, не мог переносить прикосновения к кости спинного хребта, так было до конца жизни. Если во время сна он сам как-нибудь

нечаянно дотронется чем-либо твердым или жестким до спинного хребта, закричит на весь дом и вскочит с кровати. Я спрашивал отца, что он чувствует, когда дотронутся до спинной кости, он отвечал: «Не знаю, братец, я теряю память».

— Что же, вам больно или щекотно?

— Не знаю, через минуту я ничего не чувствую.

— Батюшка, я помню, как вы выдрали графиню за ухо, ведь это неприлично.

— А по-вашему прилично, что девчонка, у которой и молоко на губах не обсохло, дурачится и не уважает старших? А что она дочь графа — эка невидаль! Граф такой же дворянин!

Один раз я бегал в саду и, добежав до пруда, с ужасом увидел, что князь душит прехорошенькую горничную Машу; я начал кричать во весь голос, князь вскочил и толкнул меня в пруд. Не знаю, глубок ли был пруд, прибежал близко бывший лакей, вытащил меня. Об этом происшествии не было говорено ни одного слова, но Маши я в доме не видал; говорили, что она в скотной избе. Князь Шаликов и прежде не говорил со мною, а после этого и подавно. Как я ни был мал, но понимал, что на князе платье было очень старо и изношено. Раз я слышал, как лакеи говорили между собою: «Хорош князь, у него и куста нет своего». Конечно, у меня составилось мнение, что каждый князь должен иметь свои кусты.

Не знаю точно, но думаю, что у Бланка я жил года три, мне было хорошо, но у бабушки было лучше, что-то недоставало, должно быть незаменимой беззаветной любви! Видно, и у детей есть это инстинктивное чувство.

\* \* \*

Отец в Можайске казначеем; меня взяли в Можайск и посылали в народную школу<sup>50</sup>. Ходили мы в школу вместе с Иваном. Школа была там, где собор, — на горе.

На этой горе есть озеро, о котором много ходит рассказов в народе; говорят, нет на середине дна и называют *окном*; будто не прибывает и не убывает вода; говорят, давно выплыла смоленая доска и проч. В соборе есть чудотворная каменная статуя Николая Чудотворца<sup>51</sup>, в большой рост человека; она сделана гладко, я бы теперь сказал, из мелкозернистого плотного талька; взгляд весьма суров и оклад лица не русский, не славянский. В левой руке держит серебряную церковь, а в правой, кажется, меч. Народ чрезвычайно уважает эту святыню; статуя

стоит близ южных дверей. Говорят, Петр Великий определил сумму на неугасимую лампаду.

Весьма довольно досталось мне розог за эту школу; как усердно сек меня отец — я хоть один случай расскажу.

Были мы с отцом в соборе и оба приобщились. При выходе с выносом чаши должно сделать земной поклон, мальчишка зазевался, отец в экстазе так бросил меня об пол, что у меня хорошая была шишка от чугунного пола. Пришли домой; отец был в синем фраке с гладкими золотыми пуговицами; платок так крепко повязывал на шею узлом назад, что был красен. Помню, такой довольный после причастия, сел на софу, кожаная подушка софы была набита пухом, так что сесть на одном конце софы — другой конец поднимается горой. Отец подозвал меня и ласково спросил:

— Эразм, а какое читали «Евангелие»?

Я был мальчик наметанный, бойко отвечал: «Рече Господь к своим ученикам...».

Я не знал; отец вспылil, взял меня за грудь куртки, поднял и сказал: «Если б я знал, что ты родился таким дураком, я бы в колыбели задушил тебя. — Розог!» Василиса со слезами брала меня за руки к себе на плечи, и отец своими руками сек длинной розгой, кряхтя при всяком ударе, и хорошо высек.

Хорошо, что отец не спросил меня в Киеве, какое читали «Евангелие»? — Быть бы мне сечену.

В школе ничему не учили; учитель часто приходил к концу класса и некоторым давал отметки на азбуках, отметка «посредственно» — розги. В школе шум, гам, драка; учила меня более мать, и я выучился читать. Писал, кажется, все буквы. Бегали мы в школу с Иваном. Памятно мне одно обстоятельство.

Пан-Поняровский вздумал ровнять главную улицу Можайска<sup>52</sup>; улица вся была вскопана; бегая и шая, я разбил один ком земли и нашел серебряную копеечку; мы вместе с Иваном, разбивая комья, нашли пять копеек и все с дырочками. После старые люди по преданию говорили, что до нашествия Литвы на этом месте был гостинный двор, который сожгли.

Когда мы с матерью жили в деревне, меня то и дело брали к себе гостить; сколько я помню, все женщины были мне тетки, а было много, но все были бедные помещицы; это я теперь знаю, а тогда я видел только ласки и родную любовь. Подалее я гостил у Василия Васильевича Лопухина; он был крестным моим отцом, считался не из бедных, у него было

душ 40; старик с утра до вечера разбирал и собирал серебряные часы, более ничего не делал. Старик любил выпить, вечером подопьет, ложится на кровать и тоненьким голоском, звонким и высоким альтом поет: «Во саду ли в садовке хорошо пташки пели, хорошо воспевали» и проч., тогда в доме все знали, что это значит; старика не беспокоили, и он никого не беспокоил, пел всегда одну и ту же песню и с песней засыпал.

У него была одна только дочь Авдотья Васильевна, девица лет за 20, красивая, румяная — кровь с молоком; она была заветным другом моей матери. Эта тетка имела особенность: у ней ежедневно шла кровь из носа; если ей подать небольшую посуду, то у ней идет кровь часы, а если большой таз, то кончалось несколькими каплями. Она спала в большой комнате с дверью на балкон и в сад. Тетка устроила мою кровать в своей комнате. Случалось мне не один раз видеть ночью, как тетка тихо выходила в сад, дверей не затворяла, и я слышал, с кем-то она шепталась. В этой деревне я видел, когда посылали девок рвать крыжовник, то тетка наблюдала, чтобы все, не переставая, пели песни. Кажется, мать объясняла мне, что это для того, чтобы девки не ели ягод.

В 1833 г. тетка Авдотья Васильевна вдова, старуха веселая, — я более всех теток любил ее, как друга матери моей. Я самым невинным образом рассказал, как тетка по ночам вставала и шепталась в саду. Старая тетка покраснела, зажимала мне рот, повторяя: «Врешь, врешь, экие скверные эти мальчишки, где и не ждешь, там они и подсмострят».

Живя в Золотилове, я с отцом часто бывал в Федоровском, не помню, сколько верст, [недалеко], но помню, за р[екой] Колочей; там жил помещик Гаврило Осипович Белаго, он был двоюродный брат отцу. Белаго был из богатых (по-нашему); мать Белаго, Татьяна Семеновна, была крестной моей матерью. Белаго был женат на Озеровой, ее называли весьма ученой; говорят, она знала еврейский язык, но была препротивная, смуглая, длинная, худая, с большим носом. Все не любили ее, да и она была горда, не улыбалась, со всеми холодна, молчалива, более сидела в своей комнате. Тогда детей у них не было, после был один сын, весьма недавно умер. Сам Белаго, должно быть, был образованный, а может, и ученый человек; я заключаю из того, что у него часто собирались и гостили мартинисты<sup>53</sup>; помню Осипа Алексеевича Поздеева, это отец знаменитого в Москве Алексея Осиповича<sup>54</sup>; Гамалея, еще человека три, которых забыл. Отец знал, что они масоны; воображаю, какой

товарищ им был отец! Невзирая ни на что, они были очень ласковы к отцу и разговор был у них отцу по плечу. Помню один случай. Почему-то отцу вздумалось доказать мое повиновение и терпение: приказав мне молчать, взял за мизинец левой руки, сжал около ногтя так, что у меня из-за ногтя пошла кровь; я молчал и смотрел ему в глаза; отца уговаривали, он не слушал, но вошла Татьяна Семеновна, оттолкнула отца, меня уvelte и перевязала палец. В Киеве, когда я разговаривал о них с отцом, он продолжал называть их масонами.

— Они, братец, не любили меня, я мешал их сношениям с сатаной.

— Чем же, батюшка, вы мешали им?

— Как замечу, братец, что они усядутся около столика и развернут свои тайные книги и начнут шептаться, я про себя читаю молитву, — им и ничего не удастся и разойдутся. А то, братец, бывали случаи, как замечу, что они точат ножи, невзирая на погоду, тихонько выйду, да и давай Бог ноги домой, — опасные, братец, были люди!

Воображаю, как забавляло этих умных людей.

Мы жили в Золотилове, когда отец не служил, и в Можайске, когда отец занимал должность по выборам. Когда отец жил в Золотилове, часто к нему приходили казенные крестьяне<sup>55</sup> — судиться. Придут, кланяются, просят рассудить и говорят: «Как скажешь, так и будет». Отец никогда не отказывал, разберет не по законам, а по совести, непременно убедит и примирит.

Просители никогда не приходили с пустыми руками — полотенце, чашку меду, большой пряник, простой хлеб. Отец никогда не отказывал — всегда принимал как должное.

— Батюшка, я помню, как вы судили, но зачем же вы брали подарки?

— Чтобы не оскорбить, — это древний обычай, чтоб судью не утруждать с пустыми руками; что в народе отвердилось из века, того нарушить не должно, вот если б я взял в уездном суде — это было бы грешно и позорно для чести.

Когда я возвратился из Камчатки, у отца не было замка ни на одном амбаре.

— Не воруют у вас, батюшка?

— Не случалось, братец, Бог хранит.

В народе говорили соседи: «Тот пойдет воровать к Ивану Дмитриевичу, кому жизнь наскучила», и говорят, был случай, укравший мешок овса не дошел до дома, умер на дороге.

Я ничего не сказал о меньшом брате отца, дяде Федоре Дмитриевиче \*. Он долго был холостым, очень часто бывал у нас, очень почитал отца и еще больше уважал и любил мою мать; я был баловнем его; бывало, отец высечет, плачу, придет дядя, начнет представлять, как пьяные мужики валяются, расхохочусь и забуду о розгах.

Как старшие два брата были серьезны, так меньшей был веселонравен.

Раз отец при родных, обратясь к дяде, сказал:

— А помнишь, Федор, как мы с братом Михаилом отпороти тебя в Одессе?

— Еще бы не помнить!

Все три брата были офицерами; Федор повадился играть в карты и знаться с худыми людьми, братья и высекли его; с тех пор дядя не брал карт в руки \*\* 56.

\* \* \*

Так время шло и дошло, что я должен был подписать просьбу об определении меня в Морской корпус; помню, я подписывал по карандашу, прежде учился по карандашу на простой бумаге, а потом уже на гербовой. Говорили, что на всякий случай в метрическом свидетельстве мне убавлено два года.

На святках <sup>57</sup> посылали меня с Василисой слушать под окнами у купца Жаркова; отец говорил сыну: «Нечего медлить, после праздника отправляйся в дорогу».

Пришли — и как сказали матушке, она целовала меня и очень плакала, это значило, что я поеду. В Праслово приехала Анна Петровна Бунина и обещала отвезти меня в Петербург с тем, чтобы отец привез меня в Москву к назначенному числу.

Сборы были долги, одели меня в серенький полусюртучок, заячью шубу, теплые сапоги. Пока собирали, мать не осушала глаз; после напутственного молебна мать обняла меня, да так и замерла, — твердила, что больше не увидит меня; предчувствие не обмануло мать: я больше не видел ее. Я хорошо помню, что не плакал, думаю, потому, что уезжал от розог. Сделаю последнее замечание о жизни в доме родителей: пока я был дома, много

---

\* Федор Дмитриевич был умнее отца; это[т] был грамотный (*Русская старина*. 1903. № 1. С. 140).

\*\* Это тогда не было странно, старший брат в отсутствие отца имел права родителя, а известно, что граф Каменский своего сына полковника пред фронтом наказал палками (*Русская старина*. 1903. № 1. С. 140).

родилось детей и все умирали, а как уехал, все стали жить; мать в беременности ушиблась и умерла семнадцатым ребенком.

Отец сам повез меня в Москву; остановились у родных, были у Осипа Алексеевича Поздеева; он, узнав, что я поступаю в Морской корпус, обещал написать к сыну Алексею Осиповичу, который был лейтенантом и корпусным офицером. Отец мой низко кланялся и просил, чтобы меня строго наказывали. Не помню я, по какому случаю отец водил меня на колокольню Ивана Великого; после отец рассказывал, что я лез за перилы и хотел спрыгнуть, отец едва успел схватить меня за брюки. Вероятно, закружилась моя голова на такой высоте. Видел колокол, пушку. Ходил по церквям. Пришло время отправляться.

В рогожную повозку уложили меня с теткой Анной Петровной Буниной; отец сел с ямщиком. По выезде за заставу остановились, отец благословил меня, но я помню более всего его длинный палец (так мне казалось), которым он грозил мне и приказывал прилежно учиться, а не то он сам приедет, чтобы я это помнил! \*

Грозный палец и обещание приехать были последние слова отца ко мне, и надолго. Мы поехали.

Анна Петровна Бунина была девица и хорошенькая; она называлась десятая муза <sup>58</sup>, едва ли не первая девица-поэт <sup>\*\* 59</sup>.

---

\* Похоронил я своего отца и мать и не плакал, а провожая тебя, не удержал слез — так помни же это. Боже тебя сохрани, если услышу о тебе что-нибудь худое, — задеру! (*Русская старина*. 1903. № 1. С. 144).

\*\* По неизвестным мне связям Бунины были близки к Ахвердову, бывшему учителю и кавалеру великих князей Николая и Михаила Павловичей. Он жил в Михайловском замке, в котором скончался император Павел. Будучи 17 лет, А. П. Бунина приехала погостить у Ахвердова, и он, видя бедность девушки, посоветовал просить милости у вдовствующей императрицы Марии Федоровны и написать ей письмо. Деревенская девушка, конечно, затруднялась сочинением письма, сидела около окна и сочиняла. Ахвердов подошел сзади, взглянул и удивился, увидев, что девушка пишет письмо стихами. Этот первый труд Буниной был представлен Марии Федоровне. Бунина получила 500 руб. пенсион. Это ободрило девушку, она написала послание к императору Александру и получила от него тоже пенсией. Тогда Бунина стала писать ко всей царской фамилии. Знаю, что даже Константин Павлович и тот дал ей 150 руб. пенсии, так что бедная девушка была обеспечена в жизни. Подобный успех в стихотворстве ободрил Бунину, и она стала сочинять басни, оды, элегии и пр. Сочинений ее набралось на два томика с разгонистой печатью. Стихи стоили страшного труда Анне Петровне, но зато и читать их можно только за большое преступление. Может быть, их никто и не читал, но все хвалили Бунину (*Русская старина*. 1903. № 1. С. 143–144).

В высшем кругу Питера была как своя, часто являлась ко двору; я это говорю к тому, что такая особа ездила тысячи верст без девушки, без лакея!

В Твери мы остановились; тетка оделась нарядно и поехала во дворец к великой княгине<sup>60</sup>; долго там была, а на другой день мы поехали. В[еликая] княгиня ожидала герцога Георга из Новгорода и поручила тетке при встрече отдать большой конверт. Мы встретили герцога на дороге, замахали, закричали; повозка герцога остановилась, тетка приказала мне отнести пакет. Подал я конверт герцогу, он сделал мне привет рукою, улыбнулся и приказал много благодарить. Все сошло благополучно, герцог уехал, а я, должно быть, завяз в снегу, запутался в шубе и растянулся; насилу я выбрался на дорогу. Герцог показался мне высоким брюнетом с большим носом. Повозка зеленая с кожаным верхом, на тройке лошадей; с ним сидел молодой и на козлах человек.

Не доезжая Петербурга, не знаю, где остановились; тетка опять наряжалась и уехала.

Приходил кто-то престранно наряженный, и меня с повозкой отвезли во дворец. В нижнем этаже огромные и превысокие две комнаты, каких я не видывал; окна чуть не до пола; хотя день был весенний, солнечный, но еще хорошая зимняя дорога, а два окна были отворены; окна были в сад, я влез на подоконник, где я свободно мог спать, свесил ноги за окно и болтал ногами, как все деревенские мальчишки. Смотрю, по чистой песчаной дорожке идут две женщины, одна полная, а другая маленькая худенькая, последняя была моя тетка, а с нею шла вдовствующая императрица. Подойдя, остановились и что-то говорили.

Государыня достала конфет из ридикюля<sup>61</sup> и подала тетке. Эти конфеты были пожалованы мне. Меня накормили какие-то господа; помню, я очень присмирел. Тетку я увидел вечером; ночью мы уехали. Только дорогой тетка сказала, что гуляла с ней императрица и дала мне конфет.

В Петербург мы приехали на квартиру тетки. На третий день приехал Ив[ан] Петр[ович] Бунин и увез меня к себе. Он был адъютантом адмирала Петра Ивановича Ханыкова.

Адмирал с семейством жил в нижнем этаже у Аларчина моста, а дядя жил во дворе в верхнем этаже. Я целые дни проводил в семействе адмирала, которое состояло из супруги, Катерины Ивановны, и дочери, уже взрослой, Анны Петровны, и двух сыновей пажей Пьера и Жана. Сам адмирал был в пара-



liche и лечился электрической машиной. Адмирал был очень ласков ко мне. Электрическая машина очень памятна мне: ша-луны Пьер и Жан дали мне в рот серебряную ложечку, а как я получил в зубы электрический удар, я так испугался, что как дикий волчонок закусил ложечку и бросился бежать по всем комнатам; в дверях встретила мне дочь адмирала; я головой так ударил ее в живот, что она упала; я перескочил через нее и не помню, как меня поймали и успокоили.

Анна Петровна Ханыкова после была графиня Мелина, мы, как старые знакомые, в 40-х годах в Киеве много вспоминали старины, и этот случай много доставил нам смеха.

Хотя и не касается собственно до меня, но мне очень хочется припомнить и рассказать, что я слышал об адмирале Ханыкове.

Петр Иванович Ханыков долго был главным командиром Кронштадта. Анекдотов пропасть о нем, но как о добрейшем человеке, да, впрочем, в старом флоте и не было недобрых адмиралов, — весь флот одной семьи из корпуса. Ханыков ежедневно вставал очень рано, обходил рынок, осматривал продающуюся провизию, проверял цены, покупал связку кренделей и у повивальной бабки пил кофе. Дома дожидалась его на завтрак яичница.

Раз приходит мичман с рапортом; долго ждал, соблазнился яичницей, съел и ушел. Ханыков, не найдя яичницы и узнав, что съел мичман, не сказал ни слова, но приказал звать мичмана к главному командиру кушать яичницу каждое утро; мичман приходил, ел и уходил. Так продолжалось полтора месяца. Наступили холода, дожди; на призыв мичман отвечал, что сегодня не пойдет. Являются ружейные и под караулом привели мичмана к главному командиру. Ханыков имел привычку щелкать пальцем правой руки промежду сложенных пальцев в кулак левой руки и при этом относился ко всем: «Душенька». И в этом случае Ханыков сказал мичману:

— Душенька, душенька, как же ты смел послушаться, ведь тебя звали к главному командиру, — посадил его под арест в Кроншлоте и на столько дней, сколько он съел яичниц.

К Ханыкову часто приезжал государь Александр Павлович и обедал.

Тогда очень строго был запрещен привоз спиртных напитков и портера. Говорят, государь очень любил портер. За обедом Ханыков подзывает камердинера<sup>62</sup> и говорит: «Как мы были последний раз в Англии, то должно быть, осталась одна

бутылка, там в углу с левой стороны, поищи и принеси». Одно и то же приказание повторялось во всякий приезд государя.

Однажды государь за столом подозревал камердинера и слово в слово скопировал Ханыкова, бутылка явилась (как будто главному командиру может быть запрет). Государь с удовольствием пил и спрашивал: «Это последняя бутылка?» Ханыков заботливо отвечал: «Надобно поискать».

Ханыков был флагманом<sup>63</sup> во время сражения с англичанами; за потерю корабля «Всеволод» он был предан суду<sup>64</sup>. Флот оправдывал Ханыкова; он приказал кораблю, бывшему на ветре, подать помощь «Всеволоду», но капитан струсил и не пошел. У Ханыкова были враги (и у такого добряка были враги). Суд приговорил Ханыкова разжаловать в матросы. Государь приказал разжаловать Ханыкова на 12 часов, но приказа не объявлять.

Ханыков вел очень правильную жизнь, он в известный час утра и известное время прогуливался по бульвару. Ханыков, выходя из дому, был встречен своим, который спросил Ханыкова, почему он не в матросском платье, и показал ему приказ. Ханыков вернулся домой, приказал обрезать полы сюртука и в куртке все-таки сделал свою обычную прогулку, но, возвратясь домой, получил удар паралича.

Бунин после рассказывал мне, что Ханыков верил в черные или несчастные дни.

Однажды государь вспомнил, что Ханыков давно не получал награды. Случился тут Нарышкин и сказал: «Кстати, государь, сегодня у Ханыкова черный день, хорошо разуверить его красной лентой».

Ханыков сидел за обедом, как фельдъегерь<sup>65</sup> поднес ему конверт. Ханыков распечатал, выпала на тарелку красная лента. Старик горько заплакал и сказал: «За многим ты пришла ко мне, за многим!» и со слезами вышел из-за стола. Как не сказать: по вере вашей и достается вам.

\* \* \*

Бунин утром привез меня в корпус<sup>66</sup> к Алексею Осипычу Поздееву; он приказал отвести меня во вторую роту, в первую камору; этой каморой заведовал Поздеев. Кадеты<sup>67</sup> все были в классах. Помню окно около печки, у которого стоял я. Вдруг шум, крик по галерее, вбегают разного возраста дети; кто прыгает на одной ножке, все говорят и, пробегая более 100 человек

мимо меня, каждый назвал — «новичок». У меня зарябило в глазах. Окружили меня, всякий хотел знать мою фамилию. Привели кадета под рост мне, который дразнил и толкал меня; мне советовали не спускать; я оттолкнул; тогда заговорили, что мы должны подраться. Для этого отвели нас в умывалку, составили около нас круг. Фамилия кадета была Слизов. Он первый ударил меня, нас — то меня, то его подзадоривали; я ловко схватил его и, недолго боровшись, повалил Слизова, несколько раз ударил и хотел встать, как все заговорили, чтобы я бил до тех пор, пока не скажет «покорен». Я еще несколько раз ударил, Слизов молчит, мне кричат: «Бей!» Если бы после слова «покорен» я ударил бы Слизова, то это было бы *бесчестно* для меня, — таковы законы кадет. Я вышел победителем: эту драку можно назвать крещением для новичка.

Не помню, вспоминал ли я тогда, но теперь уверен, что ловкости в драке я много был обязан мальчишкам в монастырской слободе и дракам в можайской школе.

На другой день меня одели во все казенное, дали расписание классов на неделю.

В корпусе вставали в 6 часов, становились во фронт по каморам, дежурный офицер осматривал каждого, для этого мы показывали руки и ладони. Не чисты руки, длинны ногти, нет пуговицы на мундире — оставляли без булки. Наказание было жестоко — булки горячие, пшеничные, вероятно на полный фунт, булки были так вкусны, что теперь нет уже ничего такого вкусного. После осмотра офицера во фронте раздавал булки дежурный по роте гардемарин.

В 8 часов — в классы. Каждый класс продолжался два часа, и мы переходили в другой класс, в 12 часов — шашаш, в каморы. С минуты вставания все наши передвижения были подчинены колоколу. В половине первого во фронт и так шли в зал. Весь корпус помещался в зале; зал был так велик, что еще столько же кадет поместились бы. Говорили, что такой длины и ширины, без свода колонн, другого такого зала в Петербурге тогда не было. Я еще учился архитектуре у старенького маленького старичка в парике — Суркова, строителя этого длинного зала; оно [зал. — Е. М.] было в два этажа, очень светлое, с арматурами по стенам. С потолка висели вроде колоколов в рост человека гладкого белого хрусталя [люстры] с подсвечниками внутри, помнится, по четыре подсвечника в каждом, а у задней стены, по длине, стоял трехмачтовый корабль под парусами, мачты почти до потолка. Зал этот был гордость Мор-

ского корпуса. Столы накрывались на 20 человек, на каждый десяток — старший гардемарин раздавал кушанья. Кормили нас превосходно: хлеб великолепный, порции большие и можно было попросить. Щи или кашлица с куском говядины, жаркое — говядина и гречневая каша с маслом, в праздники — пирожные, оладьи с медом и проч., квас отличный, какого после не случалось пить. Для кваса массивные серебряные вызолоченные внутри большие стопы. От обеда выходили фронтом.

В два часа классы, опять по два часа в классе, следовательно, сидели в классах 8 часов в день, кроме субботы; после обеда — танцкласс.

Выходили из классов в 6 часов; в половине 8-го ужин — два блюда, суп или щи с говядиной и гречневая каша с маслом. После, по выходе из класса, вечером, давали по такой же булке, как утром.

Белье переменяли по два раза в неделю; кровати были железные, два тюфяка, внизу соломенный, а сверху волосяной, и две подушки. Одеяла сначала были толстые бумажные, а потом шерстяные фланелевые, с верхней простыней.

В моей каморе был старшим гардемаринком Бартенев<sup>68</sup>. Был обычай, что каждый второго или третьего года гардемарин (гардемаринки до выпуска учились три года) из числа маленьких кадет имел вроде чиновника поручений или адъютанта; меня взял Бартенев; я исполнял все его приказания: сходить за книгой, позвать кого, за то Бартенев не давал меня в обиду сильнейшим кадетам. Этот обычай был общий, каждый кадет в свою очередь был в должности ординарца и после, сделавшись гардемаринком, — имел ординарцев.

Этот обычай теперь покажется унижительным, и я читал в одной статье, где говорится об этом обычае с презрением, но я думаю — это близоруко! В том нет унижения, что принято всем обществом. Этот обычай, напротив, новичка приучал к повиновению; это чувство послушания с мягких ногтей сроднялось с ребенком, и я уверен, та удивительная дисциплина старого флота, если шла легко, если повиновение старшему и исполнение долга было как бы врожденно офицеру флота, то это приобщалось от помянутого мною обычая в корпусе.

С глубоким благоговением вспоминаю о благотворном учреждении Морского корпуса; не знаю современных учреждений, но, как все старики, думаю, теперь ничего нет подобного! Обращаясь к своей юности, воображаю себя в настоящее время. Сын старой дворянской фамилии, служилого рода, но сын хотя

честнейшего, но бедного отца, не имеющего средств уделить десяти рублей на науку для сына, — что бы со мною было в настоящее время? Дорога только в коммунисты! Теперь, может быть, и [не] было бы странно это, но тогда бедного дворянина не отличали от дворянина богатого, и сын бедного дворянина заботами правительства делался полезным слугою отечеству и государю. Теперь, где живу, я знаю много лакеев, кучеров, имеющих право на родовое дворянство, и это даже не странно. Вот если б теперь увидеть не в почете детей Гор[о]вица, Варшавского <sup>69</sup> — это было бы очень странно! Другое время, другие мысли.

Меня приняли в Морской корпус без экзамена, я умел только кое-как читать. В шесть лет меня выучили, сделали офицером, и я совершенно честно прослужил сколько умел усердно почти 40 лет и тем, по силам моим, заплатил правительству за 6 лет хлопот обо мне. Теперь внуки мои, чтобы кончить науки в среднем учебном заведении, каждый стоит родителям до 6 тысяч рублей, да если два года не перешел по экзамену в высший класс, то отпускают на подножный корм, вот вам и готовый коммунист! Прекрасная вещь теперь «аттестат зрелости». Меня радует этот современный прогресс, хотя немного и оскорбляет мысль, что в наш век не было зрелых. Ну, да мы, старики, привыкли к оскорблениям, вон [журнал] «Яхта» называет старый Морской корпус «Карцовщина», сделал адмирала Петра Кондратьевича Карцова <sup>70</sup> нарицательным позорным именем! Я из последних кадет директора корпуса Карцова; я не знаю, долго ли Карцов был директором, но большая часть старого флота офицеров — воспитанники Карцова. Я бы спросил оскорбителя корпуса унижительным названием «Карцовщина» — какие флотские офицеры заслужили уважение и доверие флотскому мундиру за границу и в России? Все Карцовщина! Я не отвергаю, современные носящие морской мундир достойно поддержали общее мнение о честном мундире флота, но создала Карцовщина! Не отвергаю и того, что современные офицеры флота учение Карцовщины, но, господа, не гордитесь, не вы учение, учение современная наука! Как вы теперь знаете науку, так и мы знали науку своего времени; ваши наследники будущих поколений будут учение вас, прогресс науки идет неустанно вперед. Если вы, господин, осуждающий старый флот, — моряк, то да будет вам стыдно!

Я, остаток старого флота, слежу за реформами во флоте, вижу кой-что не нравящееся мне, но не позволю себе выразить-ся необдуманно и дерзко, как вы, остро — Карцовщина!

С уничтожением старого Морского корпуса я видел будущий недостаток офицеров во флоте, что и оправдалось; необходимость заставила приблизиться к старому порядку. Полезные реформы делать не так легко, как кажется реформистам, которые считают важным, переименовав название вещи, что создали новую вещь. Например, вся Россия привыкла посылать по почте «страховые письма», и это название «страховое» было усвоено и понятно всему народу, но вдруг произошла глубокая реформа — приказано называть «заказное письмо». В строгом смысле русского понятия, это новое слово не выражает полного своего значения, русский человек привык *заказывать* мастеровому карету, сапоги и проч. Заказывать письмо почте не выражает понятия о себе. Почта не сочиняет писем, хотя ей и заказывают. Но есть такие умы, которые считают славным и новым изобретением, переименовывая имя вещи, хотя вещь остается та же. Но стоит ли охуждать подобные реформы! Надписывая на конверте «заказное», дозволяется улыбнуться!

Начиная с Петра Кондратьевича Карцова, я могу назвать всех корпусных офицеров и имена их вспоминаю с благоговением, эти люди занимали должности по призванию. Видал я виды в долгой своей жизни, но не могу без полного удивления и благоговения вспомнить об этих безукоризненных тружениках, обречших себя на неустанное воспитание вверенных им детей.

Начальник роты был штаб-офицер<sup>71</sup>; он был попечитель всего хозяйства в роте; в каждой роте было четыре, пять обер-офицеров<sup>72</sup> — лейтенанты, это были блюстители нравственного порядка; они дежурили поротно, у каждого в заведовании была камора, от 20 до 30 человек. Дежурные наблюдали за порядком в классах, в зале.

Учебная часть вполне зависела от инспектора и учителей.

Директора Петра Кондратьевича Карцова мы редко видели; он был ранен в обе ноги, ходил не без труда.

У меня был честный офицер Алексей Осипыч Поздеев. Учился я прилежно, помнил грозный палец отца и обещание его приехать, если буду лениться.

Вне классов и в праздники дозволялось нам играть во всевозможные игры без помехи, даже поощряли нас к физическому движению, например, зимой нам делали ледяные катки для катания на коньках, летом мы не сходили со двора, разнообразные игры в мяч, в разбойники, все игры по преданию. Парадный двор принадлежал второй и пятой ротам. Бывало, каде-

ты двух рот на дворе, кто во что горазд, шум, крик, беготня; случалось, Петр Кондратьевич, выезжая куда-нибудь, бывало, под воротами любителю на шалости кадет и громким басом крикнет: «О-го-го! Громы детки! Хорошо, хорошо!»

Мы не боялись нашего директора, не переставали играть; сколько помню, любили его, что выражалось тем, что моя память не сохранила ему никакого прозвища и почти не упоминалось его имя, тогда как всем без исключения спуску не было: каждый имел прозвище, характеризующее его. Кадет Морского корпуса отличался от кадет других корпусов видом полного здоровья и большим животом: нас не стягивали, мы еще тогда ружья не знали, а кормили превосходно.

Учебный курс разделялся на *кадетский* и *гардемаринский*. Кадетский курс в математике оканчивался сферической тригонометрией, частью алгебры; науки: география, история всеобщая и русская сокращенно; иностранный язык, один из новейших — только читать. Русский язык — правильно писать по диктовке, но не строго. Инспектором был Марко Филиппович Горковенко; на кадетские классы он редко обращал внимание, он весь отдавался гардемаринскому курсу, и как доставало его неусыпного, изумительно ретивого усердия! Непонятливый кадет, ленивый мог оставаться кадетом лет шесть, но все-таки делался гардемарин.

Я кадетский курс кончил в три года. Не помню, по какому случаю перед экзаменом был инспектор, вместо Горковенко, Крузенштерн. Весь корпус возненавидел его, ему было прозвище — «слепой колбасник», «трюмная крыса» и проч., ему показывали фиги, строили гримасы. Крузенштерн тогда был наверху славы, как кругосветный плаватель, но видно, в массе кадет было больше инстинкта, чем поклонения славе. Если не забуду, то в своем месте расскажу с обязательными доказательствами, что Крузенштерн был бесхарактернейший, это был немец, умеющий ловко написать проект, но не исполнить. Горько бы кончилось его кругосветное плавание, если б не распоряжался всем Макар Ратманов. Но об этом после.

Математический кадетский курс я кончил в классе Лоскутова. Со мною в классе был однокамерник Дешаплет; он был очень способный, но лениво учился; мы были очень дружны. Андрюша Дешаплет, боясь не выдержать экзамен, упросил меня не экзаменоваться. Я хотя был из первых по классу, но для друга согласился. Сели мы за отдельный стол и объявили, что экзаменоваться не хотим. Крузенштерн, обходя классы, увидал

нас отдельно сидевших. На вопрос, Лоскутов доложил, что мы отказываемся от экзамена. Крузенштерн, узнав, что мы по знанию можем экзаменоваться, подошел к нам и долго уговаривал, чтобы мы экзаменовались; мы, отказываясь, отвечали даже грубо, особенно Дешаплет. Слепой колбасник ушел от нас ни с чем.

Дежурным был Поздеев; проходя по классам, увидав нас отдельно, узнав от Лоскутова, подошел к нам; помню гневное лицо его, помню задрожавшие губы, он тихо сказал: «Придите в дежурную!»

В дежурной нас отлично высек Алексей Осипыч, дурь наша улетучилась, мы экзаменовались и оба попали в гардемарины.

Экзаменовали в гардемарины учителя гардемаринских классов весьма подробно, потом офицеры — кадет по пяти — только из математики. Как я говорил, кадетом можно было пробить неопределенное число годов, а попавши в гардемарины, курс наук рассчитан был на три года. Попавши в гардемарины, от каждого из нас зависело быть адмиралом.

Я, торжествующий гардемарин<sup>73</sup>, написал к родителям о моем высоком звании. В Петербург ехал дядя Павел Саватеич Шахматов. Отцу не верилось, чтобы я так скоро получил чин; ему казалось, что я солгал; он упросил Шахматова узнать в корпусе и, если я солгал, то отпорррроты! А если правда, то посылает мне рубль. Получил я рубль, а о замечательном дяде расскажу на досуге.

Меня брали «за корпус» то дядя, то тетка — Бунины. У Буниных были родные племянники: Петр, Николай, Михаил, Александр и Василий Николаевичи Семеновы<sup>74</sup>.

Петр служил после в Варшаве; он пописывал стихи, и была известна в свое время и в[еликим] к[нязем] Константином П[авловичем]<sup>75</sup> любима комедия «Жидовская корчма», в которой очень эффектно и забавно пел жид[ок] «спию паню писню, спию и станцю — Ладзарду, шинцор-кравер мицерби, шине мине канцер ми» и проч. Не помню, как это припомнилось!

Николай, Михаил [Семеновы] — офицерами в Измайловском полку.

Александр [Семенов] нарисовал сам свой портрет, прислал и был убит под Бородиным. Василий был мне ровесник, воспитывался в лицее и куда был умнее и развитее меня. Тогда появилась новая метода отвечать на вопрос не по книге, как мы заучивали, а *своими словами*. В лицее была уже принята эта система. Я полюбопытствовал и просил Васю объяснить мне. Он



взял книгу, дал мне прочитать страницу и потребовал рассказать своими словами. Помню, я и начать не мог, он рассказал. Три урока — и я попал на лад.

Памятный мне класс у Гребенщикова. Марк Фил[иппович] Горковенко спрашивает из навигации и требует отвечать своими словами, а не по книге. Никто не отвечал; я успел прочитать и бойко отвечал своими словами. Горковенко, этот святой труженик, в восторге! Я первый угодил ему. Этот случай высоко поставил меня в классе. Помню, Подушкин совсем не знал урока, и теперь удивляюсь, как могло так сильно огорчать благородного Горковенко! Он искренно был огорчен незнанием Подушкина; помню даже слова Горковенко: «Уж ты, болван Подушкин, негодяй, подь, подь, посмотри на лестницу к директору, там увидишь ямки на каменных ступеньках, эти ямки сделал твой отец головою, кланаясь, чтобы тебя приняли в корпус, а ты уже, скотина, не учишься!» И проч., а ко мне ласково: «Уж, батюшка Эразм \*, спасибо, иди на свое место».

Досталась брань всем лучше меня учившимся.

В классе я сидел на дальнем конце стола от классной доски, по правую сторону меня сидел Савин, по левую — Лутковский, а против меня — Кумбакин <sup>76</sup> и Сновидов. Эти четверо были не из бойких, были поручены мне, говоря по-нынешнему — как репетиторы. Я в одном из моих воспоминаний сказал, что хожу точно по кладбищу, и точно, о ком ни вспомню — покойник. На сей раз радостно вспоминаю о моем бывшем ученике и милом товарище Петре Степановиче Лутковском; точно одного знаю живым; он вице-адмирал; с честью состоит в совете адмиралтейства. Припомните, ваше превосходительство, гардемаринский класс Гребенщикова, которого почему-то мы звали Федрио-Санго. Припомнив, вы не можете забыть Эразма Стогова; есть и еще случай, почему я вам памятен, но поскромничаю, — промолчу.

Память у меня была хорошая; бывало, учитель покажет на классной доске формулу, я тут же показываю четырем моим товарищам. Петр Степанович имел способности, но поленивался, а трое очень трудно понимали, приходилось не по одному разу толковать им. Это сделало то, что я не имел нужды учить, твердо заучивал, показывая и толкуя несколько раз.

---

\* По особенности имени, меня все звали по имени, а не по фамилии. — Э. С.

Забыл важный эпизод корпуса, прошу извинить, давненько было! От Наполеона \* <sup>77</sup> наш корпус посадили на корабли и пе-

\* Наступил 1812 год; только и было говора, что о войне. Высшее общество уныло и принялось за Апокалипсис. Это была общая мания: куда ни при-дешь, везде разбирают Апокалипсис, добираются до смысла, превращая буквы в цифры. Наконец, как-то нашли, что зверь Апокалипсиса должен носить имя Аполеон и приписали это имя Наполеону. Победит его, — го-ворили, — князь Михаил.

Какой же это князь? Общий голос назвал князь Михаила Илларионо-вича Кутузова. Молва об этом была так сильна, что император Алек-сандр, не любивший Кутузова, принужден был назначить его главноко-мандующим. Общество успокоилось, веруя, что Наполеон будет побежден. Даже отдачу Москвы французам общество приняло без огорчения, потому что это сделал Кутузов. О нем говорили, что это человек глубоко ученый, благородного характера, но никогда и никому не сказал правды; мысли его принадлежали ему одному. Всю жизнь был он поклонником женщин, влюблялся до глубокой старости и во всю жизнь не любил ни одной женщины искренно. Обращение Кутузова выставлялось как образец лю-безности в обществе. Про Кутузова говорили, что во всю жизнь он был тонкий политик, в штабе своей армии не противодействовал интригам и, будучи умнее всех, управлял ими как музыкальным инструментом; по-ви-димому, он слушался всех и соглашался, а делал по-своему. В 1812 году Кутузов был стар, дряхл, но скрытность не оставила его, и он не говорил правды даже государю.

Он принял армию утомленную и понял, что должен поднять упавший ее дух. Приближенные просили дать сражение, Кутузов притворялся не-слышащим, спящим, а просыпаясь, отдавал приказание отступать. Он дал сражение под Бородиным, но перед боем говорил: «Я не должен да-вать сражения, но должен удовлетворить требование всей России; потеря 40 тысяч успокоит русский народ». По стечению обстоятельств, местность будущего сражения указал мой отец. Это было так: когда Наполеон был уже в Гжатске, отец мой отправил свою семью и всех крестьян к родным в Тамбовскую губернию, весь скот пожертвовал в армию, а сам оставался караулить дом. Главная квартира была в Бородине, в 11-ти верстах от нашего имения Золотилова. Когда приблизились аванпосты французов, отец поехал в Бородино, чтобы получить билет на проезд. Билеты вы-давал Толь, но его не было дома; отец нашел его на Бородинском поле. Узнав, что отец местный помещик и сослуживец Суворова, Толь спросил:

— Знаете ли вы хорошо эту местность?

Отец отвечал утвердительно. Тогда Толь приказал дать отцу казацкую лошадь и поехал с ним; отец указывал, где поставить батареи и укрепле-ния. Толь молча записывал. Отец говорил мне впоследствии, что редуты и прочие были устроены по его указанию. Толь был очень доволен, дал отцу открытое предписание и подарил казацкую лошадь. История никогда не упоминает имени моего отца, описывая Бородинское побоище.

Наполеон занял Москву. Мне рассказывал Давыдов, как он, Сеславин и Фигнер бывали в Москве переодетыми иностранными офицерами и выведы-вали о неприятельской армии. После войны Сеславин, израненный, обве-

ревели в Свеаборг. Боже мой, сколько было гордой радости, что мы на кораблях и в море.

В Свеаборге нас поместили в так называемый дворец; вместо кроватей нам дали офицерские койки; в Свеаборге мы не учились. В комнате, где я спал, была одна койка, на которую кто ляжет спать, тот заболевает горячкой, так было с тремя кадетами; я был смелый шалун, самонадеянно лег спать в ту койку и опомнился — в лазарете! После меня койку сожгли. Говорят, я 7 дней бредил, но вот странно, я и теперь подробно могу рассказать весь бред свой последовательно.

Выписали меня к Рождеству; нас кормили отлично, а в Рождество дали нам по жареному рябчику; я, должно быть, был еще слаб, но всегда жаден, так и теперь: я объелся и заболел другой горячкой, и опять помню свой бред.

Превосходный доктор, наш общий любимец Василий Кириллыч Жуков в понятии нашем был герой. Большой черный мужчина, еще молодой, бывало, фельдшера пьяницу Басарчина с одной оплеухи заставит два раза перекувырнуться; раз доктор приподнял колокол, вероятно, пудов 6—7-ми. Физическая сила всех мальчишек приводит в восторг. Еще чем Жуков покори нас: раз на улице ночью он упал и сломал себе ногу на половине ниже колена; ему перевязали, кость срослась, но оказа-

---

шанный орденами, жил постоянно в своей тверской деревне, собирался несколько раз писать записки, но нетвердое знание грамоте остановило его, и он, гордый сознанием своего славного служебного поприща, жил тихо, почти ни с кем не видясь, и умер, не найдя биографа по достоинству. Денис Давыдов оставил хвастливую память дел своих в напечатанных записках и стихах. Это был ловкий человек, он при жизни приобрел в 10 раз более славы, чем заслужил. Давыдов как-то приходится нам родней, я дитятей катался на его седле, когда он был произведен в гусарские корнеты, и он это вспомнил, встретясь со мной в Симбирске. Давыдов был много меньше меня ростом, широкоплеч, брюнет, на середине лба имел природный белый клочок волос, лицо круглое, нос с маленькую пуговку, страшный был говорун. Фигнер был гениальный партизан, это был храбрейший человек и неистощим на выдумки дурачить и истреблять неприятеля. Хладнокровие его было неподражаемо, французы ужасались его имени, много раз бывал он почти в руках французов, но они узнавали его тогда, когда он ускользал от них. Было много партизанов, но эти трое были в славе, о них много говорили.

Как только французы миновали нашу деревню, отец следом за ними явился домой. В новом доме нашем были выбиты окна и двери, в зал было втащено бревно, которое от дверей диагонально упиралось в угол потолка и горело; бревно потушили и вытащили. На поле Золотилова была стычка, и осталось название той долины — французская могила (*Русская старина*. 1903. № 2. С. 271—273).

л[о]сь, кусок косточки высунулся, а доктор ходил в шелковых чулках; это безобразие так не понравилось ему, что этот могучий силач положил ногу между стульев и кулаком сломал свою ногу вновь! Сам перевязал, и кость срослась правильно. Чтобы не забыть, в 40-х годах в Киеве, в канцелярии, докладывают мне: из Житомира инспектор военной управы Жуков, — входит, я встречаю его.

— Здравствуйте, Василий Кириллыч!

Старик деньми ветхий, но еще виден остаток мощного человека, сильно был изумлен, как я его знаю, и еще более изумился, когда я благодарил его за избавление меня от двух горячек в Свеаборге. Много мы вспоминали старины, напомнил ему, как он сам вторично сломал ногу, старик, вздохнув, сказал: «Молодость — глупость!» Старик пришел просить помощи, запутали его в пустом деле. За две горячки я распутал дело, и старик уехал счастливый.

Кстати, при таком множестве кадет-детей умерших в корпусе при Жукове не было; приезжал в лазарет раза два лейб-медик <sup>78</sup> доктор Лейтон, как консультант, пройдет по лазарету и уедет. Вместо любимца нашего Жукова явился доктор — сын Лейтона, воспитанный в Англии, очень молодой, худо говорит по-русски. Весьма скоро сын Лейтона двум горячечным обрил головы и поставил на головы мушки. Кадеты умерли. Говорили, что Карцов пришел в такой гнев, что в сына Лейтона пустил табуретом, и более его не видали.

Из Свеаборга нас перевезли берегом — должно быть, в марте или к концу февраля [1813 г.].

Итак, я гардемарин 1813 года <sup>79</sup>, мая 13 дня; с этого дня считается моя служба государю и государству. Этот день открывает мне дорогу в адмиралы, как бывшему уважаемому мною милому товарищу однокашнику Петру Степановичу Лутковскому. Но плывя по течению моря житейского, разные струи его приносят к разным гаваням. Много нас было полных сил и надежд, но где все? Знаю только одного Петра Степановича, он моложе меня и ещё несет паруса, дай Бог попутного ветра и долгого, долгого плавания на пользу службы государю и отечеству. Я 28 уже лет как бросил якорь, разоружил свой житейский корабль, сначала принялся за плуг, и тот недавно оставил. В тишине, довольстве любясь внуками, устроил свою жизнь без забот, без желания и без надежд! Пока донесет струя до последней общей гавани. Оживляю в воспоминаниях за три четверти столетия.

Гардемарин делает три плавания в море, исполняя обязанность матроса и по очереди офицера.

Сколько радости, гордого довольства от чувства самобытности, когда я надел парусинную блузу! Как я старался перепачкаться смолою, вооружая фрегат «Милый», который стоял на Неве у набережной корпуса. На этом фрегате я и делал первую морскую кампанию. Исполнение должности матроса после очень мне пригодилось: будучи командиром, я не затруднялся научить команду до малейшей подробности. Я был назначен марсовым, без труда завоевал место на марсарее; воображаю, сколько было зависти у товарищей, когда я во время качки бежал по рее крепить штык-болт. Славное было время! Кормили нас прекрасно, довольно часто купались, на шалости офицеры смотрели снисходительно, дозволялось все, что развивало мускульную систему и укрепляло нервы — влезть по одному фордону, спуститься вниз головой с быстротою падающего камня — все дозволялось.

Забыл рассказать историческую вещь.

Фрегат «Милый» вооружен в июне, я стоял на вахте и записал в журнал: «В два часа пополудни, против течения по Неве, прошел стим-бот (тогда не называли «пароход») Берда, на котором проследовала государыня императрица; экипаж фрегата стоял на борту без шапок». Помнится, это было в 1814 году.

Пожалуй, забуду, никто не знает, как родилось и получило гражданство — слово «пароход». Мне рассказывал в Камчатке Петр Иванович Рикорд:

— Захожу к Гречу, он составляет торопливо статью для «Северной пчелы», задумался и говорит с досадою: «Только возмись за перо, без иностранных слов не обойдешься, но что такое для русского человека выражает — стим-бот? Досадно, а пишешь!» Я, ходя по комнате, не думавши, сказал: «А почему бы не назвать — *пароход*?» Греч был очень рад, повторил несколько раз: «Пароход, пароход — прекрасно!» и перекрестил тут же стим-бот в пароход.

Второй поход гардемарином я делал на бриге «Симеон и Анна». Произошла реформа; третий поход, последний моего гардемариинства, нас разместили по кораблям крейсирующей эскадры; я попал на корабль «Святослав», капитан корабля Терновский. Теория дать нам случай иметь более практики на военных кораблях была хороша, но на практике — не оправдалась. На корпусных судах во весь поход мы продолжали учиться, делали счисление, были вахтенными лейтенантами по оче-

реди, брали пеленги и проч. Корпусные офицеры продолжали классы на практике. На кораблях нас ласкали, отлично кормили и никто нами не занимался; были мы расписаны по вахтам, но не требовалось исполнения. Может быть, один я воспользовался практикою. Я был в вахте тогда знаменитого во флоте лейтенанта Александра Павловича Авинова<sup>80</sup>, его звали — «первый лейтенант». Я почтительно просил его научить меня управлению кораблем. Этот превосходный человек ласково приказал мне стоять около себя и, при всяком маневре, объяснял моменты движения парусов, скоро поручил мне рупор, и я командовал. Это принесло мне большую пользу впоследствии. Он почему-то звал меня «майором». [Чтобы не забыть, пришел я из Охотска...]

В конце 1817 года приказ главного командира Кронштадта вызвал лейтенанта и двух мичманов, желающих служить в Охотск. Что касается меня, я обдумал и решил: в Кронштадте очень нехорошо, так много офицеров, чтобы попасть в поход, надобна протекция. Содержание слишком бедно, жить едва можно. Может быть, и в Охотске нехорошо; если я не найду там лучшего, то увижу новое — все-таки выигрываю! Эта посылка глубокого и мудрого размышления решила: еду!

Узнаю, объявили желание до сорока человек! Трудно надеяться на счастье. У меня был дядя Бунин; тогда он был знаменитостью во флоте, он всю службу был адъютантом адмирала Ханыкова и был дорогим другом — всего флота. О нем со временем расскажу, а теперь упомяну, что он единственный учредитель клуба в Кронштадте<sup>1</sup>; клуб, празднуя день своего учреждения, и до сего времени не забывает выпить за здоровье Ивана Петровича Бунина. Жизнь в Кронштадте так была нехороша, что если б была экспедиция в ад, то много бы нашлось охотников.

Я обратился к дяде, прося его содействие. Оказались избранныками: я, товарищ мой по выпуску Повалишин и лейтенант Воронов<sup>2</sup>. С нами отправлялись 25 человек матрос[ов] — тоже охотников, да и два пожилые штурмана — классические пьяницы.

Получа полугодовое жалованье и прогоны, в начале лета пустились мы в неизвестную тогда страну. Не было ни одного служащего, возвратившегося из Охотска. Охотск, Камчатка — были тогда настоящие *terra incognita*\*. Для экономии мы купили большую повозку и уместились трое.

Описать наше долгое путешествие — пришлось бы описать Россию 60 лет назад, но с этим не совладать мне; взгляд, поня-

---

\* Неизвестная земля (лат.).

тия юноши-морьяка не были подготовлены к тому. Могу сказать, что нас везде ласкали, по городам отлично кормили, чуть получше город — танцы, везде упрашивали погостить. Не раз я слышал на вечерах, как старухи говорили: «Какие молоденькие, а за что-то едут в далекую ссылку». По три матроса ехали на подводе в одну лошадь, а крестьяне давали каждому по паре и благодарили, если матросы сами правят: пора была рабочая. Крестьяне, узнав, в какую далекую страну едем, отказывались от прогонных, кормили возможно лучшим образом и не припомню, чтобы хоть раз согласились взять деньги; говорили: «Такой далекий путь, вам, голубчики, придется нужду терпеть; Христос с вами, помощи вам Бог, мы дома в тепле». Кланялись, провожая, бабы совали матросам лепешки, яйца, дарили полотенца, на рубашку. Добра и ласкова тогда была Россия!

Приехали мы в Омск. Знаю, теперь там пребывание генерал-губернатора Западной Сибири, но таков ли Омск теперь — не знаю; расскажу, каков он был тогда.

На реке Оме и Иртыше, на краю киргизских степей, была крепость с очень высоким земляным валом: это и был Омск. В крепости сосредоточивались все управления корпусной квартиры, всего сибирского войска; тут жил и корпусной командир Глазенап, который перед нашим приездом умер; его скромный дом и был нашею квартирою. Комендантом был полковник Иванов; он и его семейство, можно сказать, были единственные вполне цивилизованные люди по-петербургски. Полковник Иванов всю свою службу был адъютантом при генерал-губернаторах; он и семейство его были ласковы, приветливы; в первый же день я стал другом его и его семьи. Вместо Глазенапа управлял корпусом генерал барон Клод фон Югенсбург, уже пожилой, добрый, но страшный флегматик; я ему понравился, он сам повел меня знакомиться со знаменитостями: генерал-аудитором <sup>3</sup>, интендантом <sup>4</sup> и проч.; он вводил меня даже в комнаты девиц-дочерей. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что все комнатки девиц окнами на высоко огороженный двор; в окнах толстые железные решетки, в комнату одна только дверь из спальни родителей — вот настоящая Азия! Барон, вводя меня к девицам, надевал на глаза отломок железки с дырочкою — это, видите ли, был сам амур! В первый же день милый комендант жаловался, что в крепости частые поджоги. Я спросил его, ездит ли он по караулам? Он пренаивно спросил: «Зачем это?» Я объявил ему, что он может попасть под суд.



Оказалось, что он не понимал даже слова «рунд»<sup>5</sup>. Я был мудрецом перед ним. Советовал ездить, объяснил порядки; он упросил меня поехать с ним. Часовых везде много, но все дремлют, оставив ружье, и что же? Мы нашли горевшую головешку очень недалеко от порохового магазина. Хотя опасности быть не могло и можно думать, что головешка была куда-то несена и брошена — заслушав шум. Комендант обнимал и благодарил меня. Учредили патрули, и поджоги прекратились. Такая патриархальность службы не могла не остаться у меня в памяти. Форштадт<sup>6</sup> при крепости был большой, там жил атаман линейных казаков Бронеvский. На другой же день он пригласил нас на бал. Молодых дам и барышень было много, но кавалеров танцующих мало. Казацких офицеров было много и на подбор красавцы, стройные молодцы, любого в натурщики скульптору; комендант мне сказал, что все они хорошего поведения, но малограмотны и для общества не годятся; их делают офицерами для красоты фронта. Я видел фронт казаков — это богатыри и красивы, что за люди, что за кони! Танцевали только экосез, да круг с шеном и крестом. В первый же бал мы стали львами, научили матрадур, тампед, кадрили с вальсом и даже котильон<sup>7</sup>. Начались бал за балом каждый день. Мы ввели, что мужчины не садятся ужинать, а ходят, занимая и служа дамам. Хорошеньких замечательно много дам и девиц, молодые скоро знакомятся. Хорошенькая барышня, развитее других, особенно мне нравилась; я уговорил ее сесть близко музыкантов и напевал ей, стоя за стулом. Она испуганно говорит: «Отойдите, маменька грозитя». Старуха, сухая, длинная, с другого конца стола грозит сердито предлинным пальцем. Я бросился к старухе и притворился уверенным, что она звала меня пальцем. Старуха, чиновная, сконфузилась, уверяла, что это она — Глафире, но более не грозила. Вот какая была Азия в Омске. Нас просто не отпускали, нас ласкали, матрос[ов] кормили; но всему бывает конец; поехали, провожали нас чуть не все. Верстах в трех, спускаясь в овраг, лошади понесли, повозка наша опрокинулась, мы разлетелись; но матрос, сидевший на козлах, оказался со сломанной ключицей. Судьба вернула нас в Омск. Опять праздники. Не помню, чрез сколько дней, ночью бежал я от гнавшихся за мною двух солдат с ружьями и кто-то кричал: «Убей его, я отвечаю!» Бегать я не имел себе равного, солдат я не мог бояться, я был переодет, меня не узнали; выбежал я на вал и забавлялся запыхавшимися солдатами, но пришлось

плохо мне: неожиданно на валу из будки вышел часовой навстречу. В таком критическом положении я решился соскочить с вала. Правда, в корпусе за булку я много раз скакал с галереи второго этажа на двор, но это было не выше трех саженей<sup>8</sup>, а вал был высотой до пяти саженей. Рассуждать было некогда, я из ближайшей амбразуры, держась руками, спустился по валу, носками сапогов успел выбить ямки — все-таки уменьшил высоту вала. Подбежали солдаты; прочитав молитву, оттолкнулся и сделал прыжок. Упал на ноги, песок, большая путаная трава, скоро опомнился — цел! Слышу, солдаты кричат: «Тут тебе карачун проклятому!» Я встал и пошел, солдаты заговорили: «Да это шайтан, бес!» Я обошел вал, вошел в ворота и лег спать. Поутру говор в Омске: кто? как? что? и проч. Полагаю, никто не спросит, по какой причине я попал в такое происшествие? Любовь, содержательница мира, душа чувствительных сердец! После обеда комендант сказал мне, что все знает. Запираться перед другом не следовало. «Вы забыли, что здесь Азия?» — «Я думаю, что здесь Россия!» — «Нет, здесь Азия, и я за вашу жизнь не ручаюсь». — «Мне кажется, вы увеличиваете». — «Нет, я знаю Омск. А вот что, одно средство: вот вам курьерская подорожная до Иркутска, соберитесь скорей, поедем прогуляться за крепость, там сядете на курьерскую, у меня все подготовлено. С семейством прощаться не нужно».

Так я и укатил из Омска один. В Иркутске получил от коменданта коротенькое письмо: «В твоём тюфяке и в сделанной вместо тебя кукле в ту же ночь сделано пять ран ножами». Вот она, Азия! Надеюсь, теперь Омск стал европейским городом и железные решетки улетучились.

В Иркутске прямо приехал в адмиралтейство; начальником был лейтенант Кутыгин, холостой; он был старше меня лет на десять, личность уважаемая и любимая всем городом; он принял меня как родного и обращался со мною как с сыном; видя во мне малоопытного юношу, он просто приказывал, что мне делать. Тогда во флоте был дух: для флотского офицера был государь, потом адмирал, и больше старшего начальства не было; все остальное, попавши на корабль, подчиняется командиру, хотя бы лейтенанту. Поэтому, когда Кутыгин предложил мне явиться к гражданскому губернатору Трескину<sup>9</sup>, я находил это унижением, но поехал.

Что такое был Трескин в Иркутске, теперь трудно рассказать, а еще труднее верить. Николай Иванович Трескин был

губернатором 14 лет в Иркутске, но каким губернатором? Теперь трудно иметь понятие. В текущем столетии называют властителем Наполеона I; по-моему, он был неограниченная власть в войске — при успехе, а власть ограничивалась законами. Трескин и законы — были синонимы, более: был только Трескин, а законы были далеко, далеко! По праздникам Николай Иванович позволял дамам целовать свою руку; из мужчин допускались к руке только старшие чины и первогильдейцы<sup>10</sup>. Все дамы целовали ручки у его супруги и дочерей. Рассказов о деспотической власти Трескина множество и едва вероятных, но верных. Жалобы не доходили до Питера, а если редкая и прорывалась, то для того, чтобы не повторяться.

13 лет был генерал-губернатором Пестель<sup>11</sup>, был ли он в Иркутске — не знаю. Рассказывали, по какому случаю был послан Сперанский. Государь обедал у известного тогда остряка Нарышкина; государь обратился к Нарышкину: «Граф (он всегда называл графом), временем я чувствую необходимость в очках, но не решаюсь». Нарышкин отвечал: «Я знаю удивительные очки!» — «У кого?» — Нарышкин встал и, указывая рукою через стол, сказал: «В-о-н у Пестеля: он 13 лет живет здесь и видит все в Сибири!» Говорят, эта шутка, а вероятнее жалобы, слухи — решили послать пензенского губернатора Сперанского в Сибирь генерал-губернатором<sup>12</sup>. Когда я приехал в Иркутск, передо мною (29-го августа 1819 года) приехал Михаил Михайлович Сперанский. Трескин все еще был нетронутый, цельный Трескин: он не верил, чтобы без него могла существовать Иркутская губерния.

Часов в 9 утром приехал к Трескину. Большая прихожая полна служебного люда: два казацких и два полицейских офицера, казаки, да два дежурных чиновника. Тишина. Вхожу в большое зало — три печи и пять дверей. У глухой стены на раз [и навсегда] назначенных местах стоят чиновники с бумагами; оставшиеся пустые места около печек подходящие занимали; по-видимому, каждый имел назначенное ему место. Тишина во всем доме совершенная, кажется, ни один чиновник не пошевелил ногой. Я вошел и сел около окна и столика. Не мог не заметить, что на меня значительно поглядывали чиновники; я полагал, что им в диковинку чужой человек, да еще моряк. После узнал — их изумляла моя дерзость, что я сел. Вошел молодчина кавалерист, это — комендант Цейдлер с рапортом, осмотрелся и сел около меня. После я узнал, что комендант

осмелился первый раз сесть у Трескина и, вероятно, ему неловко было стоять, когда сидит юноша. Более часу мы сидели и очень тихо говорили, а чиновники продолжали стоять, каменные. Заметил я, что комендант не сводит глаз с маленькой двери. Растворилась эта маленькая дверь, комендант быстро вскочил, а я загляделся, да и было на что: представьте себе, в отворенную дверь выдвигают мраморную статую! Это был его превосходительство губернатор Трескин. Как снег белый колпак, из-под колпака длинные белые волосы, рубашка с стоячим воротником, без галстука, как снег белый халат, подпоясанный белым кушаком, из-под халата внизу видно нижнее белье, чулки и мягкие туфли без задников. Трескин не шел, а двигался, скользя туфлями. Минуя коменданта, который, рапортуя, называл ваше превосходительство, Трескин, не слушая, подошел прямо ко мне:

- А ты уже сел?
- С дороги, ваше превосходительство.
- Где ты учился?
- У дьячка на медные деньги (думаю: видишь мундир).
- Сколько у тебя денег?
- Императорское третное в кармане <sup>13</sup>.

Трескин взял меня за руку и вывел на середину залы; держит и говорит:

- Невелика птичка, да носок остер!
- К вашим услугам, ваше превосходительство.
- Сколько у тебя душ?
- Одна своя, но прекрасная, имею честь рекомендовать.

Трескин обернулся к чиновнику и сказал: «Отведи его к детям».

В одну из дверей я пошел за чиновником; он передал меня лакею, который и привел меня к детям. Кажется, помню: три взрослых девицы: Юлия — совершенный монгол, София — китайка, хоть на картинку чайного ящика: маленькая, нежная, с мягкими движениями, с прекрасной кожей и китайскими глазками. Третья (не помню имени) — русская. Каждая из них сидела за пальцами. Я поклонился, а они и не взглянули; я осмотрел их работы — молчат. Одна уронила клубок, я бросился поднимать, а по-кадетски соразмерил стукнуться головой. «Как это вежливо!» — «Вам не должно было беспокоиться, моя обязанность служить вам». — «Не нужны ваши услуги». Думаю, врите, девчаты. Хвалю работы — молчат. Критикую —

молчат. Русская пошла в комод, смотрю — три перегородки ящичка полнешеньки конфект. Я быстро и обеими руками схватил по полной горсти; русская закричала: «Это что? Разбойник!» Сестры вскочили — за мной, я на софу, на стол — в дверях молча стоит сам Трескин и смотрит с недоумением. Сестры жалуются на меня, я жалуюсь не девиц и, стоя на столе, ем конфекты. Трескин расхохотался и ушел, а мы помирились и познакомились. Мирно и весело наболтавшись с дочерьми, пошел кланяться отцу; старик любезно приказал мне обедать у него в 2 часа.

До обеда я у коменданта — прекрасная личность, доброе и почтенное немецкое семейство; несколько гостей, разговор шел о моем представлении Трескину. Кто-то сказал мне, что опасно шутить с Трескиным. Я отвечал: «Трескин не адмирал, мы с ним равны, а попадет ко мне на корабль, то будет под моей командой».

После я узнал, что мое представление Трескину и разговор с ним ходили по городу с прибавлениями, а такой скандал у дочерей был невообразим для иркутян в доме Трескина.

В два часа за обедом Трескин был в том же наряде, в каком делал прием. Кроме детей, было человек пять немолодых чиновников; они были действующие лица без слов и речей. Я, как молодой, ел за двоих и говорил со стариком и дочерьми — за всех. Помню, не упускал случая пошутить над его беззубою старостию, что очень забавляло его. Старик хотел знать все подробности о фамильных делах моих, о службе, о причине поездки, о будущих целях. Я был откровенен и болтлив. Я старику понравился, и он сказал: «Глядя на него, я давно так не ел; приходи ко мне, как можешь чаще, обедать». После обеда дочери пригласили к себе и угощали на славу сладким. Зовет старик; он лежал в кабинете на софе, дал мне какую-то книгу: «Читай». Какая-то нравственная скука, я начал читать с толком, с расстановкой. Старик вскочил: «Ты не умеешь лучше читать? Читай скорей!» Я замолол, как дьячок. Старик был доволен. Оказалось, что эта старая голова еще с таким пылким воображением, что при медленном чтении у него толпятся в голове свои идеи и он не может следить за чтением внимательно. Бестолковое и быстрое мое чтение он очень хвалил.

Я не знаю, чем был прежде Трескин — не любопытствовал, но почему-то думается, что он давнишний чиновник Иркутска. Трескин, без сомнения, был умный делец, деятельность его бы-

ла изумительна. Полиция, земские суды, палаты — он или его власть была все! Он знал все и распоряжался всем; он знал подробно всю частную жизнь Иркутска. Трескин был деспот безграничный! Но мне случилось прочитать немного бумаг его в Питере к Пестелю: там он скромн, добр, скорбел о людских слабостях и тяготился обязанностью исправлять падших. Трескин был страшный корыстолюб, его считали в десятках миллионов, но удивительно то, что вообще мало жаловались на его взяточничество: это мне объясняли тем, что он брал, но и умел дать средство наживать. Я не застал жены его живою <sup>14</sup>, о ней тоже не переслушал рассказов. Трескин властвовал головою, она властвовала сердцем над всеми мужчинами — без оппозиции. Трескин в дела жены не мешался. Последнего ею избранного я хорошо знал, его звали Иван Ефимыч Кузнецов <sup>15</sup>, а весь Иркутск звал его *королем*. Действительно, это был редкий красавец, его я сравнивал с павлином; говорил он очень дурно, грубо на о, уродливых провинциализмов пропасть. Жена Трескина возвращалась с королем Кузнецовым из-за Байкала; поехали кругом Байкала, дорога адская, такую и останется — гора на горе и очень высоки. На этот раз лошади понесли с горы; губернаторша решилась выскочить из кареты, попала платьем в колеса, и ее буквально разорвало. Король усидел и спасся.

Трескин, как медаль, имел две стороны; сказавши об одной, надобно сказать и о другой стороне. Мне казалось, Трескин не был зол и жесток, но, как власть, был очень строг: все полиции были доведены до совершенства, и зато в Иркутской губернии не было ни грабежей, ни воровства; я сотни примеров слышал: проезжий, забывший в доме крестьянина кошелек, часы, бумаги, непременно был догоняем и получал забытое. Дороги, мосты были превосходны, деревни чисты; судя по наружности домов, крестьяне были зажиточны; скота, лошадей много; пятнадцать, двадцать троек стояли при въезде в деревню, платили четыре копейки на тройку за версту. Иркутск был очень опрятный город и много хороших домов. О преступлении в городе не было слышно.

12 лет спустя я нашел: убийства, грабежи, воровство, шайки разбойников близъ города. Села, деревни по наружности очень обеднели; если чего и не забудете, то у вас украдут все, что можно; дороги, мосты очень дурны. Я объясняю такую разницу тем, что Трескин был закон, а Лавинский повиновался закону. Шесть или семь лет шайка грабила и убивала. Иван

Яковлевич Козлов (знакомый по солеваренному заводу) распорядился удачно поймать знаменитого красавца и храбреца атамана Александрова, который поклялся убить Козлова. Атаман никогда не изменял данному слову. По жалобе Козлова Лавинский потребовал дело, ему привезли на двух возах. Лавинский не пожалел русских непечатных слов, а на последней странице написал: «Четырех главных наказать кнутом нещадно». Артист-палач Буянов каждого убил с четырех ударов. Лавинский получил строгий выговор, и последовало общее распоряжение: в приговорах слово «нещадно» — не употреблять. При мне и на моих глазах в течение четырех часов в городе Иркутске днем убили крестьянина, двух женщин и девушку, последнюю — в пяти шагах от меня, на главной улице, человек — не знающий девушку; но это особая история, я был следователем по просьбе Лавинского. Когда-нибудь расскажу об этих убийствах. Вот как изменился целый край — всего в 12 только лет!

О Сперанском в Иркутске мало что было слышно, он как будто ничего не делал. Сперанский занимал дом «короля» Кузнецова. Дом деревянный, большой — окон в 9, а может, в 11, на восточном краю города, ближайший адмиралтейству. На другой день после Трескина я явился Михаилу Михайловичу. Из прихожей, где были казачий офицер, казак и полицейский солдат, вхожу в большую залу — пестрая толпа: буряты, крестьяне, тунгусы. Сперанский в форменном сюртуке, застегнутом на все пуговицы; он говорил с крестьянином, а чиновник записывал. Только я вошел, Сперанский обратился ко мне, и когда я назвал себя, он спросил:

- Давно приехали?
- Только вчера.
- Куда едете?
- В Охотск.
- Одни?
- С командой, она еще не прибыла.
- Повеселитесь здесь, в Охотске соскучитесь.

Поклон. Разница с Трескиным и в обстановке и в приеме.

Портретов Сперанского очень много и все похожи, только я не видал ни одного портрета с глазами Сперанского: есть предметы недоступные для живописи! Таких глаз, как у Сперанского, я других не встречал, не возьмусь и приблизительно описать их. Могу сказать только: глаза Сперанского я ни разу не видал изменяющимися — всегда, постоянно тихи, спокойны, ласко-

вы; они не прищурены, но и не открыты, не вызывающие и не уклоняющиеся — ум, душа и сердце поместились в этих глазах! Живопись бессильна! Уверен, что, со смертью этих глаз, других таких не осталось; не видевшие выражения глаз Сперанского — не составят себе понятия о прелести оригинального выражения их! Сперанский был выше среднего роста, сухоощав, правильно сложен. Оригинальный, голый, большой череп — очень к нему шел. Правильные черты всегда покойного, доброго лица были привлекательны, голос тихий — будто под сурдинкой, говорил медленно и, казалось, всегда откровенно. Говорил мало, будто по необходимости; смеха не слышал, а улыбка — весьма часто, всегда скромная, очень приятная. При такой особе провинциальные чиновники закутывались в молчание, а приехавшие с ним, знавшие его добрую снисходительность — болтали, шутили, не стесняясь, как бы в отсутствие; он даже любил говорливость других за обедом, но без участия в разговоре.

День Сперанского был рассчитан по табели — не отступая. Утро просителям, немного работы, заданной канцелярии с вечера, долгая прогулка на открытом воздухе. Сколько раз встречал я его одного в -20, -25 Р.<sup>16</sup>: холодная поношенная шинель, на голой голове сафьяновый черный картуз, сверху четырехугольный — настоящая конфедератка. Картуз на шелковой подкладке — и ему не холодно! Ходил тихо, размеренно — как говорил. Прогулка — недалеко от дома и на небольшом пространстве. Сперанский никогда не отказывался от приглашения на обед; тогда он был в мундирном фраке. Орденов на нем никогда не видал. Званные обеды были очень часты, и очень часто я обедал вместе.

Первый обед, на котором я был с Сперанским, — это парадный обед у Трескина; на этом обеде я видел Сперанского в мундире и в белых брюках с золотыми лампасами — только один раз и видел Сперанского в мундире. Даже сам Николай Иванович Трескин был в мешковатом виц-мундире<sup>17</sup>. Манеры Сперанского на обеде были те же, что и на обеде у купца. После обеда Сперанский вынул золотую коробку вроде папиросницы, достал из нее черную пилюлю и проглотил — это было в гостиной. Недолгая беседа после обеда, и если есть дамы, то преимущественно с дамами и уезжал. После обеда немного чтения, в сумерки ходил по зале до темноты. При огне принимался за бумаги, и, кажется, это было временем усиленной работы. В праздники купцы давали балы в доме ратуши<sup>18</sup>. Сперанский



постоянно посещал, говорил с дамами, кажется, особенно отличал жену коменданта Луизу Ивановну и жену полковника Нараевского Наталию Карповну; последняя была красавица. Я, товарищ Повалишин, племянник Сперанского Вейкарт<sup>19</sup> и какой-то чиновник постоянно составляли кадрили. Сперанский постоянно смотрел на наш танец, и, кажется, его занимала наша молодая резвость. Тем и оканчивался его бал.

Рассказов по городу ходило множество о Сперанском; каждое его слово, кажется, каждое его движение замечалось и повторялось в публике. Терпение его с просителями было неистощимо. Однажды наделало много говору: монгол-бурят жаловался, что исправник Волошин вызвал его в Иркутск, в его отсутствие забрались в его юрту волки и собаки, утащили говядину и богов. Просил взыскать с исправника убытки. Сперанский отказал. Бурят пришел другой раз с той же просьбой — получил отказ. Пришел третий раз. Сперанский назвал его глупым и приказал вывести. Это происшествие сильно удивило всех, говору было много! Из этого можно заключить, каким терпением обладал Сперанский.

Иркутск знал, что Сперанский сказал, где он был — малейшие подробности не ускользали от общества, но не было ни одного слова о том, что делал в кабинете и делал ли что-нибудь, готовилось ли или не готовилось в будущем для Сибири? Это будущее было непроницаемо, не было даже догадок. Три секретаря Сперанского были люди бойкие, не отказывались от удовольствия и даже очень, но о делах ни полслова! Все знали, что Цейер — правая рука Сперанского по бумагам<sup>20</sup>. Цейер, маленького роста, сухенькой, с большим носом, в очках, с торопливою походкою — не ручаюсь, есть ли у него голос? Часто видел его, но положительно не помню, чтобы он выговорил хотя одно слово. Цейер, статский советник, вечно с бумагами под мышкою и бежит либо к Сперанскому, либо от него. На обедах, балах Цейер почти не бывал. Был и правитель канцелярии (Иван Иванович Шкларевский), но все знали, что он носит только звание; Сперанский не употреблял его<sup>21</sup>. Сперанский был чрезвычайно доступен, но нельзя было не заметить — служащие при нем были совершенно свободны вне службы, но никогда ни один не приближался к нему.

На одном из обедов мне пришлось сесть против капитана путей сообщения; он спросил меня:

— По какой причине морская служба называется смоленая?

— По той же, по которой служба на канавах называется — грязная служба.

— Вы ходили в море?

— Да; я четыре лета служил на кораблях.

— Вы так рано начали службу походами?

— Мы все привыкаем смолоду.

— Скучная ваша служба?

— Почему так? Это неправда, мы все любим быть в море.

— На кораблях не бывает дам?

— Не бывает. Они только бы мешали, на корабле для них нет времени и места.

— Признайтесь, первый поход был для вас страшен?

— Может быть, бывают трусы, но такие переходят в другие службы; из моих товарищей перешли двое в ведомство путей сообщения, их никто не держит.

— Моряки очень серьезны и строги.

— Моряки никогда никого не затрагивают.

Это было недалеко от Сперанского; я на конце неприятного разговора заметил, что внимательно слушает и улыбается; я прекратил отвечать, считая продолжать неприличным.

После обеда капитан подошел ко мне и отрекомендовался: Гаврило Степанович Батенков. Я сказал о себе.

— Извините, я, может быть, сказал вам что-нибудь неприятное?

— Извините, я отвечал вам, как умел.

— А насчет разговора прошу вас не стесняйтесь, браните меня сколько угодно; кроме благодарности, от меня ничего не будет. Михаил Михайлович очень любит, когда я говорю за обедом, а эти господа (указывая на иркутских чиновников) всякою малостью обижаются, говорить с ними невозможно. Вы так добры и умны, дали мне возможность поддержать разговор. Надеюсь, мы будем приятелями, будем садиться против, и вы выведете меня из затруднения.

На другой день Батенков приезжал ко мне, потом я бывал у него очень часто. Мы подружились.

Батенков был довольно большого роста, сухощав, брюнет, с золотыми очками, по близорукости; в фигуре его ничего не было замечательного, но рот и устройство губ поражали своею особенностью. Губы его не выражали ни злости, ни улыбки, но так и ожидаешь — вот-вот услышишь насмешку, сарказм. Дар говорить о чем угодно занимательно, весело и говорить целые ча-

сы — эта способность была изумительна! Готовность его на ответы и возражения не имела равного. Батенков был незлобливый, добрейшего сердца. Ученость его была замечательна, он очень легко и много писал стихов; я много читал его басен, но и тут — только сатира и сарказм, более на известные лица и нравы. О Батенкове я знаю только из случайных его рассказов; он начал службу в артиллерии. В 1812-м году<sup>22</sup> ему с товарищем дали по две пушки, приказали защитить мост и не уходить.

— Мы стреляли, французы валились; мы стреляли, французы падали и приближались; французы были близко; товарищ, чтобы спасти пушки, отъехал; у меня оставались только два канонира<sup>23</sup>, я сам приложил фитиль и от удара упал; меня проходящие французы кололи, но мне не было больно, но когда штык попал под чашечку колена, я потерял память. Очнулся я в палатке, лежат раненые французы: я был в плену. Вместе с другими я был отправлен на юг Франции, где и вылечился от 18-ти ран. Когда наши взяли Париж и мы, пленные, получили свободу, я явился в главный штаб. Там мне сказали, что Батенков убит и исключен из списков, требовали документов. Какие документы я мог представить? Я назвал батарею, в которой служил; нашлось только два канонира, которые остались живы; узнав меня, засвидетельствовали, что я их поручик.

— А что было с вашим ушедшим товарищем?

— Кутузов смотрел в трубу с холма; товарища судили и приговорили заслушание расстрелять. Кутузов разжаловал его в солдаты, он убит.

— Как же вы попали в путей сообщений?

— Раны меня беспокоили в ненастье, да и надоела мне фронтовая служба; я написал в управление путей сообщения: если желают иметь хорошего офицера, то я согласен служить.

— Будто бы так и написали?

— Право так, у нас в России худо просить, искать; иди законным порядком — тысячи затруднений, проволоочки.

— Ну, а как же сюда попали?

— Хотелось посмотреть Сибирь. Сперанский, познакомившись, вместо моей обязанности дал мне работу: составить новое положение о ссыльных. Много собрал сведений — путаницы, противоречий пропасть; надобно прежде привести к одному знаменателю и потом составить что-нибудь целое.

Я с Батенковым каждый день становился дружнее; за обедами он вострился надо мною; если удавалось, и я платил ему

тем же. В то время и до сего часа я имею природное отвращение ко всякому вину; за здоровье Сперанского вместо шампанского я пил превосходный мед; от двух бокалов меда выходил из-за стола красненький. Это замечал Сперанский; видя мою дружбу с Батенковым, раз говорит ему:

— Приятель ваш молодашка-моряк, может быть, неглупый юноша, но что значит среда: так молод, а уже становится пьяницей.

Батенков расхохотался и сказал:

— Вот как иногда высоко стоящие делают ошибочные заключения о маленьких. Мой приятель-моряк еще в жизни не пробовал никакого вина, он и за ваше здоровье пьет мед, а не шампанское, а что он краснеет — виновата юность.

Сперанский смеялся над своею ошибкою и добавил, что он желал бы почаще сознаваться в таких ошибках.

Батенков был старше меня лет на десять, но он так был умен и умел сделать, что я не чувствовал этой разницы. Однажды, в сумерки, между интересными его рассказами, он сказал мне, что у них есть *кагал* <sup>24</sup>, что у них ходят свои почты и что всех своих членов кагала они имеют средство быстро двигать к повышению по службе.

— Хочешь, я запишу тебя в члены?

— Какая цель кагала?

— Этого я не могу сказать тебе: тайна!

Я не думавши отвечал:

— По-моему, Гаврило Степанович, *где тайна — там нечисто!*

Мы более не говорили об этом. Я теперь ясно помню: я отвечал Батенкову без всякого сознательного намерения, вовсе не обдумав. Это время было щегольства фраз и готовности резонно отвечать противореча. Впоследствии оказалось, что 1819 года называвшийся кагал — после было общество 14-го декабря! <sup>25</sup> Не сорвись тогда с языка глупая фраза, попади я в список — другим бы путем пошла вся жизнь моя! Батенков не желал мне сделать зла, он желал сделать мне добро, потому что сам был членом сильного кагала.

После разговоров моих с Сперанским, о чем потом я расскажу, буду продолжать о Батенкове что только знаю о нем. Сперанский через Батенкова предложил мне перейти служить к нему; вот слова Сперанского:

— Скажите ему, пусть лучше начинает *служить с головы!* Жизнь в дикой стороне, без общества, может очерствить его.

Я отвечал, что я только и знаю морскую науку, для нее только учился семь лет и уверен, что я недурной морской офицер. Штатская служба мне неизвестна; мне надобно учиться вновь — поздно, может быть, и не выучусь; от флота отстану, а к штатским не пристану; кроме того, я страстно люблю морскую жизнь. Пусть будет как будет! Благодарю и вечно не забуду милостивого внимания ко мне Михаила Михайловича — остаюсь во флоте! Хорошо ли я сделал, худо ли — не знаю!

Судьба после запрягла меня в штатскую — совладал!

Пришло время ехать из Иркутска; прощаясь с Батенковым, он с большим чувством проводил меня, взял с меня слово писать к нему по приезде в Охотск и что я найду там, что я и исполнил. Батенков писал ко мне прекрасные письма, полные веселости, как будто хотел утешить меня в далеком одиночестве. Помню одно письмо из Питера: он просил меня наблюдать и точно объяснить: когда прибывает другая вода в реку, то вливается она по дну или по поверхности? Наблюдать было легко там, где каждые сутки прилив возвышает воду в реке от 10-ти до 12-ти фут <sup>26</sup>. Я получил от Батенкова писем пять и отвечал. Когда же дошло до нас известие о катастрофе 14 декабря, я вспомнил о *кагале* и не сомневался, что это одно и то же тайное общество; очень боялся за свои письма, хотя там и тени не было преступных идей, но в таких случаях во всем вина. Читая следствие и суд, я успокоился: вероятно, Батенков уничтожил все бумаги.

Будучи начальником адмиралтейства в Иркутске, я употребил возможное старание узнать, где Батенков? В Восточной Сибири его не было. Нашел случай навести справки в Западной — и там не было моего Гаврилы!

В 1819 году в Иркутске были особенно дружны: Батенков, доктор Валтер и Гедельштром. О последнем после. Между сказанными друзьями, если я не был другом существительным, то хотя прилагательным, но все-таки очень близким.

Чтобы не забыть: Батенков не употреблял табаку, не играл в карты и почти не пил вина.

В 1832 году является ко мне из Питера Гедельштром Матвей Матвеевич! Какими судьбами? Оказалось, что он приехал при жандармском полковнике Килчевском, которому поручено было составить статистику всей Сибири. Говоря между нами, ловкий полковник составить никакой статистики не мог, для того и взял ученого Гедельштрома, а сам исполнял другое поручение.

Но это к рассказу не идет. Дело было к обеду. Гедельштром любил выпить, даже и очень; я угостил его препорядочно любимой его наливкой с облепихой. После обеда в гостиной я упротил его рассказать мне подробно, что он знает о нашем дорогом Гавриле? Гедельштром приказал мне запереть двери гостиной и соседних комнат и вот что рассказал:

— После 14 декабря Батенков оставался недели две на свободе. Был он на вечере у вагенмейстера <sup>27</sup> Соломки, стоял в конце залы, опершись у стола; где бы ни был Гаврило, его всегда окружала толпа слушателей. Сказали: приехал фельдъегерь! Батенков спокойным голосом сказал: «Господа, прощайте, это за мной!» Фельдъегерь увез Батенкова. Я знал, что Гаврило посажен в Шлиссельбург, где видеться с ним не было средств. Узнаю, что Гаврило в каземате Петропавловской крепости. Мне очень хотелось повидаться с Гаврилой, так хотелось, что я покоя не знал. Как ни обдумывал, видел одну невозможность. Подружился я с капитаном Преображенского полка; он ротою ходил караулом в крепость. В минуты откровенности я высказал ему страстное свое желание повидаться с Гаврилой. Долго мы судили и рядили — средств не находилось. Придумал я — хоть бы побывать в крепости, все ближе к цели. Капитан предложил взять меня денщиком, я охотно согласился. Но до цели далеко! Однажды шутя проектировал капитан: «Вот бы тебе одеться преображенским солдатом, стать бы тебе на часы в коридор казематов, ты мог бы видеться целый час». От шутливого предложения дошло до осуществления. Добрый капитан решился, а я рад пуститься на все! Лишь бы повидаться. Приготовил я себе солдатский мундир, обстригся и в один из караулов капитана пошел с ним денщиком. Около полночи я был солдатом и лежал между спящими солдатами. По крику унтера «Смена внутренних!» я взял под ружье и стал с другими.

Я взглянул на Гедельштрома и, видя пожилого и порядочно полного мужчину, не мог без смеха вообразить его солдатом.

— Да как же не узнал вас унтер?

— В караульном доме полусвет от закопченной лампы, да и все сонные, только проснулись. Привели меня в длинный коридор, тоже не ярко освещенный. Порядку смены часового научил капитан, стал я на часы. Ружье к стене, дверей несколько, но в которых Гаврило? В каждой двери стеклышко, закрытое снаружи, двери заперты крепкими засовами снаружи. Поднимаю закрывку стекла, внутри ночник освещает каземат. В одном казе-

мате вижу сидит на кровати высокий, тонкий, седой — не Гаврило ли? Отодвинул засов, otvorил и спросил: «Гаврило?» Встал сухой старик и, вместо ответа, спросил: «Кто теперь на престоле царствует?» Я отвечал: «Николай». «Чей сын?» «Внук Екатерины, сын Павла. А вы кто?» «Я Шушерин».

Я запер каземат и нашел Гаврилу. Мы обнялись, говорили вместе; Гаврило рассказал: «В Шлиссельбурге было несносно. Удалось написать к моей невесте, приказал чертенку сходить к Сперанскому и просить о переводе меня в Петропавловскую крепость. Перевели — по болезни. Я написал письмо к государю — полное раскаяния, и просил помиловать. Заболел я нервной горячкой. Приезжал штаб-доктор. Пришел в себя и чувствую приближение смерти. Гадко мне показалось, что я малодушно лгал, просил прощения и раскаивался. Я потребовал священника и продиктовал, что я не хочу умереть и унести с собой подлую ложь. Раскаяние и просьба о прощении — ложь! Пусть не верит государь, никто из наших виновных не просит прощения, а если и будет прощен, то не отстанет от начатого дела. Я выздоровел и остался навечно живым в этом гробе! Найди мою невесту, она в нужде, помоги ей, сколько можешь. Я притворился сумасшедшим, думал, попаду в сумасшедший дом, там все-таки люди». Заслышали хлопнувшие двери: это смена. Простились, поплакали, запер каземат и взял ружье, сменился. Повторить было невозможно, капитан уверял, что он много выстрадал в этот час. Нашел бывшую невесту Гаврилы, она [проститутка-одиночка]<sup>28</sup>, жила без нужды; я подарил ей 100 руб. от имени Гаврилы; она очень плакала, вспоминая о Гавриле.

— Где она живет?

— В Конюшенной.

Передаю рассказ Гедельштрома дословно; есть невероятное, но это остается на его совести<sup>29</sup>.

Бывшую невесту Батенкова в 1833 году нашел и я; она еще была недурна, [промышляла одиночно]. О Батенкове наговориться не могла; она любила его и никого более не любила; были женихи — отказывала. Бывшая невеста Батенкова рассказывала, что Сперанский принадлежал к обществу 14-го декабря и боялся показаний Батенкова; она несколько раз была послана в каземат к Батенкову с обнадеживанием, что дело принимает хороший оборот. «Как же вас пропускали?» — «Как скажу: от Сперанского, то крепостной офицер и проведет». Эта девуш-

ка заметно была с хорошим образованием, очень жива, вероятно, потому Батенков и называл ее чертенком.

[Гораздо позже] я там слышал подтверждение рассказа Гедельштрома о просьбе [Батенкова] с раскаянием и потом об исповеди.

Рассказывали мне еще, что когда по приговору суда<sup>30</sup> Батенков должен был быть сослан в каторжную работу в Сибирь, что будто бы Сперанский входил с докладом, что Батенков понесет двойное наказание, потому что в Сибири известно всем, что Батенков составлял положение о ссыльных. Что будто бы по этому докладу и сделано для Батенкова исключение: вместо Сибири — в каземат крепости.

Вот, кажется, все, что знаю о Батенкове, но ручаюсь только за то, где лично участвовал, а остальное — за что купил, за то и продаю.

Сперанский в Иркутске все продолжал «ничего не делать», но незаметно, как-то постепенно и тихо, Трескин — все еще губернатор, но отошел на второй план. Я не любил Трескина и его дочерей, да и было что любить получше.

Сиюю один в адмиралтействе; перед сумерками является казацкий офицер: пожалуйста к генерал-губернатору! Оделся в полную форму. Вхожу в зал. Михаил Михайлович стоит у косяка окна и читает книжку в  $1/16$  листа. Увидел меня, спросил:

— Что вы так примундирились?

— К вашему превосходительству.

— Посланный, верно, вас позвал к генерал-губернатору?

— Точно так-с.

— Они не понимают: я приказал пригласить вас к Михаилу Михайловичу: прошу различать, можете приходить в сюртучке, мне хотелось побеседовать с вами; снимите вашу саблю, положите шляпу и проходите. Вы, конечно, воспитанник Морского корпуса?

— Точно так, морских офицеров из других заведений нет.

— Да, я это знаю. Ваш главный курс астрономия.

— Учебный курс очень разнообразен, но главный — математика.

— У вас система Коперника?

— Действительно так, но с последующими развитиями: Галилея, Кеплера, Ньютона и других.

— Скажите мне, довольны вы этой системой?

Я взглянул на Сперанского и подумал: шутишь, барин! Или подурчить хочешь?



Сперанский заметил мое молчание, сказал:

— Пожалуйста, не стесняйтесь, прошу, выскажите свои мысли откровенно!

Я решился на шутку отвечать шуткою. Сперанский так был приветлив, как будто одобрял меня.

— Курс астрономии вам известен; конечно, известно вам и то, что вычисления наши не имеют разницы, если мы принимаем, что движется солнце и стоит земля и обратно: вот уже первое сомнение в совершенстве системы мира. Я не вполне доволен.

— Так вы имеете свою систему?

— Да, я думаю, должно быть иначе.

— Право, пожалуйста, объясните ваши мысли.

— Солнце, как центр нашей планетной системы, признано за тело, дающее свет и теплоту. С последним я согласиться не могу.

— По какому основанию?

— Все, что дает тепло, с приближением к нему — тепло усиливается, а с приближением к солнцу, на вершинах высочайших гор, на воздушных шарах — тепло уменьшается.

— Но вы не отвергаете, что чувствуете теплоту от лучей солнца?

— Я полагаю, мы еще не знаем вполне физико-химического свойства лучей света на тела; может быть, свет солнца способен только возбуждать теплоту в телах.

— Хорошо, что же вы создаете на вашем основании?

— От дошедших до нас учений египетских жрецов, Птолемея и греков, они признавали несколько небес и несколько миров. Принимая за основание, что с удалением от земли тепло исчезает, а холод усиливается, трудно вполне отвергнуть учение древних; разум, следя за мертвящим холодом, упрется в ледяную кору видимого нам неба, эта видимая синева есть подобие замерзшей воды.

— Положим, а звезды?

— Если допустить твердую ледяную кору вместо неба, то вместе с тем, не отвергая бесконечности творений Создателя, будет естественно верить, что за этой корой есть другой, высший мир — мир, в котором наш воздух заменяет камень. Того мира, того света нам постигнуть не дано, но, повинувшись воображению, руководимому логическим разумом, мы можем только предполагать о том непостижимом свете, а как нет тел без скважин, мы

можем допустить и в ледяной коре скважины, сквозь которые крошечные частицы того света проникают к нам.

— Прекрасно, а солнце, а луна?

— Солнце есть отверстие большое, но заслоненное полупрозрачным телом, и потому передает нам только часть того света, иначе все погибло бы на земле. Луна есть холодное, мертвое тело, не имеющее огня, воды, атмосферы, а потому и жизни; луна есть материал для будущей планеты.

— Вы думаете?

— Мы, новые, признаем для грешников мучения преисподней; где она — я не знаю, но мой разум допускает, что душа умершего, как эфир воспаряя, приближается к ледяной коре; праведные допускаются проникнуть в высший свет для блаженства, а грешные терзаются по сю сторону мертвой ледяной коры.

— Браво, ваша система не забыла и разрешает о делах и душах людей.

Приплел рай и ад — помня, что говорил с поповичем. В этом роде продолжался разговор — с моей стороны серьезно; Сперанский тоже не улыбался, а как бы одобрял. Я путал все, что знал из физики — электричество, магнит. Между многими вопросами смело разрешил северное сияние, доказывая, что без этого магнитно-электрического процесса земля была бы необитаема от испорченности воздуха на экваторе. Сперанский, выслушав о северном сиянии, сказал:

— Скажите, как это просто, а я думал, что этого никто не знает.

В соседней комнате подали огонь; Сперанский подал мне руку и сказал: — Когда вы ничем не заняты, побывайте у меня, но только помните, к Михаилу Михайловичу в мундире не ходят. Прощайте, благодарю вас, меня зовут работать.

Когда я болтал галиматью, часто взглядывал на Сперанского, ожидая увидеть улыбку, но он, ходя мерными шагами, серьезно слушал. Сперанский был в стареньком сюртуке с очень узкими рукавами, верно — старинная мода.

Хотя я тогда штатских уважать не мог, но мне казалось, не пересолит ли я, так много и глупо болтая? Приехав домой, я до слова записал и в тот же вечер был у Батенкова; рассказал и прочитал записанное; мы вместе с Гаврилой смеялись. Я спросил его, не очень ли я наглумил и что меня немного беспокоит. Батенков успокоил меня, сказав, что Сперанскому все можно говорить, он даже любит слушать болтовню веселонравных.

— Да что тебе вздумалось излагать свою систему мира?

— Мне показалось, что он хочет дурачить меня, я сказал небольшую шутку, да как начал говорить, а он поддакивать, то и нагородил чушь!

Я спросил Гаврилу, не знает ли, какую книжку читает Сперанский?

— Он очень любит и постоянно читает Фому Кемпийского.

На другой день Батенков только явился к Сперанскому, как тот начал смеяться, рассказывая о моей болтовне. Сперанский полагал, что я серьезно увлекаюсь своей системой. Батенков разуверил его и сказал, что я беспокоюсь, не слишком ли наглупил.

— Бойкое молодое воображение; мне нравится, он смелый юноша!

Батенков объяснил, что я, как моряк, уважаю только адмирала — остальные чины не существуют.

— Правда, моряки всегда держат себя особенно, сдержанно, но время и жизнь научат его.

Для меня слова пророческие!

Чтобы быть последовательным, я запишу и вторые сумерки у Сперанского. Дней через пять или семь после первых сумерек явился тот же ординарец и сказал: «Пожалуйте, к Михаилу Михайловичу». Я надел виц-мундир, без сабли, в фуражке; явился пораньше в ту же залу. Сперанский так же ласково спросил, не занят ли я, и сказал: «Походимте».

— Где ваша родина?

Я отвечал.

— Имеете родных в Петербурге?

Я назвал Анну Петровну и Ивана Петровича Буниных.

— Это девица-поэт?

— Точно так, она мне тетка.

— Бунин — это весельчак?

— Действительно он.

— Тетку вашу я встречал в обществе, а о дяде вашем много забавных рассказов.

— Он был тоже моряк.

— Где вы прежде учились?

— Я нигде не учился, умел только читать, а подписывал прошение в корпус по карандашу. Тетка меня отвезла в Петербург, а дядя, как моряк, определил.

— Долго ли вы пробыли в корпусе?

— Семь лет.

— И успели кончить полный курс? У вас наук много?

— Мы каждый день сидим в классах восемь часов и вне классов учим уроки.

Сперанский хотел знать малейшие подробности о порядках в корпусе, о начальстве, об обращении, о наказаниях, об обязанности офицеров, о пище, даже об играх кадет, об экзаменах. Сперанский, заметив, что я говорю о корпусе восторженно, с любовью:

— Вы любите корпус?

— Я всегда с благоговением вспоминаю Морской корпус!

— Так весело вам было в корпусе?

— Нет, ваше высокопревосходительство, корпус дал мне нравственное бытие, я обязан корпусу всем: я поступил в корпус — диким волчонком, а вышел человеком, воспоминания о корпусе для меня священны. Начальники были благодетели — отцы к детям.

— Это делает вам честь. Но пока вы в корпусе, для вас внешняя жизнь не существует?

— Напротив, мы знаем все, что делается, что говорится в городе.

— Каким это образом?

— По субботам и праздникам нас отпускают к родным и знакомым; нас много, нас, как детей, не остерегаются. Когда мы возвращаемся в корпус и рассказываем слышанные новости, мы своим критическим умом противоречия подводим к общему знаменателю и делаем свои заключения.

— Обо мне что-нибудь говорили у вас?

— Как же, и очень громко.

— Что же?

— Да я вас повесил.

— Как так?

— Так, вырежу из бумажки человечка, один конец нитки на шею, а другой конец заверну в кусок жеваной бумаги, брошу в потолок; мокрая жеваная бумага прилипнет и человечек висит с подписью: «Сперанский изменник».

— За что же вы меня вешали?

— Говорили, что вы передали Наполеону великие секреты государя и подписали какую-то бумагу.

— Так вы такие патриоты в корпусе?

— Да, мы очень любим государя.

— А Россию?

— Да как любить, чего не знаешь; вот я еду более года и все Россия, я и теперь ее не знаю.

— Как вы решились ехать в такую даль?

— В Кронштадте нехорошо жить, нас очень много. Я подумал: если в Камчатке не найду лучшего, то найду новое — все-таки выигрываю.

— Смелая посылка!

— Да когда же и искать, как не в мои годы?

— Вы правы.

Подали огню; Сперанский поблагодарил, я откланялся.

Иркутск веселился напропалую, казалось, никто ничего не делает, а Сперанский меньше всех: обед, бал — Сперанский непременно везде присутствует; служащие при нем, кажется, затем и приехали, чтобы праздновать, — только никто не видит Цейера и канцелярских, да долго по ночам освещен весь дом Сперанского. Не слыша служебного слова и не видя дел — дом Трескина постоянно пустел; дом, недавно сцентрировавший в себе всю жизнь Иркутска, — стал как зачумленный, хотя Трескин продолжал быть губернатором. В обществе не было о нем ни полслова.

Как-то вдруг, неожиданно, явились на сцену разговора три исправника: иркутский — Волошин, верхнеудинский — Гедельштром и нижнеудинский — Лоскутов. Первые два были в Иркутске и были постоянными членами общества; о них заговорили, но они одни, кажется, не слышали говора. Двух первых я хорошо знал, а третьего — никогда не видал.

Волошина называли — студент, смеялись, что он, бывши еще московским студентом, уже был назначен исправником, занимал должность 13 лет.

Гедельштром, по рассказам, был домашним секретарем графа Румянцева; по какому-то делу (не сохранила моя память, чуть ли не в Ревеле), падающему тенью на графа, Гедельштром принял вину на себя и был удален в Сибирь. Человек, хорошо учившийся, предпринял путешествие к Ледовитому океану; изданная им книжка была у меня, но теперь, вероятно, не найдется. Гедельштром долго был исправником за Байкалом. На каждого исправника по жалобам — насчитывались миллионы взяток. Гедельштром говорил, что у них оставались проценты, а капитал попадал к Трескину.

У Волошина были крестины; на парадном обеде был Сперанский, обед был роскошный, помню — стерляжью уху на

шампанском; обед был очень весел, говорлив, Батенков был в ударе, абордировал меня нещадно. Сперанский добр, молчалив, но был приветлив, ласково шутил с хозяином. На другой день слышим: у бедного Волошина описали имение и оказалось денег — один рубль семьдесят три копейки. Бедный Волошин в день описи имущества, должно быть, с горя, при мне, вечером, проиграл в банк до 25-ти тысяч рублей. Странно, никого это не удивило, еще страннее, что Сперанский знал о проигрыше, но не показал и вида, что ему известно. Об описи Гедельштрома — не знаю или не помню, а вот при описи в Нижнеудинске Лоскутова у него нашли — набитую мебель ассигнациями, и только в мебели нашли 450 тысяч рублей. Сперанский немилосердно, жестоко наказал этих грабителей — он *сослал их в Россию!* Они, бедные, страдальцы, переехали — кто в Москву, кто в Петербург. Хотя жестокое, но оригинальное наказание — ссылка из Сибири в столицы!

Михаил Михайлович трудился не над исправлением прошедшего зла, чего и невозможно было исправить, была бы бесплодная работа; он трудился над устранением зла в будущем и работал — пересоздать управление Сибири. Раз, я случайно слышал, как говорили люди, имеющие возможность знать многое, что Сперанский сначала хотел сделать из Сибири Финляндию, но получил совет — не начинать.

Переделанную Сибирь я видел чрез 12 лет. Плоды труда Сперанского были осязательны: власти были ограничены, правление Трескина было слабым преданием и умерло в истории, сохранившись в анекдотах. Но как все дела человеческие — несовершенны, так и последствия благонамеренного труда умного человека оказались односторонними. Злоупотребления властей действительно уменьшились; не слышать было жалоб от богатого купечества и вообще классы имущие были довольны, но зато обессиленная власть не имела силы сдерживать народ, впадала в апатию. В нравственном быте народа я нашел огромную перемену, менее одного поколения — и народа узнать было нельзя! Жизнь в городе мало была обеспечена; частые убийства, грабежи, воровства, недалеко от Иркутска, в горах — две шайки разбойников. Несколько раз я слышал, как Лавинский с негодованием говорил: «Человек готовился лазить на колокольню и звонить в колокола<sup>31</sup>, а ему поручили переделать край! Хорош реформатор!» — и не скупился прибавить непечатных слов. Более всего поразило меня — это заметное обед-

нение деревень. Казалось бы, с уничтожением деспотической власти полиций, избавлением от незаконных поборов исправников — жизнь крестьян должна была улучшиться, но результат вышел противный. Не один раз слышал я от стариков, жалевших об управлении Трескина, вспоминали, какое было спокойствие, а теперь что...

Я ничего не сказал о частной жизни жителей Иркутска, да и вообще не могу сказать многого. О чиновниках говорить нечего, это кочующий народ — приезжают с целию, на время, и уезжают, достигнув по возможности своей цели; чиновники не составляют коренного оседлого населения Иркутска. Аристократию Иркутска составляют первогильдейцы-миллионеры, торгующие с Китаем через Кяхту. Градация купцов, как и везде — по величине капитала. Мещане, казаки — все собственники домов и не бедны. Иркутские купцы люди образованные, в щегольских фраках; танцуя с молодыми женами их, я знал, что они в платьях, нередко выписанных из Парижа. Коляски из Питера, с иглочки. Вот вам купец Вася Баснин: Лавинский пошел гулять пешком и взял меня с собою. «Вот близко, зайдем к Васе Баснину». Огромный двухэтажный каменный дом, чистота прекрасная. Не приказав доложить, мы нашли Васю Баснина в библиотеке, в прекрасном китайском шелковом халате, в большом покойном кресле, с новейшею книгою. Вася сконфузился, засуетился. Генерал-губернатор запретил одеваться. Вася позвонил, явился серебряный шоколадник; при нас сварив на спирте, предложил нам прекрасного шоколада. Лавинский приказал ему надеть сюртук, и мы пошли втроем продолжать прогулку. Лавинский взял под руку Васю, серьезно говорили о средствах усилить и улучшить кяхтинскую торговлю. Чувствуя, что я им не товарищ, я откланялся. Вот тип иркутского первогильдейца.

В 1819 году выдвигался из всех Иван Ефимович Кузнецов — по недавнему положению своего друга сердца Трескиной и потому еще, что он тогда был товарищем откупщика<sup>32</sup>. Его дом занимал Сперанский (Кузнецов занимал огромный двухэтажный каменный дом среди города). Дума нанимала несколько отдельных небольших домов для проезжающих — служащих, в домах было все удобство на первое время. Содержатель почти обязан был немедленно прислать пару лошадей с кучером, которые и находились в распоряжении проезжающего целый день. Сам проезжающий попадал в распоряжение Куз-

нецова, у которого в нижнем этаже обед, ужин, чай — день и вечер. Обед даже прихотливый и разливное море; вечер — постоянная игра в карты; сам Кузнецов не играл. Случалось быть свидетелем, как выигрывались десятки тысяч в банк. Но все было чинно, прилично, весело.

Иркутск стоит на ровной, сухой местности правого берега Ангары. От востока обходит, а северную часть города прорезывает быстрая речка Ида и тут же впадает в огромную Ангару. Иркутск 1819 года щеголял опрятностью улиц и домов. В Иркутске все жители имели своих лошадей, а потому извозчикам не было места.

В штате Сперанского был весьма приличный господин; говорили, что он считается чтецом Михаила Михайловича, но едва ли это правда: этот господин говорил с сильнейшим немецким акцентом, но он был замечателен: превосходно играл на скрипке, непобедимый игрок в шахматы, артист на бильярде; вот он-то и давал каждый вечер концерт — на картах в банк.

В Иркутске был Вейкарт; он был родной племянник Сперанского; мы были ровесники, он еще нигде не служил, превосходно образован, воспитанник иезуитов, которых он серьезно боялся — хотя иезуиты и были далеко. Жорж Вейкарт был очень недурен собою, среднего роста, сильно и стройно сложен и предобрейшего сердца. Мы скоро сделались друзьями; Сперанский, кажется, доволен был нашею дружбою; он очень любил Жоржа, но денег не давал ни копейки; Жорж всегда был хорошо одет, но и только. Все шалости сходили нам без замечания. Где теперь незабвенный мой друг Жорж? Жив ли он? А он обещал пойти далеко!

Сперанский все ничего не делал, все продолжал бывать на обедах и балах; казалось, все шло по-старому. Цейер все суетливо бегал с бумагами; никто ничего не знал.

Оставшаяся команда в Омске прибыла в Иркутск поздно осенью; для следования в Якутск мы должны были дождаться, как замерзнет великолепная Лена. В мое отсутствие из Омска Воронов женился там.

Стала зима, мы должны были ехать. Сделав прощальные визиты, Трескина, кажется, не видал; я не любил его, тогда все обходили его, дом его точно стоял оглашенным, хотя он и был еще губернатором. Когда я откланивался Сперанскому, он, ласково улыбаясь, пожелал успеха, не скучать и сказал: «Советую найти занятие, кроме службы, и не быть праздным».



Батенков проводил за город и с чувством друга, прощаясь, твердил: «Пиши, пиши!» Дорогой мой Жорж проводил меня до первой станции.

Через 15 лет я видел только Сперанского; его уже вносили на лестницу; он сидел в большом кресле, внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Ваше имя необщеупотребительное?

Я назвал себя (Эразм).

А он, улыбаясь, прибавил: «Роттердамский!» Смотря на мое лицо, Михаил Михайлович сказал: — Надеюсь, вам была удача в ваших делах?

— Да, я не могу пожаловаться, до сих пор я был доволен и службою, и делами.

— Надеюсь, так и будет продолжаться, вы должны иметь успех. Скучали ли вы?

— Мне чувство скуки неизвестно.

— Счастливый характер.

Я заметил тогда и убежден теперь, что Сперанский не только знал, но и уважал Лафатера: родимые пятна на моем лице, по Лафатеру, означают успех в жизни. Затем спрашивал о моей службе, о жизни в Камчатке и Охотске. Узнав, что я поневоле был в Иркутске, хотел знать, как я нашел Иркутск. Я был скромн, но он сказал:

— Я имею сведения, что там стал порочен народ. Может быть, народ рано получил много воли, может быть, были нужны еще крепкие вожжи, но будем надеяться лучшего от времени.

В заключение спросил, не имею ли я нужды в его содействии.

Я почтительно благодарил и откланялся. Сперанский приглашал меня разделить свободный час, но я более не был.

Знаменитость Иркутска в 1819 году был Иван Ефимович Кузнецов, в обществе назывался «король». В 1830 году я нашел короля порядочно старым, до крайности бедным; кажется, всего имущества остался деревянный дом, в котором жил Сперанский. Дом большой, в 1819 году — горел огнями, в 1830-м стоял темный. По старому знакомству, помня хлеб-соль, был я у короля — пусто, бедно! Одинок, детей нет и не было. Говорил также на о, но был молчалив, скучен, даже плохо одет. Грустное впечатление! В 1833 году, прощаясь с Иркутском, заехал к королю. Нашел его в маленькой комнатке, в халате с сотнею

заплат; он сидел около наклоненного лотка (которым дети катают яйца на Пасхе), около него два мешка грязного песка, а выше лотка — ведро воды. Король с щеткою в руке вымывал песок в лотке.

— Что это вы делаете, Иван Ефимыч?

— Да вот, по старому знакомству, беглый варначок <sup>33</sup> принес землицы на пробу; не знаю, что будет — пробую.

Подумал я: ни в каком положении надежда не оставляет человека. Простились с пожеланиями.

В Киеве получил я письмо из Иркутска: Иван Ефимович Кузнецов — миллионер, не знает счета деньгам, делает громадные пожертвования, статский советник, в орденах и стал настоящим королем между миллионерами! Виденный мною грязный песок оказался богато содержащим золото; говорят, 100 пудов песку давали около фунта золотого песку; это, конечно, неисчислимое богатство, когда считается не бедною россыпь, которая дает из 100 пудов золотник золотого песку.

Трескин переселился в Москву, притворялся бедняком, дочерей водил в заячьих салопах. Рассказывали, что Нарышкин ходатайствовал о вспомоществовании Трескину и сказал, что по бедности дочери его ходят в заячьих салопах. Добавляют, что государь много смеялся участием Нарышкина. Кто тогда не слышал о миллионах Трескина?

Из всех действующих лиц этого воспоминания за 60 лет, вероятно, живут немногие, да и я оживаю только прошедшим. Настоящее часто напоминает мне, что я хожу по кладбищу!

Бывши начальником адмиралтейства в Иркутске, в феврале 1832 года поехал в Кяхту<sup>1</sup>; февраль у китайцев — месяц праздников нового года. Не доезжая станции три до Троицкосавска, зимний путь прекращается; на этой местности никогда не бывает ни снега, ни дождя. В Троицкосавске — главное управление таможи, население города большое; тут живут постоянные и временные рабочие из Кяхты, тысячи обозников — движения очень много. От Троицкосавска до Кяхты 4 версты. Кяхта небольшой городок с своеобразным бытом и населением: это мир первогильдейцев, которые только одни имеют право вести заграничную торговлю. В городке совершенная тишина, движения никакого; в это время шли переговоры и сделки с китайцами. Тузы иркутские все были мне знакомы, я сделал им визиты, т. е. выпил чашек десять чаю и прихлебнул из десятка рюмок вина. Все были заняты, все озабочены. Возвратясь на квартиру, вместо контрвизитов получил столько же ящиков чаю. Не буду описывать Кяхту, Маймачин, тамошние порядки у русских и китайцев — все это описано и переписано десятки раз. Под покровительством Васи Баснина обедал у богатого купца-китайца; сосчитал шариками 93 кушанья, какие это кушанья? Право не знаю, но попробовал всего чайною ложечкою, все блюда сносны и многие вкусны. Обратило мое внимание блюдо с турецким табаком, очень пышно наложенным; смотрю, все едят, макая в сою; взял и я, во рту тает, спросил: «Что такое?», сказали: «Свиная кожа!» Своеобразный мир китайцев известен, а если скажу, что начинается обед конфетами и кончается супом, то достаточно выражу противоположность всему русскому. Мы гордимся изобретением самовара, но едва ли это верно: мы придумали только дать другое употребление самовару. Самовар с незапамятных времен употребляется китайцами, но не для чая, как у нас: у них кипящий самовар подается последним блюдом за обедом. В самоваре кипела разная зелень

и коренья; каждому из нас подали на блюде тонко-претонко нарезанные ломтики сырого фазана; каждый палочками брал ломтики, опускал в кипящий бульон и, подержав недолго, кушал. Право, это недурно. Самовар прекрасной формы, не так давно и Тула переняла эту форму. Пили китайцы не больше наперстка, но пили очень часто, пили спирт из риса — как огонь острый, думаю, градусов до 70-ти. Невзирая, что я был предупрежден рассказами и чтением, но был очень удивлен миром другой планеты! Был с визитом у дзаргучея<sup>2</sup>, очень важный и очень вежливый китаец. Обедал у него в какой-то праздник, было 113 блюд, порядки одни. Я заметил, что у дзаргучея акцент и даже голос разговора не похож на других; мне сказали, что эта манера говорить употребляется при дворе, где дзаргучей был чиновником. У одного китайца, как оказалось, полицейского дзаргучея, уши в стеклянных футлярах. Китаец на вопрос объяснил: «Русские, когда худо видят, то носят стекла на глазах; я худо слышу, тоже надел стекла на уши». Видимо, физика не процветала в Китае. Известно, что китайское правительство запретило женщинам быть в Маймачине, для того чтобы не ссориться с русскими, потому что история Китая рассказывает, что все ссоры, войны происходили из-за женщин. Это доказывает, что китайские женщины — не другой планеты.

Возвратился в Троицкосавск. Там в это время жил барон Шиллинг фон Канштадт. Этот действительный статский советник приехал из Питера для изучения религии далай-ламы<sup>3</sup>. Известно было, что этот барон — отец всех наук и брат мудрости. Вечерком я сделал визит; прося лакея доложить, получил ответ:

— Барону, его прев[осходитель]ству, не докладывают, пожалуйста.

Цивилизованный лакей годился в старинную французскую комедию. В небольшом домике, в первой низенькой комнатке, около стола, спиною к дверям, сидел толстяк в халате; против него, у того же ломберного стола, наклонился через стол в одежде священника; оба рассматривали какую-то брошюрку на китайском языке. Тихо войдя, слышу — говорит барон:

— Да вы, отец Иакинф, обратите внимание, не каббалистика<sup>4</sup> ли это?

Я стал за креслом барона, оба так были углублены в книжку, что не обратили внимания на мой приход. Стал и я смот-

реть на книжку, мне казалось неприличным прервать интересное рассуждение. Вижу, книжка вся состоит из цифр в несколько рядов с китайскими буквами. В это время барон перевернул листок, я увидел сбоку чертеж сферического треугольника с отметками известных и неизвестных. Дело знакомое, я сказал:

— Да это логарифмы!

Барон обернулся ко мне и, не вставая, — что, кажется, едва ли и возможно было, — подал руку и самой приветливой манерой усадил меня к столу и представил отцу Иакинфу. В две, три минуты я чувствовал себя коротко знакомым, так привлекательна была манера барона, а я подумал: вот удалось одним камнем убить два воробья: хотелось видеть монаха Иакинфа Бичурина, да не знал как. Тотчас потребовалось от меня объяснение, что я разумею под названием «логарифм» и почему я признаю эту непонятную книжку, над которой они ломают голову, — логарифмами? Я объяснил до подробностей употребление логарифм и даже объяснил способ вычисления их. Оказалось брошюрка издана иезуитами<sup>5</sup> в Пекине. Любезность барона наименовала меня ученым. Скоро барон овладел разговором и с гордостью хвастал, что считал громадным успехом приобретение Ганжура<sup>6</sup> и не теряет надежды приобрести Данжур<sup>7</sup>, что Европа не имеет ничего подобного и проч. и проч. Эти Ганжур и Данжур в религии далай-ламы — почти то же самое, что у папы костельное право, одно пространное, другое сокращенное.

Хитрые логарифмы сблизили меня с бароном. Что за увлекательный человек: пропасть путешествовал, знаком и в переписке с учеными знаменитостями целого света. Занимательных рассказов, всегда умных, интересных анекдотов — без конца. Барон Шиллинг фон Канштадт был небольшого среднего роста, необыкновенной толщины. Всегда приветливое выражение недурного лица, глаза полные веселости и блеска. Барон был холост. Обращение его было — человека самого высшего тона. Он имел искусство оставить уверенность в каждом, что Шиллинг находит его умным человеком. В Петербурге я видел, как дамы, и особенно молодые, ласкали его: он умел заставить их хохотать и быть внимательными к его анекдотам. Шиллинг был друг всего высшего круга Питера. Помню раз, как барон заставил усердно хохотать все большое общество своим рассказом в лицах, как тощие итальянцы несли громадную его тол-

щину на Этно; он сам не смеялся, но рассказ его был мастерской и чрезвычайно комичен \*.

\* Жизнь моя в Иркутске текла весьма приятно. Генерал-губернатор меня особенно ласкал, у значительных чиновников и у богатых купцов я пользовался общим уважением, должность была не только не отяготительна, но даже весьма приятна. Как командир отдельной части, почти никому не подчиненный в Иркутске, я делал, что хотел, ехал — куда хотел, никто не касался меня; но все-таки меня тянуло в общий центр морской службы — в Кронштадт. В Петербург звал меня и отец. Ожившись в Охотске, я написал родителям о своем житье-бытье. Помню, я употребил выражение: полагаю, родителям *любопытно знать* откровенный рассказ о сыне, которого они знали еще ребенком, и рассказывая о всех привычках и мелочах моей жизни, я употребил выражение: *хотя не часто, но скромно* и тихо делю время с *небольшим числом друзей*. За эти два выражения «любопытно знать» и «не много друзей» я получил от отца огромную тетрадь, полную самой жестокой брани, как смел я родителей назвать любопытными. Отец писал, что он имел в жизни одного только друга, и когда он умер, то полгода пролежал больным и до сего времени утешиться не может. Из всего этого он видит, что я пустая и глупая голова, что человек без характера и что он потерял всякую надежду в том, что когда-нибудь выйдет из меня порядочный человек. Мать писала ласково. Читая письмо, я прослезился и, по понятию моему, не был виноват против отца; но я был бессилен против его гнева и, читая письмо у топившегося камина, бросил его в огонь и с этой минуты пять лет не писал отцу. В этот промежуток я получил письмо от матери, которая писала ко мне секретно и умоляла просить прощения у отца. Я не послушался матери и не писал. Однажды я получил свернутую на уголок записку на серой бумаге, в которой было написано: «Государь мой, долгом считаю уведомить, что ваша мать, а моя жена умерла и погребена в Колоцком монастыре. Доброжелающий Иван Стогов». Я перекрестился и положил записку, в которой не назван сыном. Не помню, сколько лет после этого я не писал отцу. Вдруг получаю от него ласковое письмо, в котором уведомляет, что вновь женился на Ляпуновой, и от нее лыстивое письмо. Я расхохотался и решился написать ласковое и почтительное письмо отцу, как будто не было прошедшего, а к мачехе написал самое лыстивое, поэтическое письмо, и с того времени началась моя переписка с отцом без брани. Он постоянно звал меня в Золотилово...

В позднюю осень на смену мне приехал Николай Вуколович Головин, я сдал ему адмиралтейство в два дня. Выпал первый снег, я с сожалением простился с спокойною и довольною жизнью в Иркутске, сделал всем визиты, благодарил за хлеб за соль. Лавинский дал мне прощальный обед, приказал мне явиться к нему в Питер. Нагрузил я свой сухопутный корабль: соболями, лисицами, бобрами, дареным чаем и, улегшись в повозке, отправился в путь...

Из Иркутска в Москву я приехал в 17-й день, полагаю, курьер скорее не проедет. Отец мой был в Москве, он так обрадовался моему приезду, с ним сделалось дурно до обморока; но от радости, говорят, не умирают, поехали в Золотилово. В двух с половиною верстах от Золотилова находится монастырь Колоцкой Божией матери; я зашел на могилу матери, и тут я до

Возвратясь в Петербург с идеями старого флота, но побывав в Кронштадте, я страшно разочаровался! Той отдельной касты, того заветного братства, той независимости, кажется, от целого света — ничего не нашел! [Явились никогда не бывалые выскочки-хвастуны, говорили о доносчиках.] Достойные старики, около которых кристаллизовалась молодежь и продолжала нравы флота, — одни поумирали, другие удалились. Из огромного моего выпуска нашел только семь товарищей — все разбрелись, а оставшиеся казались будто каждый сцентрировался в себе; нет прежней разгульной откровенности, бедность большая, я богат между ними. Дал товарищам хороший обед в трактире Стюарта. Обед прошел молчаливо. Все были ласковы по-товарищески, но и только! На вопросы «Что с вами?» отвечали: «Не то время, поживешь, увидишь». Самые искренние, и те тихо жаловались на князя Меншикова.

45 лет прошло — расскажу первое представление князю Меншикову. Это время было время проектов — кто мог, тот и умничал, я еще в Сибири понял современную моду. Надумал и я проектов для Охотска и для Байкала. Являюсь смело к князю. Я надеялся щегольнуть, заинтересовать своими проектами,

---

того расплакался, что меня сняли с могилы без памяти. С тех пор я ни на одну могилу близких мне не хожу, потому что не могу на могиле управлять своими чувствами. У меня два брата во флоте, лейтенанты, и четыре сестры-девицы, все родились без меня. Сестры бросились меня целовать, но когда я, шутя, сказал, что братец их скоро придет, а я — его товарищ, они ударились в слезы: можно ли сделать такой проступок — целовать чужого человека? Насилу утешил их. Как-то я упомянул слово «черт», они все побледили, как полотно, и поглядели со страхом на печку, не вылезет ли он, так как им всегда говорили, что черт живет за печкою, вот какая патриархальность в Золотилове! Разгружая повозку, я просил свесить кладь, оказалось 40 пуд. Привез молодых медведей на шубу отцу, сестрам по лисьему и беличьему меху, осетров отцу и подарил ему повозку, которая дошла без починки. Все были счастливы и довольны, особенно чванился шубою мой отец, а того не знал, что о медведя на Камчатке вытирают ноги, и у меня был ковер на полу во всю комнату, но в Золотилове завидовали отцу. В Золотилове я прожил месяц и отправился из Москвы на долгих в Питер. Во время пребывания в Золотилове всякий день приезжали какие-то родные, но кто они, я не знал и, даря каждому и каждой какую-нибудь вещь из екатеринбургских камней, я не досчитался около 300 штук.

В Москве не видят знакомого два дня — посылают узнать о здоровье и ахают, узнав о смерти его. В Питере не видят знакомого целый год, и никто не вспомнит; скажут: «Умер», — ответят: «То-то его давно не видать» и более ни слова. Вот разница между Москвою и Питером (*Русская старина*. 1903. № 4. С. 128–129, 134–135).

но не на того напал; я с незрелой и недоконченной мыслью хотел сделать скачок, не тут-то было: князь крепко держал нитку начатой идеи! Я понял, что могу остаться в дураках, и замолчал.

— Что ж вы молчите?

— Извините, ваша светлость, я не могу говорить с вами.

— Отчего?

— 15 лет я не видал так высоко стоящей особы и во всю жизнь не встречал такого могучего ума.

— Ну, так как же мы будем говорить с вами?

— Ваша светлость, я искренно доложу вам, что, стоя перед вами, я потерял способность мыслить, чувствую свое ничтожество!

— Вы одичали, поживите в Петербурге, отдохните, иногда приходите (кажется) по средам чай пить. Прощайте.

Мне только и хотелось дозволения пожить в Питере. Деньжонки у меня были, я счел дозволенным себе упиться удовольствиями, от которых был отчужден 15 лет.

Во флоте я разочаровался: упадок общего духа, бедность товарищей поразили меня — какая будущность? Я долго думал и решил искать другой службы. Тогда самое большое содержание было, как в новом учреждении, в корпусе жандармов, но без протекции как попасть туда? Бродя по Питеру, я вспомнил барона Шиллинга, застал его дома, он принял меня очаровательно; разговаривая со мною, [ловко узнал мои сокровенные желания, которые, не имея надежды, я хранил в тайне; Шиллинг] заставил меня высказаться о причинах моего намерения. Спросил мою квартиру, и мы простились. Утром получаю с жандармом записку от начальника штаба корпуса жандармов Дубельта, всем знакомой формы: «Свидетельствуя совершенное почтение» и проч., [я] приглашался в штаб, для некоторых личных объяснений. Дубельт хотел знать об Американской компании<sup>8</sup>, а кончилось приглашением меня в жандармы. [Хотя я и был удивлен, но согласился не думавши. Мне приказано иногда являться в штаб, так как в жандармы поступают по испытанию. Обдумав на свободе, я невольно сказал себе: «Иногда вывозят и логарифмы». \*]

\* [Впоследствии я узнал, что действ[ительный] стат[ский] советник Шиллинг фон Канштадт служил в ведомстве шефа жандармов, получая 12 т[ысяч] рублей жалованья в год, часто был посылаем за границу и множество перебрал денег по всевозможным поводам от (неразборчиво)] (ИРЛИ, ф. 265, оп. 1, д. 21, л. 279).



Явился к князю Меншикову; опять история проектов, я замолчал и повторил в роде первой проделки, а на вопрос князя: «Как же мы будем говорить?» — я спросил позволения написать. «Так вы литератор? Ну, сочините, посмотрим». Я написал и принес, князь читал, саркастически улыбаясь, и, отдавая мне, сказал:

— Предметы так важны, что превосходят мою власть; отнесите в совет адмиралтейства, но будьте осторожны (понижив голос), там сидят все мудрецы!

Это он сказал с таким сарказмом презрения, что я будто теперь слышу.

В адмиралтействе я нашел Васильева<sup>9</sup>, с которым я брал наблюдения в Камчатке, Рикорда, с которым служил там же, и других. Моряки приняли меня по-родному; я подал проект, много хохотали и спросили: «Да чего ты хочешь?» Я просил позволения пожить в Питере. Мне дали билет с предписанием не отлучаться из Питера до рассмотрения моих проектов.

Мне того и нужно было, чтобы не отделиться от жандармов. Государь уехал и вызвал князя Меншикова в Мюнхенгрет<sup>10</sup>. Я объявил Дубельту, если желают, чтобы я был жандармом, то это можно сделать только без кн. Меншикова. Ответ из флота о мне много стоил хлопот, и я обязан много Лермонтову.

Я — жандарм<sup>\* 11</sup>. Возвратившийся князь очень гневался, узнав, что я перешел в жандармы. Лермонтов рассказывал, что

---

\* Итак, свершилось: я жандарм, т. е. нравственный полицмейстер. Утром я являлся в штаб в форме жандарма, а остальной день ходил во флотском мундире. Съездил в Кронштадт, похвастать кавалерийской формой; товарищи и все были удивлены моим переходом и завидовали.

Мы с Дубельтом скоро сделались друзьями; он тогда был еще полковник и начальник штаба, часто бывал без денег и занимал у меня по 300–400 рублей, но нас сблизило преглупое обстоятельство. Американец Добель был в Кяхте комиссионером какого-то богача торгового дома. Наш корабль, под командою Крузенштерна, первый раз зашел в Китайскую гавань. Туземцы сильно притесняли Крузенштерна, и корабль чуть не подвергся аресту. Добель оказал важные услуги Крузенштерну, а за услугу просил рекомендации у русского правительства. Добеля, бывшего тогда в большой славе, пригласили в Питер и назначили консулом на Филиппинских островах и на всем Восточном океане. Отправился Добель в Камчатку берегом; проезжая Тобольск, будучи в гостях у полицмейстера, он увидел девушку, подающую чай. Добель говорил мне, что он был вдов, первая жена была красавица, и он страстно ее любил; как же он был по-

ражен, увидев в девушке свою любимую жену — сходство было поразительное. Добель, узнав, что девушка крепостная и ей 16 лет, предложил купить ее, и с него ловкий полицмейстер взял будто бы 10 тысяч руб[лей]. Добель женился, и из Дашутки сделалась — Дарья Андреевна. На Филиппинских островах в Маниле он воспитал свою жену, она говорила по-испански — как аристократка, манеры получила превосходные, но с этим и выросла, как добрый гренадер, так что я в трехугольной шляпе был ниже ее. Однажды Добель получил заказ от известного бессчетного миллионера американца Армстронга — купить соболей в Камчатке. Армстронг надеялся быть монополистом в русских владениях Восточного океана. Добель поселился в Петропавловской гавани; я зимовал там же, и дома наши были рядом. Познакомившись, Добель очень полюбил меня и, предполагая во мне знание света и приличий, просил меня быть наставником Дарьи Андреевны, — и я охотно согласился. Дарья Андреевна очень выросла, но не подурнела, она была огромна, но пропорциональна и прекрасна. Манеры ее были настоящей аристократки, одевалась с большим вкусом. Рикорд говорил, что она на испанском языке и по-английски говорила превосходно, но лишь заговорит по-русски — мужик мужиком, выговор сибирский «пошто пошел, не проедайся, экой озорник» и тому подобное. В этой красивой женщине были две особы: испанка и англичанка — очень приличны, а русская — нестерпимо груба и даже глупа. Я скоро сделался ее другом. Добель привез с собой приказчиков-американцев, и русские торговцы надували их. Кончилось тем, что целый корабельный груз товаров улетучился, а Добель соболей не получил. Я застал Добеля в Петербурге в плохих делах, он устарел, денег нет и ничего впереди. С Дарьей Андреевной моя старая дружба возобновилась. Я уже был жандармом, но долго еще ходил в флотском платье. Был концерт в доме Николая Ивановича Греча, был там и Добель с женою. Случайно я сел как раз сзади Дарьи Андреевны, по старому знакомству; когда все внимательно слушали музыку, она шалила со мною. Кончился концерт, все встали, кто-то ущипнул мне левую руку выше локтя, да так больно, что я с трудом удержался от крика. Смотрю, это Дубельт. Я думал, что он с ума сошел: маленькие глаза горят, как угольки, сам красный, воспаленный, задыхается:

— Что с вами, зачем так больно ущипнули?

— Молчи, пойдем к амбразуре окна.

Он приступил ко мне с расспросами: кто та дама, которая шалила со мною? Как я с нею знаком? Давно ли? и проч. Тут же признался мне, что он лучшей красавицы не видал во всю жизнь, что он просто влюблен в нее страстно. Оказалось, что этот небольшого роста человечек может любить только большого роста женщин, и чем выше, тем они ему привлекательнее, но Дарья Андреевна была гигант между женщинами и, правда, очень хороша. На другое утро Дубельт признался, что он не спал всю ночь, перед ним стояла Дарья Андреевна. Он, как друга, просил меня познакомить его с нею и за то он целую жизнь будет много мне слуга. Такой человек, как Дубельт, был мне очень нужен; я видел, что он пойдет далеко, скрепить дружбу с ним было не только нужно, но и очень для меня важно. Я дал ему слово хлопотать по этому делу. Взявшись за глупость, я решился и поступать глупо. В тот же день, не застав Добеля

князь назначил меня командиром нового фрегата, по методе Стефенса; при этом и доложил Лермонтов, что меня уже нет во флоте; князь гневно спросил:

— Кто его выпустил?

— Моллер.

— Ох, этот гнилой, он всех распустит.

Мне хотелось иметь патент<sup>12</sup> из флота. Князь бросил патент на пол и сказал: «Никогда не подпишу». Последовало сепаратное повеление: из флота не переводить.

[Только на службу являлся в жандармской форме, а без службы продолжал носить флотскую.] У меня был двоюродный брат Василий Семенов; он был тогда цензором, к нему собирались литераторы и любители. В один вечер Семенов объявил, что он прочтет замечательную вещь, Вася превосходный чтец, прочитал «Большой выход у Сатаны» Сенковского. Только ахали; удивлению, похвалам, восторгам — не было конца. Но когда брат сказал, что пропустить не может, все заговорили: «Это преступление, это грабеж литературы, это убийство таланта, это святотатство» и проч., долго судили и рядили. Вася решил, что если не поможет граф Бенкендорф — на него последняя надежда — он другого средства не видит. [Утром явился Семенов к графу и очень удивился, увидя меня жандармом.] Граф хорошо знал Семенова, который, говоря о своем сомнении в статье, бо-

---

дома, я в спальне упал на колени перед Дарьей Андреевной, и вот наш разговор:

— Ты чего дурачишься? — спросила она.

— Я, сударыня Дарья Андреевна, самый покорный проситель.

— Это что еще выдумал; пошел, не дури, прощелыга.

Я приставал и просил.

— Да что тебе надоть, верно какое-нибудь дурачество? Я рассказал ей откровенно положение дела и как мне нужен Дубельт, и что он устроит судьбу ее мужа. Положено было встретиться на другой день у Мордвинова на обеде. Дубельт был в восторге, поцеловал меня и обещал заслужить.

Я должен был получить назначение в одну из губерний — штаб-офицером, но мне еще хотелось пожить в Питере. Дубельт поместил меня при графе Бенкендорфе по особым поручениям. Как-то Дубельт захворал и приказал мне идти с портфелем к графу, для доклада и подписки бумаг. Доклад сошел хорошо. Граф постоянно называл меня «Стокгоф» — и я не противоречил, у немца выгодно быть немцем. Много раз я занимал должность Дубельта при приемах графа и входил в роль дельца, узнавши графа — смело лгал — чего не знал, и шло хорошо (*Русская старина*. 1903. № 5. С. 308–310).

жился, что в ней ничего нет, но сомневается по своей неопытности. Граф приказал положить у него на туалет. Я отлично припрятал и прикрыл бумагами. Каждую неделю приходил Вася за статьею; граф уверял, что еще не дочитал, а я видел, что не дотрагивался. Пришел Семенов третий раз и уверил, что литератор настоятельно просит, работа срочная. Граф приказал мне подать, я отвернул последнюю страницу, и граф написал: «Дозволяется печатать». Говорят, государь был недоволен ценсурю, оборвалось на Бенкендорфе.

[Не любил я Питера: огромные дома, громадно великие люди, и все холодно, холодно. Находясь при шефе жандармов, мне было беспокойно и много расходов. По случайной дружбе ко мне Дубельта от меня зависело выбрать губернию; я выбрал, где не было родных, товарищей и знакомых, — Симбирскую. <sup>13</sup>]

Откланиваясь графу Бенкендорфу, я просил его наставления, чего я должен достигать нравственно, исполняя свою обязанность. Граф отвечал:

— Ваша обязанность — утирать слезы несчастных и отвращать злоупотребления власти, а обществу содействовать быть в согласии. Если будут любить вас, то вы легко всего достигнете.

— Ваше сиятельство, общество играет в запрещенные игры — в карты, должен ли я мешаться?

— А вы любите играть?

— Нет.

— Ну, так позволяю вам играть в банк до 5 руб., но вы не должны позволять обыгрывать неопытную юность и хранителя казенных сумм.

Я дал честное слово исполнить.

Приехал в Симбирск, кажется, 8-го января 1834 года; предместника моего, полковника Маслова <sup>14</sup>, я не застал уже, но застал озлобление всего общества против него, а вместе с тем недоверие и нерасположение к голубому мундиру.

Разбирая деятельность Маслова, я нашел, что он совершенно не понимал своей обязанности: он [с какими-то отсталыми понятиями,] хотел быть сыщиком, ему казалось славою — рыться в грязных мелочах и хвастать знанием домашних тайн общества. Жена его любила щеголять знанием всех сплетен и так была деятельна, что для помощи мужу осматривала пред-

варительно рекрут, хотя это и не было обязанностью жандармского штаб-офицера, но Маслов совался везде. Одним словом, Маслов хотел быть страшным и — достиг общего презрения!

[Мне предстояла немалая задача: заслужить общее доверие и быть нелишним членом общества.]

Симбирск от Москвы более 700 верст, а от Питера до 1500 верст; ехать для зимних удовольствий в столицы — слишком далеко, да тогда и сообщения были не такие, как теперь. Богатого дворянства много; по необходимости, по окончании летних хлопот по хозяйству, на зиму все помещики группировались в Симбирске и веселились так, как уже не веселятся.

Я знал по опыту, что тот не находит любви, кто ее [ищет]; общая любовь и доверие заслуживаются нравственною правдою, уважением условий общественных и неприкосновением семейного домашнего быта.

Первый визит губернатору <sup>15</sup>, он сделал мне вопрос:

— С каким намерением вы сюда приехали?

— Содействовать возвышению власти вашего превосходительства.

— Какие ваши планы?

— Я еще ничего не знаю.

— Имеете знакомых?

— Никого.

— Если вы намерены искренно содействовать мне, то чего вы требуете от меня?

— Только личного ко мне уважения и, когда мне нужен будет секрет, то сохранить, я тогда только и буду вам полезен.

— Это так немного, что я не только даю вам честное слово, но считаю прямою своею обязанностью исполнить.

— Мне более ничего и не нужно.

— Вы, господа жандармы, любите много писать?

— При данных вами обещаниях, я даю вам слово показывать вам все, что я буду писать, но до тех пор, пока вы будете исполнять свои условия.

— Наши условия так несложны, что мне приятно подать вам руку дружбы.

Мы простились. Слышу, всякий день в городе обеды, балы, но я расчел не навязываться на знакомство, дать забыть систему Маслова. Первым приехал ко мне Борис Петрович Бестужев, отставной лейтенант начала столетия; старик узнал, что я служил во флоте, не утерпел не повидаться и упротил

к себе на бал. [Это была проба моей тактики. Танцы — по моей части, но это не то, что мне нужно; я уселся в бостон со старухами. В коммерческих играх — я артист, старухам умел дать выиграть слабые игры, а каждое слово мазал медом. Старухи были веселы, как молодые. После ужина показал свое искусство в танцах, тоже с немолодыми дамами. Хотя [я] был холост, но на молодых и юных не обращал пока внимание. Тактика вечера так была удачна, что на другой день по приказу старух многие приехали знакомиться: мужья, зятья, сыновья.] Скоро я стал членом общества. [Скоро я узнал много тайн семейных. А как? Позвольте умолчать! Чужие тайны были и остались для меня святыми.] Скоро я узнал в курительных кабинетах, что все общество ненавидит губернатора, причин — бесчисленное множество, как обыкновенно бывает при неудовольствиях. Во всех общественных положениях есть непременно центр [кристаллизации], откуда и расходятся мнения и причины — как радиусы. В этом случае оказались два помещика: Тургенев и Оржевитинов — несомненно люди умные! Я к губернатору:

— Вас здесь не любят.

— Это правда.

— Какая причина?

— Право, не знаю.

— Быть главной властью и быть нелюбимым — неприятно.

— Неприятно, да что же сделать?

— Я скажу вам средство, от вас зависит помириться с обществом.

— Пожалуйста, я на все согласен.

— Вы действительно не знаете причины?

— Честное слово, не знаю!

— Тургенев и Оржевитинов главные ваши враги, причины не важны; пригласите их, вы сумеете смягчить; объяснитесь и помиритесь, тогда все общество повернется к вам лицом.

— Очень много вам благодарен, вы действуете как мой друг!

— Но надеюсь — вы обо мне не упомянете, мой успех в секрете.

— Будьте покойны, я помню наши условия.

Перед тем я нашел случай познакомиться с Тургеневым и виделся с Оржевитиновым. Знал я, что губернатор приглашал к себе этих господ утром. Вечером я был у Тургенева. Холод-

ный поклон, молчат, отворачиваются. Я притворился сиротинкой и не понимаю, говорю любезности дамам. Тургенев не выдержал и в досаде начал говорить даже оскорбительно:

— Мы думали, что вы человек с характером и не имели нужды скрывать своих чувств перед вами, а вы унизились и передали подлецу, и проч.

— Я хотел согласия, единодушия общества с властью; если унизился по-вашему, то с доброй целию. Жалею, что ошибся, но кто не ошибался? Могу я узнать, какая была сцена между вами?

— Губернатор усадил нас в кабинете и сказал: «Господа, между нами есть неприятности, и вы и я имеем обоюдные причины; полагаю, как благородные люди, мы не обязаны давать в этом кому бы ни было отчета, но, к удивлению моему, вы малодушно сообщили жандарму! Ха, ха, ха, да знаете ли, кто этот жандарм? Он по просьбе моей прислан сюда для моих услуг! Вот вы кому доверились. Господа, я не отнимаю у вас права иметь ко мне неудовольствие, но будьте же благородны, действуйте сами, без жалкого жандарма. Прощайте, я счел долгом сказать вам это».

Каково мне было слушать этот монолог! Я высказался искренно, не имея причин не верить губернатору; жалею, что обеспокоил уважаемых мною людей, но надеюсь, другой раз не ошибусь. Мы помирились, согласившись, что губернатор — [подлец!] <sup>16</sup>.

Рано утром я у губернатора. Ласков, приветлив, хороший друг!

— Не утерпели, не сохранили секрета?

— Язык мой — враг мой! Кругом виноват!

— Ну, по условию — вы губернатор, а я жандарм, у меня огорода нет, а у вас столько огородов — куда ни брось камень, попадешь в ваш огород!

— Не будем ссориться, я виноват, прошу прощения; увлекся с негодяями, больше этого не будет.

Тут пристала страдальца-жена его с просьбой — простить.

— Так и быть, этот раз не в счет, забудем; но другой раз не забудем!

— Душою и сердцем — согласен!

[Я держался правила: я доверчив, меня обмануть легко; кто меня обманет — тот негодай, а кто другой раз меня обманет — тогда я дурак! Был помещик Бабкин — вышедший в отставку при Екатерине капитаном Преображенского полка, добряк и

простак. К нему приехал сын — молодашка-служащий в Сенате. Я передал губернатору, что вчера имел пренеприятный вечер у Бабкина. Целый вечер сын его самой злою бранью поносил губернатора, я останавливал — ещё хуже! Надобно, чтобы отец зажал рот сына. Вечером Бабкин не смотрит на меня, сердится. К простаку нетрудно приласкаться: только заговорить о счастливых временах при Екатерине. Старик обыкновенно тает и при этом случае высказался, что губернатор позвал и распустил старика; на оправдания и клятвы Бабкина губернатор сказал о мне и повторил то же, что говорил пред Тургеневым и Оржевитиновым. Я уверил старика, что губернатору налагал чиновник при мне, что я заступался, а губернатор, не желая выдавать чиновника, свалил на меня.]

Тогда установленной формы для переписки в корпус жандармов не было; армейские писали рапортами, такая форма не позволяла вольничать, я принял манеру писать: письмами, докладами и простыми записками, но рапорта — никогда! Составил письмо к шефу об отношениях моих к губернатору и об его бесхарактерности и в конце уверил, что не пройдет много времени, как выяснится необходимость сменить его.

Пришел к губернатору и прямо сказал: «Нам более говорить нечего!» Он начал извиняться, я подал ему письмо к шефу и сказал: «Я дал вам слово показать вам, что я пишу, — прочтите». Прочитав, побледнел и сказал:

— Вы так писать не можете!

— Отчего?

— Я буду жаловаться на вас!

— Тем лучше, скорей объяснятся ваши действия.

— Вы не пошлете.

Я кликнул жандарма, запечатал у губернатора и приказал отнести на почту.

Кто такой губернатор Загряжский? Он был в отставке капитаном Преображенского полка. 14-го декабря он явился к дворцу. Государь несколько раз посылал Якубовича<sup>17</sup> образумить бунтовщиков и убедить их, чтоб покорились. Якубович шел к мятежникам, и Загряжский за ним. Якубович, вместо убеждения, говорил: «Ребята, держитесь, наша берет, трусят, ура! Константин!», и бунтовщики кричали: «Ура, Константин и супруга его Конституция!» Якубович возвращается и докладывает: «Изволите слышать, они с ума сошли, хотели в меня стрелять».



Так было несколько раз, и всякий раз ходил и один раз перевязал ногу платком, прихрамывая, будто его ударили по ноге.

Государь не забывал усердия и сказал в[еликому] к[нязю] Михаилу Павловичу: «Я видел усердие Загряжского, спроси его, чего он хочет?» В. к. Михаил спросил Загряжского:

— Чего ты хочешь?

Загряжский, не задумавшись, отвечал:

— Желаю быть губернатором.

— Не много ли будет?

— Для государя все возможно!

И вот Загряжский чрез разные метаморфозы — губернатор в Симбирске. Это я знаю от него самого.

Загряжский был очень недурен собой, среднего роста, строен, всегда щеголь, образования — для гостинной, недурной актер. Дела, бумаги — для него дело постороннее.

Застаю Загряжского, подписывает кучу бумаг:

— Как же это вы не читаете?

— Пробовал читать, ничего не понимаю; пробовал не читать — все равно, так лучше не читать — результат один.

Был рекрутский набор; для приема в Симбирск приехал майор Юрьевич, а для наблюдения в губернии флигель-адъютант<sup>18</sup> полковник Крутов. Высочайше повелено: при приезде флигель-адъютанта, хотя бы и младшего чином, жандармский штаб-офицер обязан явиться к нему; но не позже как на другой день, хотя бы генерал-адъютант, обязан отдать визит. Я вообще был строгий исполнитель служебных обязанностей, немедленно явился к флигель-адъютанту Крутову; он принял меня, как петербуржец — вежливо, ласково, как милый товарищ. Прошло два дня — не едет ко мне, думаю, верно не знает распоряжения. Между бесконечными моими рассказами из жизни, я напомнил Крутову, что он обязан быть у меня. Он расхохотался, любезно назвал меня мелочником и что подобная претензия не достойна меня и проч. Я доказывал ему, что моя служебная сила зависит от наружного уважения ко мне, и уверял, что не приму его. Не поехал ко мне Крутов, но мы остались приятелями.

Рекрутский набор шел; слышу, майор Юрьевич берет взятки, но это тогда была вещь обыкновенная. Несколько помещиков жаловались мне, что помещичьего рекрута не принимают без пяти полуимпериалов<sup>19</sup>. Один коротко знакомый мне отдавал своего лакея; я видел его: молодчина, 9-ти вершков роста, молодой, красавец. Приказав вести его в присутствие, пошел

и я туда же; дошла очередь до лакея; майор Юрьевич посадил его на пол спиной к стене, ноги его скосил в одну сторону, и оказалось — одна нога короче, закричал: «Затылок!» Я, как не имеющий права вмешиваться, молчал, но когда советник отмечал в книге, я шепотом попросил мне выписку, за что за-бракован. Услыхал неразумный майор, поднял шум, заходил петухом и говорил грубости, что всякий тут мешается и проч. Я, не выронив и полслова, напомнил тихо председателю правила на зеркале. Добряк председатель Огнев остановил расходившегося майора. Я составил записку о рекруте и майоре и подал флигель-адъютанту Крутову. Он объяснил мне, что майор родной брат служащего и в большой силе при дворе <sup>20</sup>, что он ничего не может сделать, и советовал мне не мешаться в дела майора Юрьевича, что и мне будут неприятности. Крутов хотел возвратить мне записку, но у меня были заняты руки, что я не мог взять записки, и она осталась у Крутова. Один небогатый помещик, хорошо знакомый, просил моего участия сдать рекрута с небольшим изъясном. Я своего унтера <sup>21</sup> преобразил в мужика отдатчика, дал ему пять полуимперялов, четыре мужика при нем. [Из последней комнаты в дверях сделал отверстие и посадил двух свидетелей.] Унтеру приказано — отдавая деньги майору, уронить на пол. Рекрут был принят.

В городе громко говорили о сцене в присутствии и удивлялись, как я перенес молча. Один только старик почтмейстер Лазаревич, выслушав, сказал:

— Господа, та собака, которая не лает, всегда больно кусается, я за майора и гроша не держу, он пропадет.

Набор кончен, майор набрал до 8-ми тысяч руб., но в Симбирске же и проиграл, бедный. Я составил о всем подробную записку и упомянул, что Крутов не отдал мне визита.

В феврале, вечером, пью чай. Буря, метель страшная, колокольчик у ворот; входит ком снега и говорит:

— Имею честь явиться! Прошу извинения, виноват кругом!

Это был флигель-адъютант полковник Крутов. За чаем рассказал, что его очень бранил Бенкендорф за неотдание визита.

— На балу у Фикельмона <sup>22</sup>, танцую кадрили с государыней; только кончил, фельдъегерь подал бумагу: ему приказано немедленно отвезти меня в Симбирск, а мне своеручно произвести следствие о злоупотреблениях майора Юрьевича при рекрутском наборе. Мне предписано содержать под строгим надзором майора Юрьевича до окончания следствия.

Флигель-адъютант Крутов остановился в доме губернатора. Крутов не имел понятия, как приступить к следствию; Загряжский дал ему чиновника, служащего у него по особым приключениям<sup>23</sup>. На другой день я узнал, что допрашивал и писал чиновник. Я к полковнику Крутову и тут сказал:

— Говорят, будто бы следствие делает чиновник?

Перепугался, побледнел Крутов, забожился, заклился честным словом и проч., что это неправда. Мне жаль было беднягу, я сказал, что удовлетворен и верю ему. Привезли майора Юрьевича под арестом унтер-офицера и солдата. [Я так устроил, что мимо его квартиры в отдельном доме не прошел ни один человек.]

Приехал граф Протасов; он состоял при особе государя, полковник. Удельные имения<sup>24</sup> были разбросаны по всей России; неудобно и дорого было управление, предполагалось: удельных крестьян возвратить в казну, а симбирских казенных крестьян, тысяч до четырехсот, обратить в удельные. Это и поручено было гр. Протасову. После него приехал жандармский полковник Флиге. Граф Протасов — добрейший, благороднейший человек, но страшный педант службы.

Симбирские казенные крестьяне — на черноземе, на Волге, были богаты, много домов крыты тесом, синие кафтаны, красные кушаки — жили привольно. Делаясь удельными, становились помещичьими — переход не радостен! Надобно было быстро и ловко обделать дело. Все исполнение пало на меня. Поняв любовь гр. Протасова к крайней аккуратности, я каждый день посылал ему отчет в каждом часе моей деятельности. [Помню, тогда проезжал в Оренбург Перовский, увидав мою часовую отчетливость, просил графа убедить меня перейти к нему. Я отвечал, что нахожу лучше быть попом в деревне, чем в соборе дьяконом.]

В это время я проезжал в сутки 300 верст.

Я успел [ловко] взять подписки со всех деревень в согласии на переход, а Флиге еще сочинял проект, как приступить к делу. Губернатор не участвовал, но ему хотелось прицепиться к награде; он вздумал взбунтовать одну отдаленную деревню Буинского уезда. Я упросил графа съездить со мною. Городничий Буинска не мог отвечать графу ни на один статистический вопрос, даже не сказал, сколько церквей в городе. Граф спросил меня:

— Что он — дурак пошлый?

— Нет, вы не умеете спрашивать, мне он ответит: г. городничий, сколько у вас кабаков?

Быстро и бодро отвечал: «Шесть!»

[Граф хохотал и завидовал моему веселонравию и сказал: «Вот какими людьми держится порядок в России!»]

Граф уложился спать, а [я] сам — в деревню к бунтовщикам и так настрашал их именем графа, что когда он приехал, то нашел всю деревню на коленях; но тут же я узнал, что приезжал переодетым чиновник по приключениям, но доказать было трудно, и я просил дела не поднимать.

Огромная власть была у графа Протасова. Когда я рассказал о полковнике Крутове и что он флигель-адъютант, но живет у губернатора, гр. Протасов послал за Крутовым, я и теперь слышу тот повелительный голос графа! Оба полковники и Крутов — флигель-адъютант, но граф так жестоко бранил его, как я не бранил бы писаря, — глупцом, соусником, блюдолизом и проч. Укорял его, как доверенного государя: к нему должен прибегать обиженный, а кто же пойдет с жалобой на губернатора, когда он лижет его тарелки! Приказал чрез два часа съехать — и съехал. Во все время Крутов покорно молчал. Я так и ждал, вот Крутов треснет графа.

Когда собирался граф уезжать, то я, боясь неустановившегося еще дела и боясь шаловливости Загряжского, советовал придумать что-нибудь. Граф послал меня к губернатору сказать, что граф будет у него официально.

Пришли мы с графом, губернатор встретил во фраке. Граф спросил: как передал вам г. майор? На ответ губернатора граф сказал:

— Я пришел официально передать губернатору волю государя, с лакеем я говорить не могу, наденьте мундир и придите выслушать.

Пришел в мундире губернатор. «Слушайте повеление государя: вы устраняетесь от всякого участия в делах по переименованию казенных крестьян в удельные. Государь император повелевает все распоряжения по этим делам вам, г. майор! Вы имеете действовать, не сносясь с губернатором; малейшее косвенное вмешательство губернатора заметите — пришлите немедленно курьера».

Губернатор только успел сказать, что он не заслужил такого недоверия.

Граф крикнул: «Молчать! Когда приказывает государь, тогда не разговаривают, а исполняют; еще одно слово — я отправлю вас в тележке!»

Я был свидетелем два раза страшной власти графа Протасова. Не будучи посвящен в иерархию дворянских чинов, я изумлялся власти полковника и осторожно высказал это графу; он много смеялся моему невежеству и сказал: «Флигель-адъютантов много, а при особе государя — два, три».

[Граф Протасов, прощаясь, сказал мне: «Нет сомнения, я скоро займу положительное место, пиши ко мне, я дам тебе место по твоему выбору». Граф действительно скоро занял место — обер-прокурора Святейшего Синода<sup>25</sup>, но я, не прося в жизни никого и ничего, не просил графа. Раз воспользовался его вниманием, когда надоел мне один архиерей в Киеве, может быть, придется рассказать.]

За этими хлопотами я потерял из вида следствие о майоре Юрьевиче. После слышал: флигель-адъютанта полковника Крутова назначили в какой-то армейский полк — младшим. Майору Юрьевичу не давать в команду отдельной части — милостиво! На счет виновных доставить в Петербург забракованного рекрута.

[Был другой флигель-адъютант, тоже не хотел сделать мне визита, по знакомству с братом его помещиком, я упрашивал, чтобы он сделал мне визит — не хотел. Я написал шефу и скоро сам отправился в Питер, там узнал, что шеф гонял флигель-адъютанта и приказал сделать мне визит в полной форме и извиниться. Я занимал две комнаты третьего этажа в гостинице «Париж». Докладывает жандарм; я приказал сказать, что занят, не могу принять, и повторил эту шутку. Выслушав извинения, молча, и когда он дожидался слова снисхождения, я скромно сказал: «Вы должны быть примером в исполнении высочайшей воли, вы ошиблись, отнеся визит к моему лицу, положим, я ничтожен, но воля государя выше нас с вами!»]

Старшим, чванству я никогда не спускал, но часто попадались по жалобам секретари, столоначальники, заседатели и тому подобные: берут взятки — бери, Бог с ними, на то они и крапивное семя, а то жадные, возьмет с одного и берет с противника, обиженная сторона жалуется. Сейчас записку: свидетельствуя совершенное почтение и проч., имею честь просить пожаловать для личных объяснений. В зале всегда есть просители или знакомые. Приходит виновный, я самым ласковым образом говорю, что затрудняюсь в одном деле и обращаюсь к его опытности; прошу его совета и приглашаю в кабинет, двери на замок и там уж объяснение, от которого сойдет с головы три

мыла! Видя трусость и раскаяние, обещание немедленно возвратить деньги и клятва более так не делать, — выходя из кабинета, я вежливо благодарю его за умный и опытный совет — далее кабинета не шло. Не помню случая, чтобы были рецидивисты. Цель достигалась без оскорбления.

Чрез 10 лет я был в Симбирске, имел дело совершить три купчие в гражданской палате<sup>26</sup>. Совершили в один день и в какой — в субботу! Представьте мое положение, я скажу хотя невероятную правду, есть свидетели, но мне никто не поверит: 1848 года в 30-й день ноября, в день Андрея Первозванного<sup>27</sup>, я вынул 500 руб., чтобы благодарить секретаря и надсмотрщика крепостных дел. Эти господа руки назад и сказали: «Извините, ваши деньги прожгут наши карманы и принесут несчастье нашим детям; вы были нашим отцом, за вами жили как у Христа за пазухой; извините, полковник, не обижайте нас, мы ваших денег взять не можем!»

Представьте — и не взяли!!! Такой исключительный случай в те старые годы невероятен, но был; признаться, я считал себе высокою наградой за службу в Симбирске и не верил, что я там не лишний. [Бескорыстным господам дал по дружескому поцелую.]

Припоминая прошедшее, действительно не припомню, чтобы и кому-нибудь из этой мелкой сошки сделал бы существенный вред, а что бывало в кабинете, того никто не знал. Оказалось, лекарство было полезное.

[Припомнился случай: вдруг я стал получать много прошений от крестьян и что далее, то более; прошения были пустые, многие без смысла, подписывались две фамилии — со слов просителя такой-то. В один базарный день получил до 70-ти прошений. «Прочти, батюшка, а там, как твоя милость рассудит». Приказал отыскать литераторов. Пришли два молодца — годные во фланг в любой полк гвардии.

— Господа, это все вы пишете?

— Мы, это наша рука.

— Вы пишете совершенную бессмыслицу.

— Со слов просителя.

— Какого вы звания?

— Мы уволены из казенной палаты<sup>28</sup>.

— Я бы просил вас поменьше писать.

— Это наше пропитание, мы другому мастерству не обучены.

— Что вы берете за прошение?

— 50 копеек и более, как случится.

— Господа, я нахожу ваше мастерство вредным и советую заняться другим промыслом.

— Мы неспособны, нас другому не учили.

— Советую: перестаньте так много писать!

— Не умирать же нам голодом, закон не запрещает писать прошения.

— Так вам неужгодно послушать моего совета?

— Мы не делаем противу законного.

— Прощайте, господа.

До 70-ти прошений одного дня послал к шефу и подробно указал на большой нравственный вред простому народу, напрасная трата денег и затруднение для службы, и добавил, что губернатор столько же получает прошений. Последовало распоряжение: от литераторов-фабрикантов взять подписку не писать прошений, не иметь пера и чернил, полиции строго наблюдать. Прекратилось фабричное производство прошений.

С губернатором Загряжским мы были не только в приличных, но даже приятельских отношениях.

Забыл рассказать: был у помещика Анненкова бал, граф Протасов был на бале, соскучился и просил меня отправить его домой. Усадив в первые сани графа, сам вернулся назад. Обыкновенно на всяком собрании подходит губернатор Загряжский с ласковым вопросом ко мне: «Можно поиграть?» Я великодушно разрешил. Для игры на всех балах была отдельная комната; началась не помню какая азартная игра, играли человек 7, я упражнялся по хореографическому искусству, а тут стоял при игроках и смеялся над капитаном Островским, который струсил и проиграл. Чуть я не вскрикнул, кто-то сзади очень сильно ущипнул мою руку; гляжу, сам граф Протасов! Лошади зашалили, сломали дышло, и граф вернулся, ему указали, где я, и граф застал меня на месте преступления! Отведши меня в угол другой комнаты, он серьезно спросил меня: «В какую игру играют?» Я самым невинным образом отвечал: «В бостон!» — «Как в бостон? Да ты же играешь в карты?» — «Я понятия не имею!» — «Так почему же ты знаешь, что они играют в бостон?» — «Я спросил губернатора, и он положительно уверил меня, что они играют в бостон, а это игра не запрещенная». — «Ну, а если бы они играли в азартную?» — «Они не посмеют играть при мне, я бы и не позволил!» — Граф, говоря со мной,

зорко глядел в мои глаза, но, верно, прочитал, что я говорю истинную правду. Подали другие сани, и я проводил графа. Хорошо, что игроки не прекратили игру при приходе графа — наделали бы мне хлопот.]

Наступили дворянские выборы<sup>29</sup>, съезжалось дворян до 300. Великодушных (более 100 душ) в губернии было много. Выборы обыкновенно были шумны, бывали и серьезные ссоры, но я не мешался. Я на выборы смотрел как на дело семейное, сегодня ссорятся, а завтра мирятся — только не мешать.

Еще до выборов я знал, что князь Дадьян<sup>30</sup> сосватал старшую дочь губернского предводителя князя Баратаева. Давненько ходили сплетни, что будто бы губернатор Загряжский наряжался старухой и ходил на свидание к теперешней невесте и что будто бы Загряжский так хорошо гримировался, что отец — князь Баратаев — раз встретил старуху-губернатора и не только не узнал, но указал, что дочь его в саду. Сплетен всегда много в провинции, а тем более в таком большом обществе; но на этот раз разыгралась весьма серьезная история, так что я вынужден был выказать весь авторитет моей власти.

Был в Симбирске полковник Толстой; был холостой, жил в Симбирске, но числился по иностранной коллегии. Граф Толстой был другом Загряжского и еще более — другом князя Дадьяна, жениха. Загряжский похвастал мнимою интрижкой с княжной перед графом Толстым; последний, любя Дадьяна, сообщил ему о признаниях губернатора Загряжского.

Князь Дадьян был отставной гвардеец; он кавказский князь и, говорили, владетельного дома. Князь Дадьян был брюнет, хорошего среднего роста, стройный, одевался отчетливо в черное, говорил сквозь зубы, стригся под гребенку, молчалив, холоден, корчил Байрона — тогда много было Байронов, мода! Князь Дадьян считался вспыльчивым, храбрым; за ним была странность, он имел антипатию к кошке. Я думал, он притворяется. Мы были знакомы с ним по-шапочному. На одном вечере я, увидев идущего по улице князя, поймал котенка, посадил в стол и дал ему сахару. Встретив князя, взял его под руку и, говоря, вел его к столу; подходя, я почувствовал, как он вздрогнул, а подойдя — побледнел, вырвался от меня и сказал, что он не может тут быть. Это был факт сильной антипатии! Котенка я выкинул, но никому не сказал о моей шалости. Впрочем, князь держал себя весьма прилично, в карты не играл,



вина не пил, был ненарушимо одинаков, но на то он и был Байрон. Ни одной истории не было за князем Дадьяном.

Как только князь Дадьян выслушал графа Толстого, тотчас же объяснился с отцом князем Баратаевым и отказался от невесты. Невеста в глубоком обмороке, отец несчастлив, князь Дадьян беснуется. Узнаю вечером, что князь Баратаев, как губернский предводитель (кажется, в течение 18-ти лет), намерен утром жаловаться дворянству и просить защиты — старому слуге дворянства! Князь Дадьян клянется разбить рожу губернатору в соборе!

Поздно вечером я нашел губернатора в страшной тревоге: он слышал о намерении князя Баратаева. Зная нерасположение к нему дворянства и какого дворянства — дружного, гордого, симбирского, — было отчего в отчаяние прийти! А я прибавил о намерении князя Дадьяна. Это окончательно сделало губернатора неспособным мыслить! Он только и видел спасение в моей помощи. Но как же он и просил меня спасти его!

Я спросил Загряжского, что побудило его хвастать? Он отвечал: «Иметь успех в женщине и не рассказать — все равно что, имея Андреевскую звезду <sup>31</sup>, носить ее в кармане».

История — во всех отношениях скверная. Не будь Загряжский губернатором, то была бы смешная, скандальная история, но хоть лыком шит, а он — губернатор, власть! Разыграйся глупость — огорчила бы государя, и на все честное и благородное дворянство упала бы тень преступления! Я решился действовать не для спасения Загряжского, которого я уважать не мог, а для спасения власти губернатора.

Рано утром я был в кабинете дворянского предводителя, и после обычных вежливостей я прямо приступил:

— До сведения моего дошло, что ваше сиятельство намерены сегодня говорить перед дворянством и жаловаться на Загряжского?

— Кто вам это сказал? Может быть, неправда.

— Если неправда, то тем лучше; вам остается, князь, дать мне честное слово, что вы говорить не будете, я вам поверю.

— Кто вам дал право требовать от меня честное слово и входить в мои дела?

— Моя обязанность, князь.

— В чем она состоит?

— В секретной инструкции, утвержденной государем!

— Я вам слова не дам и думаю — наши объяснения кончены!

— Нет, князь, если не дадите слова, то я дам вам слово, что вы отсюда не выйдете!

— Это как?

— Я вас арестую!

— Вы имеете право арестовать губернского предводителя?

— Имею право всякого арестовать для охранения власти, вверенной государем.

— Вы молоды судить об оскорблениях, вы не отец!

— Я сын моих родителей и брат моих сестер!

— Вы знаете эту несчастную историю?

— Все подробно знаю и знаю, что тут все ложь и глупость. Дела скандалом не поправите, а я, сочувствуя вам сердцем и душою, беру на себя и ручаюсь, что все дело выяснится к спокойствию вашему и общему; пострадает тот, кто виною огорчения вашего.

— Какое вы можете дать ручательство?

— Честное мое слово, которому я не изменял во всю жизнь!

— Молодой человек, вы много берете на себя; помните, вы ответите перед оскорбленным отцом!

— Вам нет исхода, князь: либо верите моему слову и дайте мне ваше честное слово, либо вы не выйдете отсюда.

Князь заплакал и дал мне честное слово, что говорить перед дворянством не будет. Я успокаивал его, как умел. Грустно видеть старые слезы оскорбленного отца. Разговор был длинен, я записал только главные пункты.

[Я был очень доволен успехом. Мне удалось устранить путаницу всего дворянства, достойного высочайшего уважения, и вообще людей честных, с прекрасным и глубоким основанием в преданности государю и Отечеству. С каким наслаждением вспоминаю я о родных и дружеских отношениях ко мне благородных и добрых помещиков симбирских, память моя не сохранила ни одного неприятного случая в течение 5 лет моей службы в Симбирской губернии. Моя служебная обязанность часто могла бы становить меня в щекотливое положение, но всякий служебный случай вместо неприятностей прибавлял мне друзей — вежливое слово, ласковый совет всегда находили полное и радужное сочувствие. Прошло более 40 лет, я состарился, разрушаюсь, но лучшие, радостные мои воспоминания в жизни — это о симбирском дворянстве, чувства моей преданности на старости лет! Моя любовь, уважение к этой массе благородных добрых людей окончатся с моею жизнью!]

Покончив с одним князем, я посетил князя Дадыяна. Выходит ко мне князь, с плотно обстриженной головой, воротнички à l'enfant, как Байрон на портрете, с трубкой, и цедит сквозь зубы — англичанин да и только!

— Чему я обязан, что вы пожаловали ко мне?

— Князь, прежде всего здравствуйте и позвольте сесть; мне нужно переговорить с вами.

Обстановка слишком проста: во всю комнату простой крашенный стол, около такая же голая скамейка, точно в бедной школе; на скамейке мы и уселись.

— Вы, князь, огорчены и очень раздражены из-за глупой лжи, дошедшей до вас.

Князь как-то засопел, сжал чубук так, что у него хрустнули пальцы; странно сопевши, придвигался ко мне. Молчит; не может или не решается сказать слово. Я спокойно посоветовал не придвигаться так близко, а то нам неудобно говорить. Азия немного утихла, и князь сквозь черные зубы процедил:

— Желал бы я знать, какое вы имеете право мешаться в чужие дела?

Я рассмеялся и сказал:

— Жандармы для того и учреждены, чтобы мешаться в чужие дела. Вы сердитесь, князь, а, узнав мои намерения, вы не отвергнете моего участия.

— Я не имею нужды ни в чьем участии!

— Дело в том, что я имею необходимость принять участие в вашем деле.

— Позвольте узнать, какая вам необходимость соваться в мои дела?

— Вы, князь, намерены разбить рожу Загряжского публично?

— Ну, что же вам за дело?

— До рожы Загряжского мне совершенно нет дела, но подлая рожа Загряжского принадлежит губернатору, вот это и переменяет вид дела. Моя обязанность устранить всякое публичное оскорбление власти, поставленной государем; я пришел доложить вам: пока Загряжский [является] губернатором, вы не можете выполнить своего намерения.

— Кто может остановить меня?

— Я, князь, затем и пришел к вам.

— Каким это образом?

— Я прошу вас, пока Загряжский [является] губернатором, не оскорблять его, в чем и прошу вашего честного слова!

— А если я вам слова не дам?

— Я вынужден буду арестовать вас.

Опять засопел и процедил:

— Вы не посмеете этого сделать!

— Князь, даю честное слово — сделаю!

— Кто дал вам право?

— Секретная инструкция, высочайше утвержденная!

— Вы не понимаете моего оскорбления и не можете понять.

— Я вам сказал, что я все знаю подробно; думаю, что и сочувствовать вам могу, что вы и увидите.

— В чем же ваше сочувствие? Как вы поймете, что этот подлец из счастливого человека сделал меня несчастным?

— Прошу вас выслушать меня без раздражения. Прежде всего скажу вам, что вы будете счастливы!

— Я вам не верю и вижу, что вы ничего не знаете.

— Эх, почтенный мой князь, какой же я был бы жандарм, если б не знал всего; только публике неизвестно, что я все знаю, и не узнают без нужды.

— Можете вы мне сказать, что вам известно?

— Очень охотно: малодушный хвастун Загряжский считал гордостью для себя похвастать интригой с прекрасной и уважаемой девушкой перед графом Толстым; последний, как вполне благородный и честный человек, счел долгом предупредить вас. Тут правы и Толстой, и вы, князь. Презренно [и подло] виноват [негодяй] Загряжский. Я рад возможности удостоверить вас честным моим словом, что негодяй Загряжский солгал: ничего подобного не было.

— Как вы можете знать и ручаться?

— Князь, еще повторю: я жандарм!

Я вел тему разговора с целью примирить князя с его невестой, потому что видел кавказца страстно влюбленным.

— Но позвольте, вы сами дворянин и можете быть в моем положении; спрашиваю вас, не имею ли я права наказать его?

— Вашего права я не отвергал и не отвергаю, но согласитесь, какое же вам удовлетворение, если вы красивой рукой будете бить [по скверной, подлой роже]? Меня бы не удовлетворила подобная месть!

— Чего же я могу желать или что сделать, по-вашему?

— Вот это дело, мой почтенный князь; спокойно обсудив, можно найти разумный подход. Вы мне сделали вопрос, а я спрошу вас: какого вы хотите удовлетворения?

— Что же вы можете сделать?

— Все, что вы хотите!

[— Неужели?

— Я слов на ветер не бросаю.]

— Ну, а если б я потребовал, чтобы м[ерзавец] сознался, что он солгал?

— Только-то, князь?

— Мне и этого будет довольно!

— Нет, князь, я не того хочу, я обещаю вам, что он должен при вас написать, что он п[одло] солгал и что если болтнет одно слово, то без претензий, где бы ни было, дозволит вам разбить свою рожу.

— Будто вы можете это сделать?

— Даю вам слово, но и вы дайте мне честное слово, что, пока он [является] губернатором, вы не оскорбите его.

— Слово даю вам, но помните, в случае неудовлетворения меня, моя ненависть обратится на вас!

— Согласен, князь, но пока будет секрет.

[Влюбленного легко примирить, сердце (не свой брат), у влюбленного оно властитель! Голова умничает одно, а сердце повелевает другое. Кусочек надежды влюбленному сердцу — с умом не разговаривают!]

С князем Дадьяном мы расстались в мирном настроении. Пошел я к Загряжскому, уведомил его, что князь Баратаев не будет жаловаться дворянам. Сколько было радости, благодарности — даже чересчур! Но зная легкомысленную и шаловливую натуру Загряжского, спускать с веревочки нельзя его. Я нарисовал целый ад мести князя Дадьяна и не ручаюсь за его отчаянную решимость.

— Да, я знаю, это кавказский дикарь, у него кинжал всегда готов! Батюшка, помогите, я по гроб буду вам благодарен!

— Погодите, что я могу, то сделаю. Прощайте, мне сегодня необходимо съездить в уезд по делу.

Боже мой, как струсил мой губернатор!

— Как же вы бросите меня на жертву! Мне необходимо будет выйти из дома — дикарь, кинжал!

— Вот как мы сделаем: я прибавлю вам двух жандармов, которым вы после заплатите; выходить не советую, скажитесь больным, а еще лучше прикажите поставить себе дюжину пиявок; это делается известно и болезнь будет прилична.

— Охотно принимаю ваш совет.

[Как я говорил, в жандармском корпусе не было установленной формы для переписки. Я схватил попавшуюся мне бумагу и своей рукой, без черновой сделал очерк истории, написал, как пишутся комедии: я, князь Баратаев, князь Дадьян, Загряжский — писал, как всегда, откровенно, — подробно; были пометки, но так и пошло к шефу. Помню, кончил тем, что я за свое беспокойство придумал наказать Загряжского дюжиной пиявок. И поставил без подписи: «Продолжение впредь».

Мою руку знали. И Дубельт писал мне, что «в общем вышло так юмористично, что читали все и хохотали, а когда я читал шефу, он много смеялся и хвалил мое веселонравие, — оставил у себя» (мы секретно знали, что это значит).

Я уехал в уезд. Позвольте опустить завесу, жандармы хотят знать чужие дела, а свои не рассказывают. Пожалуй, какой-нибудь читатель введет меня в историю, как граф Толстой ввел Загряжского.]

Возвратясь, нашел моего губернатора в постели. Еще более я настраивал его князем Дадьяном. По моему описанию, это был крокодил, пантера! В несколько дней до того деморализовал моего Загряжского, что он впал в отчаяние. Наступил момент: все, что я хотел, мог сделать с Загряжским. Публика догадывалась, со всех сторон сыпались ко мне вопросы, но успех мог быть тогда, когда дело было в одних моих руках, без постороннего участия; публика могла испортить весь эффект. Загряжский ужасно обрадовался, когда я взял на себя прекратить все дело с некоторыми пожертвованиями с его стороны. Загряжский соглашался на все безусловно. Я предложил свидание с князем Дадьяном вечером. Загряжский должен был написать под диктовку князя письмо и вручить ему лично. Загряжский опасался, что при свидании князь пырнет его кинжалом, я показал ему мою саблю, отточенную как бритва, и свидание будет при мне. Загряжский соглашался написать какое угодно письмо, хотя на гербовой бумаге, но только бы не видеться; я требовал свидания, и Загряжский согласился на все.

В 9 часов вечера князь одет по последней моде во фраке. Загряжский в халате исполнял роль больного. Большой круглый стол в гостиной был поставлен недалеко от дверей спальни жены; я поставил Загряжского около стола со стороны и близ дверей — на случай ретирады; на столе письменный прибор. Привел князя Дадьяна и поставил его на диаметр против Загряжского, а сам стал в середине между них. Оба молчат. Я сказал Загряжскому:

— Князь желает продиктовать письмо — угодно вам написать?

— Охотно исполню все!

— Князь, извольте диктовать.

После «Милостивый государь» князь диктовал, процеживая сквозь зубы:

«Дошедшие до вас слова, сказанные мною о княжне Баратаевой, совершенно ложные и, если я сказал, то утверждаю клятвою, что я солгал. Клятвою утверждаю, что ничего подобного не было, и везде, всегда готов подтвердить это. Если ж я осмелюсь повторить мою ложь или без особого уважения произнести имя княжны, то даю право князю Дадьяну везде и во всякое время бить меня по лицу, как бесчестного человека. [Подписываю собственноручно и добровольно — Загряжский]».

Преотвратительно писал Загряжский, а тут стоя, в испуге — еще хуже, и подал князю Дадьяну. Комическая сторона этой сцены выразилась тем: когда диктовал князь, то, поглядывая на меня, улыбался и, подмигивая, показывал на пишущего Загряжского, — понятно, говорил: «Какой дурак!» Загряжский, улыбаясь, подмигивал мне и выражал глазами: «Какой дурак!» А что я думал, стоя между ними? Позвольте умолчать!

Князь Дадьян, прочитав письмо, положил в карман и с полупоклоном молча ушел. Бедная страдалица-жена Загряжского мучилась во все время не меньше мужа. По уходе князя я очутился в роли благодетельного гения, благодарности, чуть ли не молитвы за спасение от бед и напастей. [Успел побывать у князя Дадьяна. Тот унизился до глубокого поклона, даже назвал благородным джентльменом.] Князь Дадьян совершенно удовлетворился [и искренно повторял, что относительно невесты его — все ложь.

На другой день я написал шефу окончание. Не пропуская малейшей подробности. Из всей истории составил фарс, приложил копию глупого письма Загряжского к князю Дадьяну.] Князь Дадьян объяснился с князем Баратаевым и с ожившей для радостей невестой. Мне остается сказать: я там был, мед, пиво пил. Все счастливы, довольны, но конец-то вышел трагический. Чрез три недели указ об увольнении губернатора Загряжского и высочайшее повеление «впредь никуда не определять»<sup>32</sup>. Мой кредит высоко поднялся в Симбирске.

[Ну, чем не повесть, хотя справедливая была — добродетель торжествует, порок наказан.]

Бывший губернатор Загряжский горько жаловался, что он не знает причины, по которой лишился места, что он так беден, что не знает, как выехать и вывезти семейство (у него была одна дочь <sup>33</sup>, которая, если не ошибаюсь, после была женою брата Пушкина). [Зашел я к Загряжскому, он растрепан, в халате, отчаяние полное, плачет он, плачет жена — жалуются оба мне, что не знают причины увольнения и спрашивают меня, не слыхал ли я чего? Просили заступиться перед графом Бенкендорфом. Я отвечал — причин совершенно не знаю, но обещал покровительство.]

Откупщик Бенардаки подарил Загряжскому карету. Добряки дворяне собрали деньги и поручили Бенардаки отдать Загряжскому от своего имени. Уехал Загряжский без проводов.

Вместо Загряжского назначен Жиркевич. В «Старине» есть посмертные записки его; мне приходится сказать о нем, как стороннему зрителю.

После графа Протасова полковник Флиге продолжал в Симбирске; дела ему не было, да едва ли он способен был на дело <sup>34</sup>. Он предполагал что-то начать, все думал начать, но так ничего и не начал; он даже не знал, что я делаю; губернии ему не поручали, а числился он при штабе; может быть, забыли о нем или хотели забыть. За действие при графе Протасове я получил подполковника, а Флиге — Владимира на шею <sup>35</sup>. За что ему? Не знаю! Корпус жандармов избавился от него, сделав его подольским губернатором, где он был — калиф на час. Я же и был на его похоронах в Киеве. Припомнилась мне деятельность Флиге в Симбирске. Пишет ко мне Дубельт и присылает донос на меня от Флиге, [что я все свои донесения пишу на коленях Марьи Петровны. Дубельт добавляет, что «шеф приказал тебе сказать — пиши хоть на брюшке твоей красавицы, только пиши чаще».] Не хотел я показать Флиге его глупости, да и редко с ним виделся.

Так было недавно, с небольшим 40 лет, но, как ни бужу свою память, не могу добиться от нее воспроизведения момента с подробностями, как явился Жиркевич в Симбирск <sup>36</sup>, и думаю, едва ли солгу, сказав, что никто этого не знал; как тогда, так и теперь, не сумею объяснить: пешком пришел или приехал Жиркевич? Днем или ночью? Как-то все вдруг узнали, что новый губернатор занимается делами. Говорили в обществе о Жиркевиче так, как будто он давно уже губернатором. Все-знайки рассказывали: когда спросили его, когда он позволит



представиться чиновникам? — он отвечает: «Зачем беспокоиться, я с господами служащими познакомлюсь, занимаясь вместе с делами». В губернском городе все знают, кто что ест, о приезде известно — богат, беден, скучен, весел, играет ли, танцует ли, даже хорошо ли говорит по-французски и проч. О Жиркевиче я не слыхал ни одного вопроса, никто не интересовался и почти не упоминалась фамилия: просто говорили: «губернатор». Я куда-то ездил; возвратясь, немедленно явился к новому губернатору. В зале два чиновника с кипами бумаг; я просил доложить, отвечали: «Не приказано» и указали на отворенную дверь в кабинет. Губернатор у стола, уложенного бумагами, на двух стульях — дела. Только я вошел, Жиркевич встал навстречу мне. Он был больше среднего роста (вершков восьми); правильное и, можно сказать, красивое лицо, но не только серьезное, почти суровое выражение, темно-русые волосы приглажены по-военному; в форменном штатском сюртуке, застегнутом на все пуговицы — видна привычка к военной форме. Жиркевич был сухого сложения, но не худ; поклон, движения мне напомнили воспитание в корпусе; говорил скоро, как-то отрывисто. Пригласил сесть. Думаю, захочет знать о губернии, об обществе. Ничуть не бывало, хоть бы слово спросил, а от кого же узнать, как не от жандарма! Странное впечатление сделал на меня Жиркевич. Он вежлив, но очень молчалив; все вопросы его касались только лично меня. Я попробовал сказать шутку — он не слыхал; я хотел заинтересовать его серьезным — не обратил внимания. Откланявшись, я решительно не мог составить себе понятия о характере Жиркевича. [Мог сказать себе только — посмотрю!]

Жиркевич скоро отдал мне визит, и опять странность — пешком, тогда как в Симбирске и мещане не ходили, а ездили; я не сказался дома; на карточке просто: «Иван Степанович Жиркевич».

Зашел к Жиркевичу вечером — читает и подписывает бумаги; около стоит правитель канцелярии Раев. Жиркевич отпустил Раева, сказав: «Я бумаги к вам пришлю». Ну, думаю, теперь разговоримся. Жиркевич все в форменном застегнутом сюртуке, был очень вежлив, говорил о погоде, местоположении города — сухая [материя]<sup>37</sup>! Я коснулся было общественной жизни, что дворяне любят веселиться и привыкли, чтоб участвовал с ними губернатор. Он отвечал, что как обделается с делами, то и он не прочь разделить общее удовольствие. Но так

и не обделался! Я рассказал какой-то анекдот, думая сорвать улыбку — рассказ мой прошел мимо! Видаясь по разным случаям с Жиркевичем, я всегда заставлял его за бумагами и составил о нем себе понятие, что это человек дела. Он всегда был как-то сдержан, очень вежлив, но малейшая несправедливость, плутовство по делам — выводили его из себя; вспылив, он уже не знал границ гнева. Много ходило рассказов по городу, как он, забывшись, гнался до крыльца за советником. Мошенники для него теряли личность, но зато и боялись его чиновники!

Жиркевича полюбить очень трудно, но нельзя было не почитать его, нельзя было не уважать честной его деятельности, его бескорыстия; он отдался весь, без остатка, полезному служебному труду. Жиркевич был ходячий закон. Узнавши его, я готов был поклоняться ему, но, к сожалению, видел, что он не по дому пришелся в Симбирске. Мои сношения с ним были прекрасны, но сухи и немного скучны, [прозаичны для моего веселонравия.]

Я заговаривал с дворянами, как бы губернатора завлечь в общество? Мне отвечали: «Зачем? Он приезжий, должен сам искать нас; не хочет, пусть будет губернатором, мы ему не мешаем и не нуждаемся в нем».

На последних выборах губернский предводитель князь Баратаев, прослужив предводителем, если не ошибаюсь, лет 18, отказался: на него сильно подействовала рассказанная история, он заболел от огорчения.

Вместо князя Баратаева выбрали отставного генерал-майора Бестужева; он был старый холостяк, веселонравный, часто впадал в роль буффа<sup>38</sup>. [С добрым толстяком я и прежде был хорошим приятелем, а как стал он губерnskим предводителем, мы подружились, и пока я не был женат, он, приезжая из деревни, всегда жил у меня. Может быть, пустяковый случай выразит немного его веселый характер. Приехал к нему в отпуск только что выпущенный из артиллерийского училища родной племянник С., которого Бестужев любил как родного сына — молодой человек прекрасно учился и достоин был любви, был красив и похож на дядю. Нельзя не заметить, что юноша за обедом не ест кислого, острого. Дядя в другой комнате к допросу племянника; слышу: сердится, бранит дядя. Оказалось, племянник болеет болезнью прапорщика, дядя сердится не за болезнь, а за то, что он с первого же дня не доставил ему случая быть молодцом. Сейчас доктора Лапчинского, лекарства пропи-

саны на имя дяди, который с рецептами и лекарствами — по всем родным и знакомым, особенно старым кузинам, по секрету, но с гордостью признается, что шалил и попался; это было так комично, что все общество хохотало. Дядя считал за [это] многим обязан племяннику.]

Почитал я Жиркевича и очень любил Бестужева, но вот случай, поставивший меня в затруднение: были парадные похороны уважаемой особы; летний день превосходный, весь город высыпал проводить гроб в монастырь. В Симбирске в общем употреблении: на длинных, тонких дорогах устроены очень низко дрожки, на них могут сесть семь, восемь человек. На таких дрожках, или городском тарантасе, сели Жиркевич, Бестужев и я — между ними посредине. Народ толпился около важных лиц. Надобно рассказать бывший перед тем случай. Был архитектор и в то же время небольшой помещик Симбирска. Какая-то казенная постройка или починка поручена архитектору; обыкновенно: смета, справные цены. Архитектор не рассчитал, что ему придется иметь дело с Жиркевичем. Обычная уверенность специалистов — что там смыслит губернатор! Жиркевич сразу поймал не на одной плутне, и еще бы ничего, но архитектор заспорил; Жиркевич вспылil, вышел из себя, и архитектор действием вылетел из кабинета и из дома. Архитектор, как помещик, принес жалобу губернскому предводителю. Сначала мы ехали почти молча, Бестужев очень скромно сказал:

— Ваше превосходительство, вы на днях очень неосторожно выгнали здешнего помещика.

— Кого это?

— Архитектора.

— Он мошенник, вор.

— Этот мошенник все-таки дворянин, помещик, так нельзя поступать.

— Мошенник, вор — не имеет звания, я выгнал подлеца и выгоню всякого вора.

— Если так будете поступать с дворянами, то к вам придут все дворяне!

— Я прикажу батальону выгнать их!

Вижу, закипел Жиркевич, дошло до крупного, народ окружает плотно; я решился войти в свои права, и, несмотря ни на которого, сказал: «Ваши превосходительства, господин губернатор и господин губернский предводитель! На основании секретной инструкции, высочайше утвержденной, прошу прекратить

разговор, унижающий главные власти; здесь не место, вас окружает народ!»

Замолчали оба мои приятели и молча доехали до могилы. После с обоими я не коснулся этого случая.

Честный и ретиво-трудолюбивый Жиркевич не мог понравиться симбирскому дворянству, которое было гордо, богато, независимо и дружно. Дворяне привыкли видеть в губернаторе члена общества, не мешая ему быть губернатором. Жиркевич не мог отделиться от службы; как он для общества, так и оно для него не существовали.

Весьма часто я писал шефу, что Жиркевич феномен между губернаторами, но в Симбирске он пришелся не по дому. Писал, что Жиркевича достанет управлять тремя губерниями, стоял за его благородную честность, неумолимость, но, как губернатор, в Симбирске он совершенно [вреден для]<sup>39</sup> дворянства, которое может уважать губернатора, но когда он стоит во главе общества и делит с ним удовольствия. [Как ни жаль для службы лишиться Жиркевича, но необходимо для общей пользы избалованного, но благородно преданного государю дворянства симбирского.]

Хлопотавши с Загряжским, потом женился, я потерял из вида дела по удельным имениям; доходили до меня слухи о неудовольствиях на удельное управление, но полагал — дело новое, еще не освоилось, не надо мешать, обойдется. Лишь только я хотел пощупать осторожно, что делает удельная контора<sup>40</sup>, как является ко мне лучший мой унтер-офицер Баракин, посланный мною в уезд, и рассказывает, «что в татарской деревне Бездне удельных чиновников с управляющим Бестужевым татары засадили в пустую избу и заколотили под арест. Татар набралось множество из других деревень, все верхами, скачут по полю с ножами и кистенями, бормочут по-своему; я в соседнем русском селе дождался ночи и тихим манером освободил чиновников».

— За что татары арестовали удельных?

— Ничего не знаю.

[Молодец, умница, спасибо!]

Я к Жиркевичу, ему только что донес исправник; явился удельный управляющий и говорит об ужасном бунте. От какой причины бунт — покрыто мраком неизвестности. Я спросил Жиркевича, что он намерен делать?

— Поеду, прочитаю закон.

— Татары не понимают русского языка, не слушают.

— Тогда приведу войска.

— Какие?

— Здешний баталион.

— В баталионе 300 человек, но не наберется здоровых и 100 человек, остальные калеки, а ружей кой-как годных с замками не найдется и 50-ти, что же вы можете с этой армией?

— Исполню закон.

— Но вы знаете, что это не только бесполезно, но вредно тем, что татары раз испытают бессилие воинской команды, тогда нужна будет против них армия, ведь татар 40 тысяч!

— Что же делать, я должен исполнить закон.

В этих словах выразился весь Жиркевич.

Сознавая вред от буквального исполнения закона, я у него же в кабинете написал к нему конфиденциальное письмо, в котором, изложив бессилие его действовать против взбунтовавшихся татар, исполняя буквально статьи закона, и могущий произойти от того вред, то, в отвращение вредных последствий, я, на основании секретной инструкции, высочайше утвержденной, останавливаю его действия по этому делу и принимаю на свою ответственность. Подал Жиркевичу, он прочитал внимательно два раза, спросил:

— Вы не возьмете назад?

— Нет.

— Что заставляет вас соваться в такое рискованное дело и брать добровольно на свою ответственность?

— Бесполезность ваших действий и польза от моей удачи, ведь я русский человек!

Жиркевич обнял меня и сказал:

— Вы честный и благородный дурак!

— Спасибо.

— На вашем месте я бы не взял на себя, а вам дай Бог успеха!

Татары в Симбирской губернии называются лашманами <sup>41</sup>. Это название первоначально было, верно, лоцман.

В Симбирской губернии, если не ошибаюсь, находится до 270-ти тысяч десятин удивительного корабельного дубового леса, есть сосновые рощи мачтовых деревьев. Петр I возложил на татар по требованию адмиралтейства нарубить и вывезти на пристань дубы по указанию разных тиммерманов <sup>42</sup>; за это татары-лашманы избавлялись от податей и рекрутства. Татарам,

как я узнал, повинность эта обходилась очень дорого, но азиаты гордились отличием особой привилегии от христиан и охотно исполняли хотя и тяжелую повинность.

С переводом казенных крестьян в удельные о татарах-лашманах не было и речи; татары оставались прежними лашманами. Пока я хлопотал с Загряжским, потом женился, удельная контора втихомолку стала забирать лашман в свое заведование, стала предписывать волостям. Пока шло дело о мелочах, татары молчали. Контора неразумно коснулась религиозных прав татар, предписала запретить многоженство. Татары зашумели. Удельная контора не остановилась, вздумала учредить общественную запашку. Татарам показалось, что этим равняют их с христианами, лишают привилегий и делают удельными. Приехали удельные чиновники в большое татарское село Бездну и хотели ввести общественную запашку, татары осатанели. Азиаты на коней, кинжалы, кистени, с гиком загнали чиновников в пустую избу и заколотили. Как сказано, жандармский унтер-офицер, ехавший случайно мимо, умно освободил. Исправник докладывал, что к татарам и показаться опасно, так они взбесились.

[Я взял на свою ответственность усмирить эту азиатскую орду. Физическая сила должна задуть неповиновение, а если недостаточно сильна, то не должна быть употребляема. Физической силы в Симбирске не обреталось. Я бы желал послушать желающего решить задачу.]

Чтобы не дать вида и тени физической силы, я взял с собою жандарма без оружия, татарина Абрешитку, не видного собою, но ловкого и преданного. Приехал в Бездну вечером. Абрешитка секретно предупредил муллу<sup>43</sup>, что я буду у него ночью и чтобы он тайно пригласил к себе богатых татар. Абрешитка имел инструкцию — уверить татар и более муллу, что я приехал спасти их от страшной беды. Около полночи Абрешитка провел меня закоулками, огородами к мулле; там я нашел человек девять главных капиталистов.

Азиаты — страшно честолюбивый народ; я вместе с ними пил чай, которым потчевал мулла. Между разговорами я уверил их, что мне известно — вся сила народа в их руках, что народ, как стадо овец, повинуетя их разуму и силе их капитала. Они сказали мне, что в Бездну собралось до 8-ми тысяч татар. Я сказал им мудрую и красноречивую речь, в которой выяснил: положим, они могут не повиноваться удельным, даже

губернатору, но они знают, что я особый слуга государя, могу потребовать сто тысяч солдат: тогда что будет с ними? Прежде силы, я, любя их и желая им добра, нарочно приехал тайно переговорить с ними и вразумить, что вся беда оборвется на них, потому что простой народ повинуетя им, как мурзам, князьям. Нарисовал им спокойный и довольный вид настоящего и — ссылка в Сибирь, в каторгу, а способные — в солдаты, тогда лишатся своих милых красавиц-жен и детей, своего капитала; но это случится тогда, когда они своим неповиновением лишат меня силы помогать им. Тут они сказали мне, что удельные лишают их веры Магомета. Я поручился им своим словом, что уничтожу такие распоряжения. Боялись они, что если покорятся мне, то их заберут в тюрьму. Я объявил им, что если покорятся мне, то у них не будет никакого начальника — кроме меня, а я даю слово, что без меня до них никто не дотронется пальцем, а перед государем я буду ходатайствовать за них. Вижу, подействовало мое красноречие. Я еще усилил настоящий рай и будущий ад, а главное — ударял на лишение жен. На вопрос их: чего же ты хочешь, бачка? — Чтобы вы приказали народу покориться.

— Теперь ночь, бачка, ничего не поделаешь.

— Я завтра нарочно буду долго спать, но вы успеете переговорить. Я прикажу сотским собрать весь народ на поле, вы станьте около меня, и когда я прикажу стать на колени, то вы первые становитесь, а далее увидим.

Татары спросили: «А удельные приедут?»

Я уверил их, что пока они будут покорны мне, то один я буду их начальником и до повеления государя другого начальника не будет. Мы еще рассуждали, но надобно было быть очень осторожным с подозрительными азиатами, одно сомнительное слово могло испортить дело.

Утром через сотских я приказал собрать весь народ на поле; жандарм устроил небольшой стол и стул, чтобы влезть мне. Сам я был в сюртуке с эполетами, в шарфе, шляпе, но без сабли. Абрешитка держал мою шинель. Весенний день был очень хорош. Когда я влез на стол, то, действительно, была огромная масса ермолок <sup>44</sup>. Около самого стола стояли богачи. Я говорил, может быть, гениально, но толпа ни слова не понимала. Вдруг толпа забормотала, зашумела. Я крикнул: «Молчать!» и потребовал покорности. Толпа сердито бормочет, я будто зажал свои уши и крикнул: «Молчать!» Затихло. Я громко, с расстановкой

и, должно быть, торжественно (без смеха не могу вспомнить) сказал: «Еще одно слово, и я лишу вас моего покровительства!» Эти грозные слова ошеломили толпу. Видя влияние, я закричал: «На колени!» Стоявшие тузы около стола стали на колени, толпа, одни за другими, все на коленях. Я подумал: наша взяла, еще попробуем: «Голову на землю, и я ваш покровитель!» (сильно сказано). Все ермолки легли на землю. Этот момент нравственной силы и победы забыть нельзя. Я помню, может, 20 секунд посмотрел на эту картину и промелькнули в голове Чингиз-ханы, Тамерланы. Приказал встать и милостиво объявил, что за их покорность я один их начальник и больше никого нет. Обрадовались, кричат: «Исправника не будет? Удельных не будет?» — «Никого не будет, только я». — «Ладно, бачка, ты наш, а мы твои, прикажи, не выдадим». — «Так как вы отдаетесь под мою власть, то нам нужны условия, по которым вы должны повиноваться, а потому выберите депутатов, с которыми я и напишу условия». Выбрали депутатов из соседних деревень. Я развернул X-й том законов и выписал земские обязанности; согласились, подписал я и депутаты приложили тамгу<sup>45</sup>. Я объехал несколько соседних татарских деревень, принят был с почетом, как владетельный князь. Когда я возвратился в Бездну, как в свою резиденцию, мне объявили почетные старики, что они подали за меня «большой записка до Магомет» и что я буду счастлив. Ничего не понимая, я усердно благодарил их и сказал, что я был бы доволен малой запиской. Они удивились моему невежеству и растолковали, что по малой записке я пошел бы тоже в рай, но сзади, а по большой записке впереди. Я опять, как невеж(д)а, не понял. По-моему, быть в раю первому и последнему — все равно. Этому непонятию татары еще больше удивились и внушительно объяснили мне: последнему достанутся из гурий<sup>46</sup> оборыши, тогда как первый выберет лучшеньких, и причмокнули.

Вот она, в лицах материальная Азия! Поняв прекрасный дар татар, я преусердно благодарил моих новых друзей. Но так как у меня много важных дел, то я должен уехать в Симбирск, а чтобы никто не обидел их, то я пришлю к ним моего адъютанта, через которого и буду присылать мои приказания; но и этого мало: для моего спокойствия, чтобы хотя раз в неделю присылали ко мне посланников, от которых я буду знать, что у них все благополучно. Титул посланника очень понравился честолюбивым азиатам.



Возвратясь в Симбирск, я немедленно виделся с Жиркевичем и рассказал ему комично фарс на поле и успех — но подготовку скрыл. Жиркевич, слушая, только покачивал головой и сказал:

— Вы поступили как сумасшедший, но успех оправдывает все. Поздравляю вас. Видно, вы родились в сорочке.

Мы уговорились, чтобы без моего билета никакой чиновник не заглянул к татарам.

Я хотел послать к шефу по почте, но узнал, что Бестужев уже ускакал в Питер. Боясь, что он обеспокоит государя своими рассказами, в Питере могут принять серьезно, ведь Симбирск знаком с Пугачевым <sup>47</sup>, губерния, в которой не квартировало войско, да мало ли что можно подумать, слушая такого храбреца, как Бестужев, которому выгодно было до крайности раздуть бунт для оправдания себя. Приняв все это в соображение, я решил послать жандарма курьером.

[Мне секретно писал Дубельт, что граф благодарит тебя, он очень доволен догадливостью твоею — послать курьера; здесь рассказывали страсти о твоих татарах. Граф нарочно ездил во дворец с твоим донесением. Государь доволен и изволил сказать: «Какой у тебя там шут? Но делает умно». По твоему желанию назначен князь Лобанов, его при дворе зовут «без страха и упрека», советую — поладь с ним. Камчадалка кланяется тебе.

В докладной записке шефу, описав подробно неповиновение лашманов и необходимые причины остановить власть губернатора и принять все дело на свою ответственность, намекнул о причинах послушания, рассказал о моей величественной позе на столе и поражение толпы — *лишением моего покровительства!* Но, будучи верен своему веселонравию, я уверял графа, что пока имею силы — сдерживаю себя, но не ручаюсь надолго, чувствую порыв — с подданными мне татарами броситься на Европу. Всепокорно прошу прислать поскорее кого-нибудь поумнее меня, потому что я, право, не знаю, что делать мне далее! Просил, если можно, прислать князя, — это звание имеет большое влияние на татар. Особым письмом не упустил смиренно признаться, что я вопреки данного мною ему слова взял взятку, принял от татар дары — «большую *записку к Магомету*». Объяснив, в чем состоит эта взятка, признался, что меня соблазнило то обстоятельство, что, будучи первым в раю, я могу выбрать лучших гурий и для вашего сиятельства. Кто знал графа Бенкендорфа, тот знает, что граф не прочь от гурий].

Пока ездили курьеры, я важно принимал посланников. Чтобы быть в глазах татар почтенным, я сшил себе халат таких ярких цветов, что глазам было больно. Докладывают: посланники приехали. Для меня выносили кресло, а для посланников стулья. Облекшись в халат, я важно усаживался на крыльце, а посланники во дворе. После докладов о благополучии шли рассуждения о внутренней политике. Я боялся каких-нибудь происшествий, требующих следствия, моя политика была: я — власть и нет другой власти. Татарин украл у татарина деньги и седло, произошла драка, вору вышибли глаз. Резолюция: ворованное сполна возвратить и по приговору выбранных судей на общем сходе и при обиженном вора высечь строго. Пока я был властитель, я установил в каждой деревне американский линч, но с моим утверждением, и шло хорошо. По окончании всех дел посланники угощались чаем. Важно откланивались, отправлялись в свои села довольными, а там рассказов — на неделю.

Вечером является курьер с конвертом, мне предписание: быть в распоряжении генерал-адъютанта, генерал-лейтенанта Лобанова-Ростовского.

В полной форме явился немедленно князю. Князь принял меня очень сухо, даже не встал, не поздоровался и не пригласил сесть.

— Что у вас тут за беспорядки?

— Какие, ваше сиятельство?

— По какой причине ваши татары бунтуют?

— Татары не мои, не бунтуют; о причине ослушания могут объяснить удельные, а мне неизвестно.

Прием князя очень оскорбил меня, притом же я хорошо знал себе цену: без меня некому было делать. Я решился прочесть питерского вельможу. Спросил еще что-то князь, я вместе ответа просил позволения удалиться — чувствую пароксизм<sup>48</sup> лихорадки, и уехал.

На другой день князь рано был у Жиркевича; после я узнал, что Жиркевич сказал князю: без жандармского штаб-офицера трудно что-нибудь сделать, все дело у него в руках. Князь подъехал к моему дому; я выслал адъютанта доложить, что я болен и принять не могу, а сам стою у окна и князь не мог не видеть меня. Князь присылает сказать, что он — на несколько минут. Отвечаю, что лежу в постели: «Скажите, что я лежу на кровати жены, не могу принять». Долго стоял князь у во-

рот; я утешался: хоть немного отплатил гордецу, еще поклонится. Наконец, князь просил передать, что он имеет крайнюю нужду говорить со мною, чтобы я приехал, как могу.

Жиркевич, отдавая визит князю, выслушав его рассказы о нежелании моем видаться, сказал:

— Мы, провинциалы, очень щекотливы, не обиделся ли он чем-нибудь? — и повторил, что без меня не с кем делать. Об этом я узнал после.

Между прочим, я узнал, что князь приехал в дормезе <sup>49</sup> с Бестужевым, что мне очень не нравилось. Вечером явился к князю. Прием другой: встретил, подал руку и подвинул кресло. После участия к моему нездоровью начался разговор о бунте татар:

— Объясните, пожалуйста, мне это происшествие.

— Татары арестовали удельных чиновников и отказались повиноваться властям; узнав ожесточение татар и зная ничтожные средства губернатора, я решился действовать лично и остановил законные действия губернатора.

— В каком положении теперь бунт татар?

— Татары смирились на условии, чтобы не подчиняться удельным.

— И вы приняли эти условия?

— Я бы принял все, лишь бы укротить озлившихся татар, ведь их до сорока тысяч в губернии.

— Вы должны были подчинить татар прямому их начальству — удельным!

— Это я предоставляю вашему сиятельству, я не умел этого сделать.

— Удельное начальство требовало законного, они ослушались, то нужно сломить их!

— Первый раз слышу, что лашманы подчинены удельным. Я исполнял волю государя и переводил казенных крестьян в удел. О татарах-лашманах не было слова, они пользуются особою привилегиею и остались лашманами. По какому праву удельные вмешались к татарам? Никто этого не знает, это наглое самовластие. Сломить татар — нет войска в губернии.

— Государю это угодно!

— Надобно объявить формально, законным порядком. Лашманы пользуются законною привилегиею и несут весьма тяжелые обязанности.

— Я нахожу действия удельных совершенно правильными.

Меня опять взбесила такая пристрастная односторонность, я опять почувствовал пароксизм, прекратил разговор и отключился.

Князь послал через удельных призвать несколько татар. Не послушались, а приехали ко мне; я послал их с адъютантом к князю и приказал доложить, что это те люди, которых он требовал чрез удельных.

Князь несколько раз в день приглашал меня к себе — болел! Думаю, поклонись мне. Когда я виделся с Жиркевичем, он дружески советовал мне поладить с князем. Был я у князя: очень, весьма ласков, просил меня составить план, как приступить к делу. Я, ссылаясь на болезнь, советовал действовать через начальство татар — удельных; князь поморщился, я указал на жандармского полковника Флиге, живущего в Симбирске без дела, но Жиркевич предупредил князя; князь засмеялся и сказал: «Мне сказано пользоваться вашею помощью». По-моему, князь спустил флаг. Я спросил: «Чего вам угодно достигнуть?» — «Чтобы татары сделали общественную запашку». — «На что планы, планы на месте действия. Попробую устроить это, но с условием, чтобы теперь пока не мешались удельные. Есть ближайшая татарская деревня, я сегодня же отправлюсь туда и, если устрою, то дам вам знать. От первого успеха или неуспеха будет зависеть дело».

Приехал к татарам; опять принялся я за красноречие и людям побогаче нарисовал картину страшных лишений — при ослушании и спокойного довольствия с женами — при покорности, и более убедил тем, что я сделаю их начальниками, а работать будут простые татары, которые привыкли повиноваться им, как мурзам. Пил с ними чай, они верили, что я их друг и стою за них. Князя и власть его представил могуществом от земли до неба. Согласились, но болтал с ними до полночи.

Немедля послал жандарма к князю и просил его приехать до полдня, чтобы в тот же день окончить запашку.

Утром собрались татары с сохами, боровами и с лукошками через плечо с зерном для посева. Ловко настрадал князем; татары говорили, что надеются на мою защиту, не то — лучше бежать. Научил рабочих стать на колени около орудий, а как подъедет князь, то поклониться в землю, а подойдет, то говорить: «Помилуйте, ваше сиятельство!»

Вижу, далеко по степи несется князь в коляске шестерней; ближе — вижу, с ним сидит Бестужев, меня так и передернуло.

Я полагал, что князь по моей просьбе простит татар и на этой радости скорей отправится парадом сам на поле, чтобы при себе сделать как-нибудь посев.

Встреча князя была как по писаному; татары просили: «Помилуй, ваше сиятельство!» Я кланялся и просил за татар; князь, улыбаясь неожиданному фарсу, простил татар. Но вместо того, чтобы при себе сделать запашку, князь приказал Бестужеву распорядиться. Я внутренне бесился и жалел, зачем я поехал.

Бестужев в мундире, с шпажкой, суетливо и радостно повел рабочих, мы с князем ушли в дом. Я сердился и почти не отвечал князю. Немного погодя мой Абрешитка подмигнул мне, я вышел; он доложил, что все рабочие с явным недовольством, даже руганью разошлись по домам. Я не сказал князю, но под видом духоты предложил прогуляться. Только вышли за ворота, смотрю и едва верю глазам: около недалекой мечети татарин сидит верхом на белой лошади, с сохой на боку; по правую сторону уцепился за повод узды Бестужев и тянет лошадь направо, а татарин спокойно дергает левый повод; лошадь, слушая хозяина, рысцой бежит кругом мечети; Бестужев, придерживая путающуюся шпажку, вприпрыжку бежит наравне с лошадью. Я едва не расхохотался, но, заметив, что князь близорук, я притворился, что не могу рассмотреть какого-то движения около мечети. Князь в лорнет рассмотрел, хотел и сказал:

— Вот глупейший скандал! Прикажите Бестужеву прийти сюда!

Бестужев, едва переводя дух, мог только сказать:

— Татары разбежались.

Князь сердито сказал:

— Кроме одного на белой лошади.

Князь обратился ко мне:

— Что теперь делать?

— Ничего. Заставить их нельзя. Разве Бестужев, а я не могу.

— Но, однако, что же делать далее?

— Дело испорчено, а было направлено хорошо; теперь что вы прикажете делать?

Князь подал мне руку и сказал:

— Ошибка моя, я полагал более способности в Бестужеве; я должен был положиться на вашу опытность.

Это было при Бестужеве; вижу — наша взяла, надо пользоваться.

— Ваше сиятельство, неопытность — не преступление, о г. Бестужеве узнаете, что он — настоящая причина послушания этих бедных людей. (Статский советник хоть бы слово.)

— Охотно вам верю, я видел опыт его неловкости.

— Еще повторю, неловкость — не преступление, узнаете со временем.

— Я не спорю с вами, но что нам делать далее?

Я подумал: ага, просишь прощения и поделом тебе, ну-ка, придумай сам, что тебе делать:

— Поедьте далее, в шести верстах село Бездна, это главная квартира бунта, там и были арестованы удельные. За успех не ручаюсь, но желал бы поменьше показывать удельных.

— Мы прикажем приехать им ночью и вовсе не выходить из дома.

Приехали в Бездну, народу полны улицы; остановились в доме богатого татарина, огромный крытый двор полон народа. Князь вышел на заднюю галерею и сказал, что его послал государь с повелением, чтобы они повиновались.

Загалдели татары все вдруг. Абрешитка перевел, что сердятся и не хотят повиноваться. Князь приказал мне переписать всех имена и фамилии. Я пошел в средину толпы; знакомые татары смеются и говорят: «Здравствуй, бачка, как живешь?» Кого не спрошу, как зовут — либо молчит, либо отвечает: «Не знаю». Я доложил князю.

— Что же теперь делать?

— Подождите до завтра, я что-нибудь сделаю ночью.

Моим приятелям-татарам приказал прислать кур, яиц, уток, масла, все принесли; взялся готовить лакей князя. После чая я ушел к мулле, там собрались мои друзья. Не буду передавать долгих толков, трудно было смягчить отвращение их к удельным. Успокаивал их тем только, что остаюсь защитником их и что я их друг. Кончилось тем, что мне удалась опять штука: я обещал назначить их — кого старшиной, кого ревизором, распорядителем, надзирателем и проч., составил огромный штат честолюбивых татар, поманил могущими быть медалями. Согласились, но просили побить их при народе, потому что весь народ присягал не слушаться. Ну, за наказанием дело не станет.

С вечера послал нарочного в Симбирск с приказанием прислать на подводах 40 солдат с боевыми зарядами, солдат назначить из поляков — это были отличные молодцы-мародеры. Приказал быть 10-ти жандармам без коней.

Приехали команды. Татар собралось очень много. Я, будто случайно, взял из толпы согласившихся со мною ночью, назначил им должности. Первый — старшина — отказался повиноваться. Я крикнул: «Фухтеля<sup>50</sup>!» Два жандарма обнаженными саблями весьма неосторожно ударили раз пять, упал на колени побитый; следующим по два фухтеля, покорились и говорили толпе со слезами в свое оправдание. Ружья заряжены при толпе (выстрелили бы? — не ручаюсь). Каждому битому чиновник дал по два солдата и на ответ чиновника приказал привезти сохи, бороны, сеяльницы. Чрез Абрешитку объявил толпе, что за слушание не только буду стрелять, но сожгу их дома с женами.

Привели рабочих более, чем нужно. Объявил всем, что если не простит князь, то все сгниют в тюрьмах. Приказал жандармам поставить всех на колени, а мулле приказал читать молитвы, чтобы князь простил.

Прихожу к князю — он приготовился к катастрофе: пистолеты заряжены, шашка, сабля острые вынуты из ножен. Князю сказали о прибытии команд, но он, проученный уже, не мешал мне, да и не знал, что я делаю. Я пригласил князя прощать и условился — не прощать, пока не поручусь. Попросил его надеть звезды.

Подошел князь: «На караул!» Барабанщик с дробы сбился на генерал-марш. Я просил простить татар, князь гневался; я просил, просили татары. Князь объявил, что он не может верить послушникам, и спросил меня, могу ли я поручиться за них? Я спросил татар, не выдадут ли они меня?

— Ручись, бачка, не выдам.

Князь простил, я представил мною испеченный штаб чиновников. Князь утвердил. Тут же, с места, отправились парадно на поле, сделали никуда не годную запашку. Богатых татар спросил: «Что лучше — в тюрьму или наказать розгами?» Те, переговорив с массой, в один голос отвечали: «Розгами!» Близко был исправник, приказал ему дать всем по 100 розог, но за то князь дал слово татар более не трогать, и татары счастливы и совершенно успокоились.

Я просил князя ночевать, чтобы узнали татары во всех деревнях. Князь много благодарил меня, завидовал моему характеру, что из серьезного дела я умею сделать фарс. Я вышел на первый план, а Бестужев стушевался.

Проехали мы все уезды, были во всех татарских деревнях, проделали фарс легче, чем в Бездне. Всем татарам, для спокой-

ствия их, я назначил по 100 розог с тем, что не пойдут в тюрьму, а исправники, исполняя наказание, взяли по полтиннику, о чем я узнал после. В Курмыше <sup>51</sup> я так напугал князем старика Ахуна <sup>52</sup> (глава магометанского духовенства), что мы боялись, чтобы он не умер.

Осматривали по пути корабельные леса, ничего подобного и видеть нельзя: дубы — 2, 3 аршина в диаметре, стоят густо, сплошь. Один дуб под названием матка был около 4-х аршин диаметра. Дуб, упавший от старости, пастухи выжгли больше половины, в эту арку я прошел в султани и не задел. Лашманы, чтобы вывезти дуб на пристань, в особые для того сани запрягают до 150 лошадей. Двинуть с места мало 200 человек, и бьются не один день. Я видел новый двухэтажный амбар: дуб направился на амбар и стер его, перешедши через. 270 тысяч десятин такого леса Перовский хотел приобрести в удел, лишив флот. Лес стоил иного маленького государства, но пока я был в Симбирске — отстаивал, а Перовский — гневался.

Возвратясь в Симбирск, я сделался неразлучным с князем; ему хотелось доискаться причины бунта татар. [Бестужев крутился и лгал.] Я просил своих друзей-татар найти мне хотя один приказ в волости от удельной конторы о запрещении татарам иметь более одной жены. Я знал, что Бестужев отобрал и уничтожил все приказы. Ночью привезли мне единственный экземпляр приказа, сохраненный писарем на границе Казанской губернии. Я настаивал на существовании распоряжения. [Бестужев опровергал, последний раз при мне князь спросил на честное слово, и Бестужев дал честное слово, что такого распоряжения не было. Бестужев ушел, а] я подал князю приказ, подписанный Бестужевым, с печатью конторы. Боже мой, как рассвирепел мой честный князь; [по приходе Бестужева приказал мне сесть за ширму, а как увидал его — тяжело дыша, показал ему приказ: подлец, скотина, мерзавец — целый лексикон эпитетов и непечатных слов высыпал на статского советника! Тот имел силы один раз прошептать: «Виноват». Князь выгнал его и не приказал являться на глаза.]

Мне приятно вспомнить, что Иван Степанович Жиркевич, принимая искреннее участие, очень был доволен моими успехами, а подготовка все-таки осталась в секрете. Все удивлялись успеху, видя только наружную сторону дела <sup>53</sup>.

Князь Лобанов-Ростовский был очень красивый мужчина, очень статный, от 40-ка до 50-ти лет, справедлив и храбр как



шпага. Если не ошибаюсь, он начал службу адъютантом при князе Волконском, — вот отчего он, может быть, бессознательно заступался за удел, но после я узнал — вся проделка от Льва Перовского через князя Волконского. Перовский был вице-президентом уделов.

[Князь очень полюбил меня. Раз спросил, не хочу ли я быть полицмейстером<sup>54</sup> в Питере? — «Нет, не хочу!» — «Отчего? Вы имеете к тому способности». — «Не хочу, потому что я здесь старший, а там — под командой, да и Питера я ненавижу».]

Еще при объезде татар князь посылал курьеров, а из Симбирска — то и дело летели курьеры; князь писал государю на оторванной страничке маленькой почтовой бумаги и всегда вдоль бумаги и по-французски, непременно делая пометки: *un* и *une*, так и посылал с пометками. Моя обязанность была печатать и пломбировать сумку жандарма. Я советовал переписать пометки, он отвечал: «Государь требует от нас дела, а не формы». [Раз дает мне читать страничку. Я прочел представление меня к Анне на шею<sup>55</sup>. Я просил позволения уничтожить. «Отчего?» — «Не к лицу мне; хорошо видеть у вас; вишь на вас крестов, как на кладбище, за то вы — князь, Лобанов да еще Ростовский, генерал-лейтенант, да генерал-адъютант. А мне к чему? Вычтут из жалованья и будет мешать мне одеваться». — «Вы говорите серьезно?» — «Позвольте разорвать». — «Разорвите». Я изорвал. «Странный вы человек! Чем же я могу благодарить вас?» — «Очень можете». — «Чем?» — «Скажите кому следует, что я полезен для службы». — «Да я и не могу не сказать». — «А я более ничего и не желаю».

Здесь, кстати, похвастаю (но право, не хвастаю) — несколько представлений я изорвал, а ордена, какие имею, получил тогда, когда начальник хотел досадить мне. Когда-нибудь расскажу, это был не секрет.]

Проводил я князя до границы губернии, и не дала мне судьба повидаться с ним; был я в переписке с князем, хотя редко.

[После рассказывал мне Дубельт, что князь много хлопотал о моем кредите в Корпусе жандармов.]

Пока я хлопотал с лашманами, неудовольствие росло против Жиркевича. Один Жиркевич не замечал того, и это потому, что он не сознавал своей вины к обществу, он не мог быть другим, каким он был. Я продолжал писать, воздавая хвалу честному его трудолюбию, безукоризненной нравственности,

высоким служебным достоинствам, но вредным для Симбирска. Любить Жиркевича трудно, но не уважать нельзя.

Получено известие, что государь посетит Симбирск. Не описывать же мне, как готовился город к приезду государя: суета, хлопоты, белят, метут — всегда и везде один порядок. Разве расскажу весьма важный случай удивительной находчивости частного пристава. В Симбирске жили две старые девицы, сестры Ивана Ивановича Дмитриева, поэта и министра. К этим старухам и пристава не было для полиции; на всякое требование полиции — один ответ: «Да что ты, батюшка, никак с ума сошел; разве не знаешь, что у меня брат министр!» Полиция ретировалась. Деревянный дом на Покровской улице, чуть ли не ровесник Симбирску, девственно существовал со своего создания; улица — одна из главных, на пути проезда государя, полиция претендовала побелить дом. Частный пристав<sup>56</sup> лично предъявлял требование и встретил неопровержимый аргумент: «Мой брат министр». Частный пристав хотя и был ошеломлен, но важность обстоятельств выжала его находчивость; он, подумавши, отвечал:

— Оно, конечно, у вас братец министр, я и уважаю, но и у меня дяденька царь Соломон<sup>57</sup>, а потому побелить извольте.

Этим доводом так озадачились старухи, что покорились и выбелили дом.

Коснувшись почтенных старух, каюсь в своем плутовстве. У этих старушек-девиц воспитывалось по племяннице, девицы прехорошенькие и уже в возрасте невест. Старухи страстно любили своих красавиц, не надышатся на них, утеха остальных дней старух, жизнь которых была с красивою юностью; о замужестве племянниц не могло быть и в помышлении, девицы жили в очаровательных замках, знакомых старухи не имели, потому что — брат министр. В нашем маловерующем и развратном веке побеждают и Черномора и Бабу-Ягу. Приехали в отпуск два гусара (ох, эти гусары!); говорят, будто девицы и не видали гусар, а племянницы ушли от милых и дорогих тетенок с незнакомыми, ушли в один претемный вечер. Объяснить этот непонятный казус для всех была задача, но я легко и здраво разрешил колдовством. Хотя я знал, где венчались гусары, но когда сестры министра потребовали поймать преступных гусар, я рассвирепел. Да, помилуйте: я начальник нравственной полиции и в моем присутствии смеют совершать такие скандалы. Я немедленно разделил команду на два отряда и на попонках по-

слал по двум дорогам (шагом, вместо поездки), с приказанием привести живых или мертвых — вот как строго! А колдуны-то венчались возле дома, в церкви Покрова. Что делать, сплутовал и признаюсь. Сестры министра в справедливом гневе отказали в наследстве преступным племянницам и не пускали на глаза, грозно сердились целую неделю. С шалунами-гусарами совершилась метаморфоза: шалуны превратились в благородных, добрых помещиков и в уважаемых членов общества. [Говорят, за признание — половина прощения, надеюсь!]

За три дня до приезда государя народ из далеких деревень: татары, чуваша, мордва, русские на четыре версты заняли почтовую дорогу по обеим сторонам, тут и ночевали.

Государь приехал перед сумерками<sup>58</sup>, занял дом губернатора. [Граф Бенкендорф при встрече со мною обнял меня, называл по фамилии, назвал меня лучшим своим помощником и проч.] С приездом государя весь народ города и дороги наполнил большую площадь перед домом губернатора и около собора. Жандармы, полиция были спрятаны в соседних домах, но тишина и благонравие толпы были образцовые во все время. На другой день утром назначен прием.

Вот память мне изменила — в день приезда государя или перед тем получен приказ об увольнении Жиркевича? Не помню. О себе скажу, что я усердно готовился и хотел быть умным, голову наполнил статистикою губернии до точности, чуть я не мог отвечать, сколько в губернии тараканов; пути сообщения, торговля, промыслы — все как на ладони. Но вышло, что я оказался... вот увидите. Я знал, что мой шеф не щеголял памятью<sup>59</sup>; в мое время в Питере, делая визит французскому посланнику и не имея с собой карточки, приказал швейцару записать, а на вопрос: как прикажете? — граф забыл свою фамилию, да уже граф Орлов ехавши крикнул: «Бенкендорф!» Граф поскорее вернулся, твердя свою фамилию, и записался. Для представления я написал записочку своей фамилии и адъютанта. Граф благодарил. Дворян было столько, сколько могла вместить большая зала; дворяне помещались около стены с окнами, а служащие у противной стороны.

Государь вышел к дворянам и весело сказал:

— Ого, вижу, что я приехал в черноземную губернию, такой рост не везде встречается!

Нарочно или случайно, с головы ряда стояли человек 18 ростом выше государя. Представлять дворян должен был гу-

бернский предводитель. Мой друг, Бестужев, был в генеральском мундире. Лакей догадался список дворян положить в задний карман мундира. У моего друга так была развита некоторая часть тела, что при всем усилии руки предводителя не доставали кармана. Я с удовольствием готов был помочь страдательному положению друга, но сам стоял во фронте. Государь, улыбаясь, ожидал, а список так и остался в кармане. Жиркевич был в зале, как любитель, в виц-мундире. Я должен заметить, что Жиркевич был, против обыкновения, оживлен и был как дома. Видя страдательное и безвыходное положение губернского предводителя, Жиркевич подскочил и сказал государю:

— Я попробую представить вашему величеству.

Пошел по ряду, называя фамилии. Правда, он называл Ивана Петром, а Кузьму Степаном, но шел смело, не останавливаясь. Государь остановился перед бодрим стариком Петром Петровичем Бабкиным и сказал:

— Вашего мундира и я не знаю, скажите, какой это мундир?

— Вечной памяти матушки Екатерины, капитана Преображенского полка.

Государь поклонился и сказал:

— Славного вы роста.

— Я, государь, выше был, но осел.

— Как это?

— У меня обе ноги прострелены.

Государь с милостивою улыбкою поклонился.

Как попало Жиркевич кончил представление, а капризный список так и не явился на свет. Государь был очень милостив и весел; обратясь к дворянам, сказал:

— Господа, скажите, кто у вас был лучшим и любимым губернатором?

Все в один голос: «Жмакин!»

Государь обернулся к Бенкендорфу и сказал:

— Вот видишь, граф Александр, можно быть взяточником и любимым.

Государь подошел к нашей стороне, я стоял на фланге. Граф Бенкендорф, представляя меня, сказал:

— Жандармский штаб-офицер, в Симбирской губернии находящийся, (смотря на эполеты) подполковник... подполковник...

Вижу, что граф данную мною записку мнет в правой руке, но забыл и фамилию, и бумажку. Государь улыбнулся и милостиво сказал:

— Вы Стогов?

Я поклонился.

Государь изволил спросить:

— Сколько лет вы здесь служите?

Я был готов отвечать на самые трудные и сложные вопросы и, как камчадал, не предполагал, что государи так просто спрашивают; хорошо помню, первая цифра пролетела сквозь голову — 8, за ней 80, 800, никак не поймаю мысль, стою и молчу, чувствую — кровь приливает к голове, стою и молчу, как... умник. Государь очень милостиво, с его невыразимо привлекательной улыбкой тихо сказал:

— Ну, что ж вы молчите? Вы здесь служите три года, я помню вас и доволен вами, продолжайте служить.

Я только кланялся, но можно вообразить, как я был недоволен собою. При привычной находчивости моряка вдруг на меня нашел столбняк. Я бы объяснил причину, но боюсь быть еще глупее. Чиновников представлял Жиркевич; на левом фланге стояли удельные; государь не позволил представить их и сказал:

— Идите, я из вас — единицы — сделаю четыре нуля.

По окончании представлений государь, обращаясь к Жиркевичу, сказал: «Как тебе не идет статское платье», а к графу Адлербергу: «Надень на него военный мундир». Потом сказал Жиркевичу: «Я даю тебе славную губернию, Витебскую, там у меня лучшие два элемента: жиды и поляки, поляки и жиды».

Слушая это, я чувствовал себя награжденным.

После представления назначено быть в соборе. Граф Бенкендорф приказал мне очистить собор: «Государь не любит, чтобы очень много было».

Государя все хотели видеть; мужчины представлялись, понятно, дамы избрали для себя церковь. Очистить церковь, полную дам, выгнать сливки симбирской интеллигенции — дам, от покровительства которых зависит мое спокойствие, мое существование, моя сила, мой успех, мое счастье! Прогнавши дам, остается повеситься. Велят очистить церковь — пренеприятная задача, от которой — хоть в Волгу. Говоря о тесноте, выражаются: некуда упасть яблоку, а я уверяю, в церкви дамы, дамы и только дамы, да так плотно, что и булавке упасть некуда.

Насилу я пробрался в алтарь; там архиепископ с причтом<sup>60</sup> в облачении. Я как можно громче сказал:

— Владыко, государь не будет в соборе, он изволит слушать обедню у Николая (кажется, так, маленькая церковь близко дома губернатора).

Архиепископ сказал: «Ну, братия, так пойдем, собирайтесь, да не забудьте чего-нибудь».

Как слышали дамы мои слова, так и бросились из собора, чтобы захватить места у Николы. Я тихонько приказал архиерею остаться, церковь запереть и поставил трех часовых — не пускать, так и выпутался. После [много имел выгод] во время службы: пускал дам, оказывая дружеское покровительство.

После церкви — развод. Я очертил верно симбирский батальон. Корпусной Капцевич заранее присылал по ночам из разных батальонов для показа государю. Перед представлением я составил записку о ловкости Капцевича и подал шефу. Государь сделал смотр. Жандармы на лошадях и полиция едва сдерживали народ. Бенкендорф, Адлерберг, флигель-адъютанты, я — человек семь — стояли кучкою, в стороне, к середине площади. Кончив ученье, государь скомандовал:

— Рязанцы, орловцы, нижегородцы... вперед!

Вышли, молодец к молодцу.

Государь выбрал всех в гвардию, а окружному генерал-майору Мандрыке сказал: «Отправить всех на счет Капцевича, а с ним я рассчитаюсь». [Знакомый мне Мандрыка недоумевал, кто мог доложить, тогда как делалось секретно. Просил меня узнать.]

На другой день чрез Бенкендорфа дворяне просили расквартировать один корпус войск. Государь весело сказал:

— Вам женихов надо? Хорошо, подумаю.

На третий день сказал:

— Как ни рассчитывал, не могу, слишком далеко от границ.

Когда государь приказал подать экипаж, народ прорвал цепь и, придя в иступленный восторг, наполнил плотно пространство между государем и экипажем; нас так сдавили, что мы едва не задохались; у ног Бенкендорфа разрешилась женщина. Бенкендорф, уже привычный к восторгам народа, но и тот испуганно сказал: «Да что же это будет, это сумасшествие». Я сказал: «Пока не сядет государь, ничего не поможет». Долго пробирался государь к экипажу и тот к государю; народ, действительно, как безумный, не помнил себя, молился на государя, ложился к ногам, но только государь сел в экипаж и по-

ехал, мы остались одни. За экипажем все бежало; обгоняли и крестились, шапки, полушубки валялись на земле, восторг был невыразимый. Замечу, после многих я спрашивал, для чего все бешено бросились к государю по окончании смотра? Единогласно отвечали: все слышали, как государь крикнул: «Народ мой, ко мне!» — чего, конечно, не было.

Помню, один раз при выезде государя из дома какая-то женщина побежала перед лошадьми, платок с головы сняла, машет им и кричит ура! Вдруг споткнулась и упала почти под ноги лошадей и давай кричать караул. Бенкендорф бросился к кучеру и осадил лошадей. Государь очень смеялся. От «ура» до «караул» — один шаг.

Замечу, во все время пребывания государя я не видал ни одного пьяного.

Государь пробыл в Симбирске трое суток; дворяне не забудут милостивого и ласкового внимания государя. В городе остались памятники: прекрасный спуск к Волге, площадь около собора превратилась в гулянье с кустарниками и дорожками, но всего не рассказать и не припомню.

Государь уехал, помещики разъехались хозяйничать и охотиться, все затихло, одни удельные чувствовали себя нулем с минусом. Жиркевич с большим чувством простился со мною; не знаю, догадывался ли он, что я стоял за него горою, между нами не было слова. Как приехал он невидимкою, так незаметно и уехал.

Пока не придет новый губернатор, я что-нибудь расскажу, а рассказов — без конца.

Симбирская губерния хлебная, нищих в Симбирске почти не было. Вдруг быстро стали наполняться улицы, церкви — нищими. Причин не было, урожаи обильные, а нищих все прибавляется. Одной старухе я часто подавал копейку, и однажды спросил:

— На что тебе, старая, деньги: вон котомка полна хлеба?

— Как же, мой родненький, нам без денег нельзя.

— Зачем?

— Как зачем? Как не заплачу, то либо выгонят, либо в тюрьму уложу.

— Что ты врешь, старая, грешишь: кто с тебя возьмет?

— Как кто возьмет, не заплати-ка я 40 копеек в неделю, то ты, батюшка, только бы и видал меня; не вру я, все платят, другие и больше меня.

- Кому же ты платишь, старая карга?
- Да вон тому полицмерскому, все платят и я плачу.
- Да вас много, он не упомнит.
- Какое не упомнит, на то у него книжка, там каждый на счету.

Это обратило мое внимание, я распорядился — украсть книжку у «полицмерского».

Новый полицмейстер, не помню фамилии, был ротмистр по кавалерии, по наружности щеголь. Книжка у меня в руках — прелюбопытная. Несколько сот нищих (сколько — забыл) записаны по именам, многие отмечены, чем искалечены, всякий по степени лет, калечества оценен еженедельной податью; были и такие, что платили 80 коп.: это без обеих ног. Аккуратность замечательная: кто не доплатил 3 копейки, отметка на поле: доплатить в такой-то день.

Я написал шефу, что обязанность всякого русского патриота выдвигать на пользу государства гения, могущего принести пользу государству. Случайно я открыл в симбирском полицмейстере удивительную финансовую способность, гениальную голову, могущую обогатить казну без отягощения общества. Описав всю проделку и приложив, как факт, книжку, просил покровительства ему и взять его из Симбирска, где гениальность его не может иметь полного развития.

Полицмейстер вытребован в Питер, улетучился, и далее не слыхал о нем. Вот и такие бывают артисты.

Саратовский помещик Петр Иванович Богданов осенью выехал на охоту из Саратова в поле с собаками; куда бежали зайцы и лисицы, туда и Богданов ехал с охотою; так за зайцами и лисицами доехал до Симбирска, где захватила его зима. Между Саратовом и Симбирском до 400 верст по почтовой дороге. Богданов остался зимовать в Симбирске. Богданов хорош собой, богат, щеголь, танцор, немного поэт — быстро стал необходимым членом общества, познакомился и я с ним. Однажды Петр Иванович приходит ко мне. Весьма ловко, искренне и прилично объясняет, что он очень любит играть в карты, но ничего не любит делать тайно: пришел просить позволения играть. Я подумал: не позволю — будут играть скрытно, ловить их — низко, я согласился дозволить, но с условием: по окончании игры каждое утро сообщать мне, чем кончилась игра, и если я признаю, что нужно возратить проигравшему, то исполнить, в чем и прошу дать мне честное слово. Богданов протянул руку



и дал честное слово; я добавил, что если буду обманут раз, то условие прекращается. Богданов подтвердил. Кто будет играть? Он назвал 8 человек, людей богатых, молодых, независимых. Я не находил препятствия.

Однажды приходит утром и говорит: вчера Кроткий проиграл 30 тысяч. Кроткому было только 18 лет, сын богатых родителей, но не отделен; отец в больших связях в Питере, много наделает шума; как несовершеннолетнему, я просил деньги возвратить. В тот же вечер проиграли ему обратно. Обыграли ремонтера<sup>61</sup>, тоже возвратили. Я видел пользу в дозволении. Игроки были молодежь, люди образованные, веселые, шалуны, необходимые в обществе.

На Троицу бывает большая ярмарка в Корсуне<sup>62</sup>, куда выводилось до двух тысяч заводских лошадей. Я — комендант ярмарки. Богданов с своею партией игроков просят позволения покутить три дня. «Господа, могут быть жалобы, моя обязанность, мой долг быть справедливым и строгим». — «Ну, ручаемся чем угодно, жалоб не будет, мы не дети». — «Ну, смотрите, чтобы не было худо, кутите». Слышу, действительно кутят, но никто не жалуется; конечно, главную роль играли красавицы. На третью ночь меня будят: пожар! Ярмарка вся составлена из плетня, лавки крыты лубом и рогожами, вся ярмарка вспыхнет как порох. Бегу, и что же я нашел: кутилам недоста- ло вина; француз, торгующий винами, запер магазин и лег спать. Кутилы поодаль дом обложили соломой, человек 100 поставили с водою кругом соломы, ночь была совершенно тиха; солому зажгли и отворили ставни у окон француза; тот, увидав пожар, торопился спасать и выкидывал ящики с вином, что и нужно было кутилам. Солома к приходу моему была потушена. Француз не жаловался, а я прекратил кутеж.

Один близкий мне человек, — не назову его, он еще здравствует, — страстно любил играть и проигрывал постоянно. Я взял слово с Богданова не играть с ним. Этот близкий мне человек гостил у меня. Я был в гостях; дают мне знать, что гость мой два раза приезжал за деньгами и подгулявши. Я отправился к Богданову; помню, он жил в Кирпичном переулке, отдельный новый дом в три окна. Сквозь ставни огня не видно и не слышно, суконные шторы, ворота на запоре. Тишина. Забор очень высок; я своему кучеру приказал нагнуться и с плеч прыгнул через забор. На дворе много саней, но ни одного кучера; я отпер ворота, а кучеру приказал стоять у крыльца. В прихо-

жей куча шуб и никого. В зале, со стаканом шампанского, старый грешник, проигравшийся коновод; в боковой комнатке, с свечою и с книгою под мышкою, маклер. Старый грешник хотел сказать: «Полк...», я пригрозил. Вхожу в другую комнату, Богданов мечет банк, кругом стола человек шесть. Только увидел меня Богданов, задрожали руки и карты рассыпались; остальные господа нагнулись под стол и что-то ищут. Я только сказал: «Вы, Петр Иванович, нарушили свое слово», собрал со стола все деньги, засунул пьяненькому моему гостю в карман, взял его под руку и пошел с ним вон. В комнатах была страшная жара. Я рассчитывал на быстрый удар. Моя шуба была в саях, я моего гостя, без шапки, завернул в свою шубу. Богданов вышел с товарищами и на морозе опомнились: «Да позвольте, полковник, так нельзя». Пошел! Слышу, гонятся за мною с бубенчиками. Улицы глухие, без фонарей, я велел пустить в карьер до фонарей. Уложил гостя спать, а сам явился, где был в гостях. Никто и не заметил моего отсутствия.

На другой день, утром, является Богданов, бледный, сконфуженный. [Я закричал: «Дайте ему в зубы, чтобы дым пошел!»]

— Полковник, чем же это кончится?

— Что такое, мой друг?

— Да что, вы были вчера вечером?

— Это у Петра Антоновича Ахматова? Там играли в фанты.

— Я говорю не об Ахматове, а что вы были у нас.

— Милый друг, если ты не пьян, то вчера перепил и бредишь. Я от Ахматова не отлучался, засвидетельствует тебе все общество.

— Да помилуйте, мы не сумасшедшие. Я пришел спросить, чем вам угодно кончить?

— Что такое кончить, я не понимаю?

Долго я тарантил, дурачил его; когда он стал просить прощения и извинялся тем, что они два раза прогоняли того, с кем я не приказал играть, но он побожился, что вы позволили ему играть. Тогда я объяснил Богданову, что никто не должен знать, что я был у них, в противном случае я обязан исполнить свой долг, а вы знаете какой?

— Знаем, в тюрьму, но на этот раз простите.

— Охотно прощаю, но кажется, я захватил деньги? (тысячи две).

— Что о деньгах, мы ему еще бы вдвое дали, только бы он не приходил к нам.

— Ну, Петр Иванович, на этот раз дело кончено, будьте осторожны.

— Полковник, я почитаю и все любим вас, умоляю, не приезжайте так неожиданно и одни; впрочем, мы приняли меры.

— Какие меры ни принимайте, но нарушите условие — я буду у вас.

— Не советую и умоляю: не являйтесь одни, как вчера.

— Это почему?

— Нам исход один, мы за себя не отвечаем.

— Ха, ха, ха, что вы говорите, а у кого вчера *le main* \* дроже и рассыпались карты? А что такое господа искали под столом? Вы все трусили.

— Клянусь вам, полковник, мы гнались вчера за вами, решившись на крайнюю меру.

— Все вы врете, вы видели меня без сабли, а не видели двух дуствольных пистолетов, спрятанных в карманах, да у кучера ножик в аршин (все я соврал). Куда вам!

Я простил, и игроки более не нарушали моего условия. Богданов после был губернским предводителем в Саратове; он сам рассказывал мне, что за соло в кадрили мать давала ему 10 тысяч; у старухи был большой кованный сундук, полный денег. Недавно я получил письмо из Саратова, что уже лет десять, как Богданов умер, проигравшись. Обыкновенная доля игроков!

[Как видите, рассказов без конца, прошу заметить: я не вывел на сцену ни одной дамы. Впрочем, симбирские дамы тогда, как, вероятно, и теперь, безупречны и святой жизни, следовательно, о них и рассказывать нечего, кроме засвидетельствовать мою глубокую благодарность и беспредельное почитание за отрадные воспоминания лучшего периода моей жизни. Пять лет не прошли, а промелькнули как сладостная улыбка на молодых устах красавицы! Не помню дамы, девицы, к которой не сохранилось бы мое поклонение.

Пустился я в рассказы былей, таких рассказов, пожалуй, на несколько томов. Старая голова не совсем охладела, все еще увлекается.]

Не помню точно времени, привезли в Симбирск из Тифлиса царевну Тамару <sup>63</sup> под мой строгий надзор. Не подумайте, что эта Тамара подобна Тамаре Лермонтова, нет, непохожа. Длинная, узкая в плечах и вся ровная до конца ног, лицо длинное,

\* Рука (франц.).

чисто армянское, лет под 50. Привезли плачущую, и сколько раз ни навещал ее, видел плачущую и всегда в одной позе: с своею служанкою сидят на полу и разбирают спутанный разноцветный шелк. Нельзя было не бывать у ней, а идти — наказание: не люблю плачущую женщину, еще бы хорошенькую, да и то ненадолго, молоденькие слезы не горьки. Не буду утверждать, долго ли надоедали мне слезы Тамары, но в приезд государя я решился хлопотать сбыть с рук плаксу. Составил пречувствительную записку и молил графа Бенкендорфа доложить государю о помиловании Тамары; это было вечером, граф отвечал: «Убирайся, спать хочу, поди к Адлербергу, он ходатай за всех [девок]». Я к добрейшему из добрых, графу Адлербергу; подав записку, стал неотступно просить его. Трудно верить, но прошу не сомневаться: прося графа Адлерберга, у меня капнуло слез пяток, право так! Граф с участием спросил: «Вы такое близкое принимаете участие?» Я не сказал, что она мне надоела. Благодарный граф тотчас пошел к государю и вынес помилование Тамары. Я приказал разбудить ее и объявил ей радость. Не буду рассказывать о сцене ее благодарности, право, и тут ничего не было приятного. Через 4 дня отправил царевну с жандармом с Тифлис, там выехали 20 карет встречать ее. Ну и дай Бог ей здоровья.

Пишет Дубельт: «Под твой надзор назначен бывший волынский губернский предводитель, граф Петр Мошинский. Облегчи его положение, что от тебя зависит».

Является Мошинский, небольшого роста, с самым добрым и скромным выражением в лице; мне казалось, что его забила судьба, но нет, он таков от рождения; ему лет 35, плешив, хорошо образован. Сослан был в Тобольск за 14-е декабря. В первый же час я спросил его, чего он хочет? Он не вдруг отвечал: «Я не знаю, чего я могу желать». — «Какое ваше самое большое желание?» Он после признался мне, что ему очень забавно казалось, что какой-то подполковник так самонадеянно спрашивает, но отвечал: «Мое желание одно — сблизиться с женою и дочерью». — «Ну, вот, видите ли, я через 4 месяца подвину вас к вашей семье, но с условием: вы должны всякий день непременно являться ко мне, дабы я не лгавши мог сказать, что я всякий день вижу вас. Я не всегда свободен, но вот вам комната, книги и трубка. Исполните вы, исполню и я».

Редкую почту не писал я о Мошинском и писал правду: что он вполне раскаялся, искренно предан государю и России,

сознает глубоко безумие поляков и проч. Прогрессивные мои донесения выходили ладны, и я собирался повести атаку — выслать Мошинского на юг. Вдруг курьер: граф пишет, чтобы я употребил все искусство осторожно, но непременно убедить Мошинского подписать прилагаемую бумагу. Читаю. Это не более, не менее — согласие Мошинского на развод со своею женою. Граф оканчивает, что он надеется на мою деликатность и участие к положению Мошинского.

Я даже не вдруг сообразил, что мне делать. Мошинский только и мечтал о счастье увидаться со своею семьею, а я должен — осторожно, деликатно, с участием, поднести для его подписи развод с любимою им женою! Прежде всего я мысленно проклинал всех полек (теперь пригляделся и не проклинаю). Не стану рассказывать, как я хитрил, подготавливая бедного Мошинского, но конец концов тот: несчастный, чтобы подписать, падал два раза в обморок, подписал и заболел. Желая сколько-нибудь вознаградить Мошинского, я каждую почту просил о переводе Мошинского на юг, добыл и послал свидетельство доктора, что необходим для него теплее климат. Ровно через три месяца со дня прибытия ко мне Мошинского он переведен в Чернигов, куда и выехала к нему дочь. [Он не переставал удивляться моему могуществу, но после не то еще увидел.]

С этого времени я забыл о Мошинском. Я — в Киеве. В 1839 году ко мне на квартиру явился какой-то поляк и объясняет, что меня очень любит Петр Мошинский.

— Где теперь Петр Мошинский?

— Он с дочерью в Чернигове.

— Что же вам от меня нужно?

— Я еду к Мошинскому, желаю быть управляющим в одной из его деревень, прошу от вас рекомендательного письма.

— Письма вам не дам, потому что вас не знаю; поезжайте, скажите Петру, что я его люблю и что мы скоро увидимся, он даст вам место и без письма.

Перевести Мошинского в Киев мне было не трудно: тогда более сотни поляков разослали по заговору Канарского. Мне не трудно было убедить Бибикова для примирения с дворянами представить о пользе перевода Мошинского в Киев. Дозволено. Мошинский бросился ко мне на шею и со слезами радости называл меня своим благодетельным провидением. Дочь его — предоброе дитя. Явился граф Шенбок; мне крайне не нравился,

но какие-то старинные фамильные связи — дочь Мошинского вышла за Шенбока, который сделал ее несчастною, промотал ее одиннадцать тысяч душ крестьян и бросил ее, бедную!

Перед свадьбой я же хлопотал и писал представление о помиловании Мошинского. По симбирской привычке Мошинский аккуратно, всякое утро приходил пить кофе. Когда пришло помилование, он пришел ко мне утром и объявил, что уезжает, обнял меня и просил принять на память дружбы наследственный от бабушки фермуар<sup>64</sup> и несколько десятков тысяч рублей. Бриллианты блестящие меня не пленяли, но в середине был невиданный, огромный восточный густой изумруд. Любовь моя к этому камню, должно быть, родилась со мною; я полюбовался изумрудом, поцеловал Петра Мошинского и возвратил ему фермуар. Просьбы его, даже слезы, доказательства, что это не деньги, — ничего не помогло. Более я не видался с Мошинским. Получил от него письмо, он начинает: «Родился графом, крестился графом, однако я графом никогда не был». Вот до чего обрусел человек: поляк и не хочет быть графом!

Присланы ко мне под надзор с десятков поляков по мятежу 1830 года<sup>65</sup>: два доктора, один очень хорошо учился, он и теперь живет недалеко от меня, фамилия его Станкевич; присылает ко мне поклоны, но сам не едет, может быть, и я не поехал бы на его месте. Поляки были очень смиренны, был и ксендз. Было бы что и рассказать о них, но когда-нибудь после.

[Да вот забыл рассказать о дуэли. Сидим мы вечером у Бестужевых. Губернатор Загряжский говорит: «Я расскажу вам одну мою глупость». Я сидел довольно далеко и шутя сказал: «Только одну?» Поутру просит меня Загряжский к себе. Прихожу, Загряжский принимает эффектную позу и говорит: «Вы вчера меня оскорбили». — «Чем?» — «Сказали, что я могу не одну глупость рассказать». — «Разве это неправда, разве мало вы рассказываете мне своих глупостей?» — «Я не позволю оскорблять себя». — «Очень жалею, если вы приняли шутку за оскорбление». — «Я прошу удовлетворения». — «Что это значит?» — «Я вызываю вас на дуэль!» — «Вот видите ли, я моряк, а как существует флот, дуэли ни одной не было, мы презирали этот способ удовлетворения, но по вашему гвардейскому кодексу вызываемый избирает оружие, я избираю шпагу, потому что я первый боец». Губернатор и жандарм на дуэли — это потеха для публики и огорчение государю; то лучше выйти в отставку и драться. Тут же был и граф Толстой.

Кто удостоился прочесть о характере Загряжского, тот, конечно, видит, что эт[о] была старинная гвардейская замашка Загряжского, серьезного и быть не могло, но я спросил, чего ему хочется? Загряжский желал, чтобы я извинился. «Жалею, что я сделал вам ненамеренную неприятность. Может быть, еще чего-нибудь хотите?» — «Доволен». Тем и кончилась затея Загряжского. После несколько раз я шутил над ним, припоминая глупую его шутку.]

Приехал новый губернатор, Иван Петрович Хомутов<sup>66</sup>. Он приехал шумно, весело; ко всем визиты, к нему все — противоположность Жиркевичу.

Хомутов хорошей наружности, лет под 50, высок, плешив, с большим носом — весьма представительная личность, любезен, веселонравен, любит общество.

Жена его — маленькая горбунья, но зато урожденная Озерова<sup>67</sup> — это нужно заметить. Детей у них не было.

Хомутов был полковником в известном елисаветинском деле<sup>68</sup> — Паскевич доносил о позиции, но, говоря о левом фланге, писал, что «он слаб, но там у меня храбрый полковник Хомутов и я спокоен». Хомутов хранит рескрипт<sup>69</sup>: «Храброму полковнику Хомутову с товарищами» и проч. Хомутов известен был в армии тем, что ни разу не поклонился ядру. И это нужно заметить!

С губернатором Хомутовым, кажется, в две минуты я стал другом — прелюбезный человек. Перед приездом Хомутова в Симбирске образовалась шайка воров, сначала мелочных, а потом смелых до дерзости. Я шел с Хомутовым в первые дни его губернаторства вечером и рассказывал ему о деятельности воров; он сказал громко и самонадеянно: «Я всех их уничтожу». Я предупредил, что неравно кто-нибудь лежит за забором и сделают что-нибудь в насмешку ему. Поутру получаю от него записку: «Пожалуйста, не рассказывайте, подлецы украли из прихожей мою шубу; если можно, помогите найти». Шуба еще до света была разрезана на несколько частей и вывезена в разные заставы.

Воры дошли до крайней дерзости: недалеко от моей квартиры забрались купцу в дом и, когда тот хотел вылезть в окно, его в окне придержали за руки внутри, а с улицы за ноги и хорошо высекли розгами. Губернатор сознавал бессилие своих средств. Я советовал ему написать ко мне письмо с изложением, что средств городской полиции недостаточно для уничто-

жения дерзкой шайки воров в городе, а потому и просит моего содействия. Я просил его отдать полицию в мое распоряжение. Лучшая тайная моя полиция в городе были кантонисты<sup>70</sup>, с которыми я сносился через моих писарей.

Симбирск, между Волгой и Свиягой, разделяется преглубоким оврагом, который служил удобным помещением навоза со всего города. В одном конце на дне оврага жили в лачужках отставные и бедные солдатки; тут, в тайниках, был склад вещей мелкого воровства. Моя тайная полиция дала мне знать, что в эту ночь шайка будет праздновать у одной вдовы-солдатки, в овраге. Около 11-ти часов темной ночи составил я стратегический план: полиция употреблена для фальшивой атаки, а жандармы — молча и скрытно в засаде, поперек оврага. Сам я — в половине высоты крутого бока оврага, в углублении, где брали глину, на тропинке. Полиция подняла крик, воры бросились бежать, но попали в крепкие руки жандармов; один вор прорвался и бежал по тропинке мимо, не заметив меня; бок оврага крут, вор бежит и чем-то упирается правой рукой. Я пропустил его мимо себя, быстро догнал и неожиданно для него так ловко и сильно ударил по шее, что он, кувыркаясь, погрузился в жидкий навоз; я крикнул жандармов, и те взяли его. Оказалось, что это был бойкий атаман, опирался он пистолетом. Шайка вся была в плену. Дуло пистолета было полно земли; когда вымыли, на дуле оказалась золотая надпись: «Бенкендорф». Послал я пистолет шефу. Дубельт писал ко мне, что этот пистолет выпал из седла, когда граф шел в атаку под Лейпцигом<sup>71</sup>, товарищ пистолета сохранился, и шеф желает знать, каким путем пистолет очутился у вора в Симбирске. Но я мог узнать только, что вор купил пистолет на толкучке, в Тамбове. Для пистолета-то я и рассказал этот случай.

В начале Великого поста ко мне курьер — предписание: «Немедля отправиться в Саратов, совершенно секретно, и находиться там в распоряжении генерал-адъютанта князя Лобанова-Ростовского».

От князя письмо: «Дружище, в Саратове не сладят с раскольничьим монастырем; государь посылает меня, а я выпрошу тебя у государя в помощь, не сердись. Сделай там *подготовочку*, на которые ты такой мастер, и пришли, у меня будет уложен дормез — явлюсь. До свидания».

*Совершенно секретно* — от кого? Значит, от целого света. На курьерских помчался я по пензенской дороге, проехав верст



100, свернул на проселок и выбрался на саратовскую почтовую дорогу. Дорога была адская, несколько раз у извозчиков лилась кровь из горла, бросал их на дороге и доезжал с жандармом. Верстах в сорока не доезжая до Саратова была деревня брата моей жены. Въезжать в Саратов на курьерских секретно — нельзя, я взял в деревне брата рогожную кибитку и в ясный полдень по улицам почти уже без снега въезжал сам в форме, а жандарму, тоже в форме, приказал идти пешком, никто не обратил внимания. Тогда Саратов был не то, что теперь, тогда Саратов был — огромная деревня. Остановился я в только что построенном маленьком (в три окна) трактире «Москва». Живу три дня, никто меня не спросит, как будто я не в городе. В эти три дня я узнал все, что делается в Саратове и что делалось с монастырем. Трактир — благодарное поле для узнавания общих секретов. Дело вот в чем: за Волгой, на реке Иргизе, был старинный раскольниковый монастырь<sup>72</sup>; монастырь благословил Пугачева на русское царство и был повсеместно в большом уважении. Последовало высочайшее повеление: на месте монастыря образовать уездный город Николаевск. Назначен штат чиновников и духовенства. Раскольники отказались повиноваться. Ездили советники, жандармский штаб-офицер — всем отказ. Поехал сам губернатор, но, видно, не из храбрых: в какой-то домик вызвал архимандрита<sup>73</sup> монастыря и говорил с ним, оградившись от него двумя жандармами с обнаженными саблями, скрещенными перед особой губернатора. Преэфектная картина, когда я скажу, что злодей-архимандрит был маленький старичишка, для уничтожения которого достаточно одного кулака. Согласия не последовало. В Саратове квартировала артиллерия; помню, командир — безногий генерал Арнольди. Губернатор потребовал, чтобы артиллерия привела в повиновение слушников. Пришла артиллерия к монастырю. Раскольники, сцепившись руками и ногами, покрыли всю площадь около церквей телами своими, как черепом. Говорили об одном нашем фанатике, который умолял об ядрушках, но его не послушали. Артиллерия тихо и скромно проехала близ тел, говорят: ни крика, ни ропота не слышали от раскольников! На этом деле и остановилось дальнейшее распоряжение губернского начальства. Узнал я много злоупотреблений в городе, все интриги, а сплетен, сплетен!

На четвертый день явился к губернатору, назвал свою фамилию; губернатор спросил:

- Не Иваныч ли?  
— Да, я сын Ивана Дмитриевича.  
— Так поди ко мне, ты мой племянник, — и обнял по-родному. — Давно ли ты приехал?  
— Четвертый день.  
— Как же это я не знал?  
— Не мудрено, я живу тихо.  
— Зачем приехал?  
По своему частному делу.  
— Какое у тебя дело?  
— Покупаю имение.  
— Bravo! Я тебе помогу; далеко имение?  
Я назвал имение брата.  
— Очень рад. Где остановился?  
— В трактире «Москва».  
— Переезжай ко мне, а теперь будем обедать вместе.

Губернатор — Степанов; он написал несколько удачных романов и повестей: «Постоялый двор», «Чертовы салазки» и проч. Толстяк, вдовец, под 60, человек умный, приятный, но, право, — не губернатор.

В разговоре с дяденькой я узнал все дело с монастырем, но, конечно, без крестообразных сабель. Я представился как заинтересованный монастырем, что пожелал съездить; хотя и отговаривал дядя, находя опасным, я для отвращения опасности упросил дать мне открытое предписание, чтобы уездные полиции оказывали мне содействие по моему требованию.

После обеда я уже отправился в монастырь. В ближайшей к монастырю деревне был штат чинов будущего города. Разговаривая со всеми и особенно с умным стариком-крестьянином, при разных рассказах, обратила мое внимание одна повторяющаяся фраза: «Раскольники причащались и присягали *не оставлять монастыря добровольно*». Значит, могут оставить монастырь *не добровольно* — не нарушив присяги. Более навел меня на эту мысль квартальный <sup>74</sup> Голяткин, из писарей-кантонистов.

Так как Лобанов пишет ко мне о *подготовочке* только, а не о личном моем действии, то я счел правильным сначала явиться переодетым и взглядеться в дело, а далее действовать смотря по обстоятельствам.

Монастырь раскольников, в собственном смысле, — не монастырь, а сброд беспорядочных лачужек, в которых жили

мужчины и женщины вместе. Все население состояло из беглых: солдат, крестьян, преступников из Сибири, из тюрем. Говорили, было более пяти тысяч, управлял всем старичишко архимандрит, но власть его была почти номинальна, управляли всем фанатики-начетчики<sup>75</sup>. Приношения в монастырь были громадные, из разных мест, но главные и постоянные — из Оренбургской губернии и с Дона. Посреди большая площадь, на которой стояли каменные церкви, весьма хорошей архитектуры.

Хотя я приехал как любитель, но открытое предписание, в случае, давало мне власть. Я еще в трактире знал, что вся полиция на откуп у монастыря, надеяться на помощь таких людей и действовать с ними открыто — опасно. Вообще, уровень чиновников Саратовской губернии был весьма невысок.

Опираясь на фразу присяги: не оставлять *добровольно*, я советовал чиновникам собрать сколь можно более отставных и понятых, приготовить носилки.

В монастыре знали о каждом движении против них. Утром сняли свои караулы у околицы и на площади образовали *черепаху*. По моему совету попробовали: с краю черепахи одному раскольнику разняли руки и ноги и, положив на носилки, вынесли за околицу. Только увидал раскольник, что он вне околицы монастыря, вскочил с носилок, перекрестился на монастырь и только пятки его мелькнули, так он удрал в степь. Понятно, началась механическая работа. Таким способом прочистили широкую дорогу к церкви, прошло с пением наше духовенство, а как окропили монастырь святою водою, начетчики сказали, что церковь опоганена, и монастырь стал очищаться день и ночь. Говорили после, что раскольники образовали свой монастырь в пустынях к Каспийскому морю.

И на этот раз серьезное дело разрешилось фарсом. Возвратясь в Саратов, я уверил дяденьку, что я только подъезжал к монастырю и не знаю, что там делалось.

Немедля послал жандарма курьером к князю Лобанову-Ростовскому и в конце письма просил извинения, что дело кончилось без него.

Между прочим, чтобы продолжать секрет, я получил от брата доверенность: имение его имею право заложить, продать и проч. Начав залог, гражданская палата потребовала с меня 30 коп. с рубля; поторговавшись, согласились на 25 коп. и только для меня, и так были добры, что показали мне дележ

этих денег, кому и сколько с рубля. Часто мне приходилось писать к шефу, но слыша, что саратовская почта очень любопытна, я сначала посылал чрез коммиссионерство, а потом чрез госпиталь; в Питере, распечатав и увидав конверт к графу, доставляли. Уехать из Саратова без предписания графа я не имел права. Дядю губернатора я полюбил и, желая ему добра, советовал выйти в отставку, — не согласился. Квартальному Голяткину приказал выйти в отставку и уехать.

Возвратился жандарм — от князя тысяча благодарностей с поцелуями, много шутит и пишет очень весело. Мчатся по злой распутице — мало удовольствия. Жандарму князь дал 25 р. и приказал показать ему, что дормез совсем уложен и чтобы он об этом сказал мне. Шеф благодарил и разрешил мне возвратиться в Симбирск.

После меня довольно было переборки в Саратове: дядю моего исключили из службы с тем, чтобы никуда не определять<sup>76</sup>; николаевскую полицию предали суду; жандармского штаб-офицера исключили из корпуса жандармов и проч.

Саратовские чиновники, в особенности полиция того времени, мне очень не нравились, казались апатическими, на всех какой-то тон холодной формы, ни малейшей энергии к делу; можно судить по тому, что я, жандарм, приехал, остановился в трактире, прожил трое суток и полиция не знала, хотя и существовал полицмейстер. Таков порядок показался мне во всей губернии, даже жандармская команда — сонная!

Из саратовских я видел впоследствии одного только бывшего квартального Голяткина. В 1838 году нашел его младшим полицмейстером в Киеве. Весь Киев возненавидел старшего полицмейстера, сделали исправляющим должность полицмейстера Голяткина. Похвастаю — Голяткин еще жив. Когда вступил он в должность полицмейстера, пришел ко мне и просил научить его быть любимым полицмейстером. Голяткин пробыл 10 лет полицмейстером, был любим жителями, что редко в этой должности, вышел в отставку по своему желанию, к общему сожалению; о совете моем бывшему кантонисту позвольте умолчать, секреты на улице не валяются.

Возвращаясь из Саратова в Симбирск, поехал по берегу Волги; это было в конце Вербной недели. Проезжая Сызранский уезд, узнаю — бывшие казенные, теперь удельные крестьяне бунтуют; по рассказам, уже тысяч до восьми не повинуются. Такие бунты разливаются как пожар. Я к губернатору

Хомутову, оказалось, что он ничего не знает. Я предложил и торопил Хомутова, чтобы он обделал дело на Страстной <sup>77</sup>, пока народ трезв. Хомутов упросил меня ехать с собою. С ним отправился хранитель его канцелярии, Раев.

Приехали в главную бунтующую деревню, названия не помню. Народу очень много. Ловкий мой жандарм через какого-то родню, отставного солдата, узнал, что главный бунтовщик — Федька, и указал мне его. Мужичонко небольшой, плотный, лет 35-ти, в синем кафтане, красный кушак, сапоги с напуском и новая шапка из мерлушек. Стоит козырем, около него кучка народа.

Рано утром, через сотских, я приказал собраться крестьянам, что им будет читать закон губернатор. Послушались, собрались и стали в роде фронта. Я сказал губернатору, что, проходя по ряду, против главного коновода Федьки я кашлянну, но советую не трогать: при массе и бранить не должно, а всякое действие опасно. Проходя — Федька стоял в середине ряда — я только кашлянул, как губернатор остановился, вызвал Федьку и молодцом крикнул:

— Кнутьев! Вот я покажу тебе, как бунтовать! Раздеть его!

Только тронулись за Федьку, как вся масса гаркнула и бросилась выручать Федьку. Мой храбрый губернатор — бежать, Раев за ним. Толпа с гиком гналась за ними, и губернатора с правителем выгнали за околицу. Я остался на месте: крик, шум, я только указываю, чтобы не дотрагивались до меня, никто не дотронулся; напирают задние, около меня падают, смотрят добро и смеются. Разошлась толпа, я нашел губернатора в постели, болен, кровавая дизентерия.

Вижу, дело очень плохо; послал за солдатами с боевыми патронами и приказал явиться 12-ти жандармам без коней. Целую ночь придумывал, какую бы штуку выкинуть, а без штуки нельзя, потому что силы нет. У татар вывезли меня богатые торговцы, а тут нет богатых и нет трех-четыре-х жен у них. Проклятые русопетки, преупорные и озлобленные, а что еще хуже, раскуражились победою над губернатором. На всякий случай приказал исправнику собрать поболее понятых и отставных.

Против церкви стояли отдельно пять домов, по обыкновению рядом с крытыми дворами, внутри разгороженными плетнем; плетни выломать, и образовался один крытый двор из пяти. Понятых спрятать ночью во дворе. Заготовить веревок и розог.

Рано утром приехали команды. Спиною к домам, в одну шеренгу, выстроил 40 солдат, между церковью и солдатами собрал бунтовщиков, сказал им убедительную речь и спросил: повинуются ли? В один голос: «Нет, не повинuemся!» — «Вы знаете, ребята, по закону я должен стрелять». — «Стреляй, батюшка, пуля виноватого найдет, кому что Бог назначил». — «Слушайте, братцы, — я снял шапку и с чувством перекрестился на церковь, — я такой же православный, как и вы; стрелять никогда не поздно, мы все под Богом; может, найдется невиновный, то, убивши его, дам строгий ответ Богу, пожалейте и меня, а чтоб не было ошибки, я каждого спрошу, и кто не покорится, тот сам будет виноват». Обратился к первому:

— Повинуешься закону?

— Нет, не повинуюсь.

— Закон дал государь, так ты не повинуешься и государю?

— Нет, не повинуюсь.

— Государь — помазанник Божий, так ты противишься Богу?

— Супротивляюсь.

Крестьянина передали жандарму с словами: «Ну, так ты не пеняй на меня!» Жандарм передал другому; жандармы были расставлены так, что последний передавал во двор, там зажимали мужику рот, набивали паклей, кушаком вязали руки, а ноги веревкою и клали на землю.

Я имел терпение каждому мужику сделать одни и те же вопросы, и от каждого получал одинаковые ответы, и каждого передал жандармам, и каждого во дворе вязали и клали. Процедура эта продолжалась почти до вечерень. Последние десятка полтора мордвы и русских покорились, их отпустили домой. Ночь не спал, не пил, не ел, сильно устал, но в таких делах успех зависит от быстроты.

Пришел во двор, все дворы устланы связанными бунтовщиками. «Розог! Давайте первого». Выводят старика лет 70-ти. «Повинуешься?» — «Нет». — «Секите его». Старик поднял голову и просит: «Батюшка, вели поскорее забить». Неприятно, да делать нечего, первому прощать нельзя, можно погубить все дело. Наконец, старик умер, я приказал мертвому надеть кандалы. Один за другим 13 человек засечены до смерти и на всех кандалы. 14-й вышел и говорит: «Я покоряюсь». — «Ах ты, негодяй, почему ты прежде не покорился? Покорились бы и те, которые мертвы, розог! Дать ему 300 розог».

Это так подействовало, что все лежащие заговорили: «Мы все покоряемся, прости нас». — «Не могу, ребята, простить, вы виноваты против Бога и государя». — «Да ты накажи, да помилуй».

Надобно знать русского человека: он тогда искренно покорен и спокоен, когда за вину наказан, а без наказания обещание его ничего не стоит, он тревожится, ожидает, что еще с ним будет, а в голове у него — семь бед, один ответ, того и гляди, наглупит. Наказанный — боится быть виноватым вновь и успокаивается.

Приказал солдатам разделиться на несколько групп и дать всем бунтовщикам по 100 розог под надзором исправника. Потом собрал всех, составил несколько каре и объявил: «Я сделал, что мне следовало сделать по закону, простить их может только губернатор; он может всех в тюрьму, там сгниете под судом». — «Батюшка, будь отец родной, заступись; как Бог, так и ты, перемени гнев на милость». Я поставил их на колени, научил просить помилования и дал слово, что буду ходатаем за них, но губернатор очень сердит. Кричат: «Заступись, батюшка, выручи!»

Прихожу к губернатору, лежит болен, не знает, что я делал. Мне доложили, что засеченные ожили, их обливали водой, и я повеселел. Говорю губернатору:

— Пойдемте прощать.

Не верит.

— Только прошу, долее сердитесь, не прощайте, а простите только под моим ручательством за них.

Подходя к фронту, губернатору, хотя и штатскому: «На караул!», барабанщик дал дробь. «Здравия желаем вашему превосходительству!» — все для эффекта. Подходим к группам, я снял шляпу и почтительно, низко кланяюсь, представляю раскаявшихся. Виноватые в один голос: «Помилуйте, ваше превосходительство!» — «Не могу, вы так виноваты, что вас будут судить». А мужики, кланяясь в землю, твердят: «Помилуй, ваше превосходительство, ни впредь, ни после того не будет». А я-то униженно, без шапки кланяюсь и прошу помиловать. Губернатор гневно сказал, что он бунтовщикам верить не может и согласится только тогда, если кто за них поручится.

Я обернулся к мужикам: ручаться ли за них?

Как заорут в один голос: «Ручайся, отец, не бойся, не выдадим, ручайся, батюшка». — «Ребята, смотри, чтобы мне не

быть в ответе за вас». — «Отец ты наш, вот-те пресвятая! Положим жизнь за тебя, ручайся!» Я поручился. Губернатор умиловатился, простил.

Я распустил всех по домам, приказал сотским накормить солдат и жандармов. Откуда что взялось: снесли столы, зажгли лучины, явились десятки горшков щей, каши, кисели с сытой, все постное; вероятно, было готово для мужей, но им не удалось поесть, съели солдаты. В тюрьму пошел только один Федька.

Только я вошел к губернатору, он, как чисто русский человек, поклонился мне плешивой головой в землю; признаться, я отскочил и, обняв его, поцеловал.

Вот и справедливо, что человек не во всех случаях равно храбр. Мой губернатор был известным храбрецом во всей армии, а перед безоружными мужиками струсил и бежал. Да и ваш покорный слуга, кажется, струсил и не мог отвечать, сколько лет служит в Симбирске.

Невзирая на ночь, губернатор торопился ехать домой, показывает мне письмо от своей жены, она пишет: «Ваничка, брось все, я лежу в ванне, со мной конвульсии; я умру, если ты скоро не приедешь» и проч. Хомутов спрашивает: «Кажется, и вы получили письмо?» Я только тогда вспомнил о письме — не до того было, — вынул свернутую на уголок серую бумажку и прочитал. Хомутов спросил: «Можно прочитать?» — «Извольте». Моя 19-летняя худенькая жена писала: «Шишмарев (адъютант) сказал, что вы требуете солдат с боевыми патронами; может, есть опасность? Не думайте обо мне, я буду гордиться всю жизнь, что муж мой исполнил свой долг». Иван Петрович так и ахнул: такая пичужка и такого геройского характера. «Подарите мне это письмо». — «Зачем?» — «Я вставлю в рамку и буду хранить». После этого мой Хомутов чуть не молился на мою жену.

Для читателя, разрешилась история новым фарсом. Но, однако, предположить, что это не была бы Страстная и такой упорный народ не был бы трезв, может быть, из фарса вышла бы трагедия и сколько было бы несчастных. Эту историю я докончу.

Наступило время жатвы хлеба; староста мой уведомляет меня, что пришли какие-то люди и просят позволения сжечь хлеб. Я поскакал в деревню, оказалось, что это сызранские бунтовщики, пришли с женами и из благодарности за мою доб-



родетель хотят сжать хлеб мой. Меня не могло не тронуть такое доброе и честное русское сердце. «Да ведь вас побили, друзья мои?» — «Эх, батюшка, что такое поучили, а как бы не ты, так и теперь бы маялись в тюрьме и разором разорились бы; мы за тебя Богу молимся». Жены при этой оказии всплакнули от воображения, что разорились бы, если б мужья попали в тюрьму. От этой теплой сердцу взятки я отказаться не мог; гости не позволили даже жать барщинским, в два дня все сжали. Это было в селе Чамбуле, Собакино тож, Сенгилеевского уезда; теперь принадлежит Федору Иванову Ермолову. Для гостей я приказал убить несколько баранов, быка, напечь пирогов, по чарке водки и донес откровенно шефу.

Вот и судите о русском человеке: он сквозь наказание видит доброту. Наказание ему нипочем, оно кратковременно, только не отдавай его пиявкам полицейским и судейским. Наказание он считает родительской наукой, а хозяйственное разорение — нравственная смерть. Есть два способа изучить народ: один в кабинете, а другой на практике. Который лучше? Думаю, в кабинете умнее и основательнее.

По усмирении написал князю Лобанову-Ростовскому, что чуть-чуть не удалось было повидаться мне с ним, и описал ему коротенько. Он очень мило отвечал: «Подготовочка опять удалась! Хват, молодец, доложу государю» и проч.

В конце 1840-х князь ехал в Киев, писал, что едет ко мне в гости, давно не видались. Кажется, в Козельске князь умер от холеры.

От каких беспорядков было послушание против удельных? Говорят, дым без огня не бывает. Разговаривал с умными и зажиточными крестьянами, как им лучше — теперь или прежде? Отвечали:

— Теперь не в пример легче. Бывало, в год раз наедет исправник, выберешь жирного барана, взвалишь на плечи да прешь, ажно лоб не раз взопреет; а теперь наедут эти господа удельные, то возьмешь хворостину да сгонишь что есть на дворе, и легко и скоро. Теперь нам несравненно легче. Мы скоро и одежки лишимся, какая была.

Обращусь еще к прекращению послушания в Сызранском уезде. Меры для усмирения по нынешним порядкам покажутся жестокими, варварскими. Совершенно согласен и не противоречу. Попробую прекратить это послушание новейшим филантропическим способом. Взбунтовались несколько деревень; уездная

полиция бессильна. Приехал губернатор — выгнали. Местной воинской команды почти нет. Следовательно, по особо важным делам едва ли вье[х]ал бы в столицу. Через три дня Пасха — разрешение на водку. Успех против губернатора и бессилие власти возбудили бы надежду в соседних уездах. Неудовольствие общее, потому что причины одни. Ослушание превращается в бунт и так быстро, как пожар, вначале незначительный, охватывает всю массу, могущую гореть. Надобно принять в соображение, что удельных в губернии до 400 тысяч. Надобны войска, а ближе 400—500 верст нет солдат. Прибывшее войско, без сомнения, усмирит, но усмирение пьяных людей может обойтись не без потерь в людях. Но пока достигнут успеха эти меры, волнующийся народ, наполняя кабаки, не обсеет поля. Положим, [проверить], что усмирение произойдет без потерь в людях, очень трудно, судя по ожесточению. Следствие, что покажет следствие? Все виноваты и виноваты равно, это видно из одинаковых ответов каждого на мои вопросы. Всех нельзя посадить в тюрьму, всех судить нельзя — амнистия. Зная русско-го простого человека в одиночку и в массе, амнистия — прощение без наказания — не примиряет его ни с собою, ни с причиной, производшей неудовольствие. Тюремны полны, ссылка — семьи разорены окончательно. Разорившийся крестьянин не справится в одно поколение. Неуважение и злоба с горьким недоверием выросли к своему начальству, которое хотя и прекратит причины к неудовольствию, но недоверия из сердца не вырвешь. Прибытие войска, усмирение по всей губернии — пройдут месяцы. Следствие, суды протянут год. Год беспокойства, тревоги, пьянства народа едва ли исправит нравы. Еще повторяю: раз разоренный крестьянин потерян почти навсегда. Я из всех зол выбрал меньшее. Где родилось неповиновение, там усмирено в два дня. Усмирено главное гнездо — покорились все. Что не осталось горечи, ожесточения, видно из добровольной благодарности к усмирявшему, благодарности, выразившейся в простой, но искренней русской форме. Которая система лучше, варварская или современная филантропическая — не мне решать.

Возвратившись в Симбирск, узнаю: пока я был в Саратове, произошел разрыв между обществом и домом губернатора. Неприятное известие, но какая причина? Узнавши болезнь, может быть, найдется лекарство.

Расправив крылья, я узнал от дам — родных моих друзей (бывают и двоюродные друзья), что всему причиною губерна-торша. Она неосторожно сказала, что для нее мелко симбирское общество, что она по рождению своему *Озерова*, привыкла быть в высшем аристократическом обществе. Этого было довольно. В симбирском обществе, действительно, было много фамилий, происшедших и носящих исторические имена; для симбирского общества сочинитель трагедий неважная личность; симбирские дворяне считают своими: Карамзина, поэта Языкова, Дмитриева и многих других — что для них *Озеров*?

Причина, оскорбившая общество, оказалась важна и глубока. Говорили: если мы низки для нее, то пусть и сидит одна на высоте, мы без нее жили и будем жить, и проч., и проч. В бунтах народа немудрено найтись, а между дамами — подготовки не придумаешь. Вообще впутаться в историю между дам — все равно, что попасть рукой между дверей, неизбежно выйдешь побитым. Я осторожно переговорил с Хомутовым, он, смеясь, сказал: «Бабы сплетни! Вот я дам им хороший бал и помиримся!» Я подумал: посмотрим!

Перед балом Хомутов сделал визиты, разосланы билеты. Хомутов просил меня приехать пораньше. Моя жена не выезжала по нездоровью.

Дом прекрасно освещен, губернатор и его супруга разряжены, полный хор музыкантов, в отдельной комнате накрыт ужин на 70 или 80 приборов, прислуги много, все парадно, обдуманно, подъезд иллюминирован, полиция, жандармы — все важно, по-губернаторски. 10 часов, едут кареты, засуетились встречать. Кареты проехали около дома — мимо. Мы ходим, разговариваем, а кареты то и дело едут — мимо. Ожидание гостей стало неприятным, я попросил, чтобы хотя музыканты играли. Музыканты играют, а кареты грохочут мимо. Минула полночь, хотя бы кто-нибудь показался. Губернатор не в духе, губерна-торша молчит; кончилось тем, что мы трое сели за стол и ужинали одни — парадно! Тем и кончился бал, примирение не состоялось.

На другой день узнаю, что было несколько вечеров в городе; кареты мимо дома губернатора ездили пустые — злая насмешка. Разрыв общества с губернатором непримиримый. Много хохотали, когда я рисовал ожидание гостей, игру музыкантов и, наконец, парадный ужин. Не буду передавать, что говорили в обществе. [Я не сплетник.]

Написал я к шефу об отношениях общества к губернатору и о причине, но, искренно любя Хомутова, просил, как достойного перевести туда, где менее дворянства. Через год он был переведен в Вятку <sup>78</sup>.

В других губерниях дворяне могут быть так же благородно горды, но так дружна и единодушна вся масса общества, как общество симбирское, едва ли где есть.

Приехал в Симбирск вице-президент уделов, сенатор Лев Алексеевич Перовский. Я к нему. Половина зала чиновников. Только я вошел, он раздвинул толпу и придворно-дипломатической, почти неслышной походкой повел меня одного в гостиную, усадил меня на софу, а сам сел в кресло. Говорил очень много об услугах моих уделу и так хвалил меня, что я только кланялся и думал скорей уйти; когда я откланялся, Перовский проводил меня до прихожей.

Хотя бы я и знаменитость был, но такой прием и столько льстивых слов поселили во мне недоверие. Я учредил за ним надзор.

Первое впечатление делает Перовский неприятное — весьма! При среднем росте, сухощавости, движения вялы, походка деланная, продолговатое лицо кажется изношенным, цвет кожи без жизни, с желтоватым отливом, выражение лица кажется застывшим. Глаза, обращенные куда-то, но никогда на человека, с кем говорит, — производят полное недоверие. Вообще, после разговора с Перовским, разговора, переполненного льстивых похвал мне, я вынес тяжелое впечатление, как о человеке недобром, и избегал случая увидеть его в другой раз.

Мне кажется, мы с Перовским имели обоюдную антипатию. Забегу вперед. Перовский — министр внутренних дел, а я все тот же подполковник в Киеве; ничего общего между нами не было, как у слона с комаром. Я был представлен к награде двух тысяч рублей ежегодно, пока на службе. При представлении государь изволил спросить о мне: «Не из жандармов ли?» Бибилов отвечал утвердительно. Государь изволил сказать: «Я его знаю, это прераспорядительный штаб-офицер», и удостоил награды. Я Бибилову не рассказывал о прежней своей службе, и он был удивлен, что государь изволил вспомнить о такой инфузории. Возвратясь, Бибилов очень интересовался о причине милостивого внимания ко мне государя и спросил:

— Почему же вы мне не сказали прежде?

— Зачем? Что было, то прошло; [мое дело теперь — угождать вам.]

— А за что ненавидит вас Перовский?

— Почему вы так думаете?

— Перовский вечером сидел у меня, и мы курили сигары у стола; я рассказал ему, как я был удивлен, когда государь изволил вспомнить о вас. При этом я почувствовал, что стол задрожал, и Перовский вскрикнул: „Как, так при вас этот злодей? И вы его терпите!“ Я объяснил ему, что, напротив, я вижу в вас скромного и очень искреннего офицера. „Ради Бога, не держите его, он много наделает вам неприятностей; послушайте меня, удалите этого вредного и злого человека“. Я смеялся, но Перовский в гневе дрожал. Пожалуйста, расскажите откровенно, что между вами могло быть?

Я рассказал. Бибилов спросил:

— Вы не боитесь Перовского?

— Я никого не боюсь, я горжусь, что удостоился ссоры с министром; если б он был менее противен мне, я перешел бы к нему служить: он полюбил бы меня.

— От чистого сердца не советую.

Перовский объехал во всех уездах удельные имения. Просьбы крестьян выслушивал, но не удовлетворял, находя чиновников правыми; часто заговаривал о мне, а в городах спрашивал у откупщиков и купцов, какие со мною отношения. Но по пословице: «Как чесноку не ел, то и не пахнет». Петербуржцу мерещилось, что в провинции все должны брать взятки.

Перовский уехал, я не видался с ним.

Курьер: шеф приказывает — сколь можно поспешнее явиться к нему. В четверо суток я был в штабе. Дубельт показывает мне большой донос на меня государю, подписан: «Министр двора кн. Волконский, с донесением Перовского». Прочитав, я видел желчную руку Перовского. Резолюция государя: «Вызвать Стогова и потребовать объяснения».

Дело весьма серьезное — стоять перед государем с князем Волконским. Я набросился на Дубельта, почему не предупредил меня, я взял бы с собою факты для опровержения. Дубельт смеется и говорит: «Ты и так отгрызешься, мы тебя знаем, камчадала». Им шутки, а меня не могло не тревожить: не равна борьба подполковника с вельможами! Помню, я такое чувствовал волнение, что не ложился спать, выпил 4 графина холодной воды, и к утру написал ответы.

[Донос в литературном отношении — был совершенство! Тут были вставлены будто бы оригинальные слова крестьян с недомолвками. Рассказы с улыбками откупщиков и купцов, уподобления и частые заключения князя Волконского к моему обвинению. В целом донос был моим обвинением, хотя голословным и до пресыщения наполненный бесстыдной ложью, но на то и литературная ловкость, чтобы белое показать черным. Память у меня и теперь еще не пропала, а тогда мне было нетрудно без документов опровергнуть. Я весь донос разделил на много коротких пунктов. Этим способом потерялась красота уподоблений и связь красноречия. Отвечая по пунктам, я решился быть резким и даже дерзким. Несколько раз напоминал князю, что я такой же, как и он, дворянин и что честью своей дорожу, думаю, больше, чем он дорожит своею честью. Несколько раз напоминал ему, как он, неосторожно говоря так голословно и оскорбительно о мне, что тем дает мне право отвечать оскорбительнее слов, сказанных им, но я удержусь, думаю, что грубая ложь — не доказательство. Досталось и Перовскому! Я решился идти на отчаянную — быть или не быть!

Помню заключение моего объяснения. Разбивши на всех пунктах донос, я обращаюсь с вопросом: «Скажите, князь, — был бунт удельных крестьян? Полагаю, вы должны ответить — был! А если был бунт, то были и причины к тому! Какие причины? Вы их знаете, князь — от князя Лобанова-Ростовского!»

Дубельт, прочитав, требовал, чтобы я написал вежливее, что так не пишут. Я отказался и стоял на том, что, кроме службы, я с Волконским на равных правах. На начинающего Бог!]

Государь изволил жить в Петергофе; долги показались мне часы ожидания. [Справедливый, неліцеприятный, настоящий русский царь изволил написать:] «Теперь мне дело ясно, Стогов прав». Подполковник, эта мелкая инфузория перед недостигаемой светлостью — получил защиту! [Ежедневно молюсь за упокой души моего незабвенного царя!]

[Когда возвратился из Симбирска князь Лобанов-Ростовский и обвинил удельных, тогда Перовский подал в отставку, но просьба ему была возвращена. Теперь, прочитав резолюцию государя, Перовский подал опять просьбу в отставку. Государь на просьбе изволил написать: «Так мерзостей не поправляют», и просьба возвращена. Мое торжество полное!]

Бывают условия в жизни неизбежные; миновать, может быть, условия связей вельмож, обоюдных уступок — невозможно. Для этих связей, уступок мы, маленькие люди, делаем необходимую жертвою.

Возвратясь, не успел я отдохнуть, получаю перевод в Саратов. Меня не перевод оскорбил, а оскорбило невнимание, почему не спросили моего согласия, хотя из вежливости. Я подал прошение в отставку. Прошение возвращено, и Дубельт пишет: «Ты рогожку дерешь, граф не хочет и слышать о твоей отставке, приказал спросить: чего ты хочешь?» — Ничего, в Саратов не поеду, я вам не мальчик дался. Тогда высочайшим приказом назначен я в Киев к генерал-губернатору, управлять военной частью. Я — просьбу в отставку. Получаю просьбу обратно и письмо от графа, написанное бриллиантами; пишет, что родственник его, Бибилов, просит его выбрать из корпуса жандармов в помощь ему штаб-офицера. Гордясь такою честью для корпуса, шеф, просматривая список, (будто) всякий раз останавливался на моей фамилии; уверен, что это назначение разовьет мои способности и проч. — мастера писать! В заключение просит принять должность на один год и если не понравится, то корпус жандармов за мою службу считает долгом предоставить мне избрать место по желанию.

Я очень хорошо понимал, что удельным необходимо нужно было отделаться от меня, житья им не было; Перовскому выгоды не нравились, и я — жертва проделки Перовского чрез князя Волконского.

После такого письма я согласился ехать в Киев, но с тем, чтобы утвердили мне две тысячи столовых и дали бы две тысячи на подъем — и то и другое исполнили с первою почтою.

Я закончил мою службу в жандармах предсказанием, что в Симбирской губернии, по деревням, если не будет бунта, то выразится неудовольствие поджогами; чтобы приняли заранее меры — озлобление очень велико.

Через Киев проезжал чиновник III-го отделения и передал мне, что когда начались поджоги в Симбирской губернии по деревням и когда бросили в огонь исправника и еще кого-то, тогда в III-м отделении вспомнили обо мне, а архивариус принес мое последнее сказание. Пророчество мое поскорей спрятали.

Из 40-летней моей службы 15 лет в Киеве была самая неприятная служба. Я пользовался большою властью в трех гу-

берниях. Государь поручал мне дела лично, помимо генерал-губернатора, всегда милостиво разговаривал со мною. Последний раз, в 1850 году, на вопрос мой о здоровье, [государь] <sup>79</sup> изволил спросить:

— А ты, старый драбант (я был уже седой), все еще служишь?

— Устарел, ваше величество, хочу в отставку.

— Погоди, вместе пойдем.

Отчего неприятна и грустна была служба в Киеве? [Теперь рано еще говорить. Оставляю записку, напечатает будущая «Старина».]



# **ПРИЛОЖЕНИЯ**



# І. Женитьба Э. И. Стогова. Полюбовное размежевание

Если обратиться к переходу моему в жандармы, то одною из важных причин было мое желание жениться. Сделавшись членом симбирского общества и чувствуя себя хорошо и твердо стоящим, я, хотя и плясал, но не забывал искать невесты. Симбирск отличается хорошими личиками барышень. Войск в Симбирской губернии никогда не было никаких, молодежь большею частию на службе, невест хоть лопатой гребь. В самом городе составленный мною список показал 126 невест великодушных, т. е. имеющих приданого более 100 душ; за малым исключением, я мог жениться на любой. Жениться — надобно поразмыслить, а как стал размышлять: та — не нравится, другая — имеет дурных братьев, третья — имеет родителей, которых уважать не могу, и т. д. Нет мне невесты в городе. Была мне другом Марья Петровна Прожек, урожденная Белякова; она постоянно советовала мне жениться. Я решил собрать сведения о девицах по деревням. Нашелся чужак, ни с кем не знакомый, в Симбирске не бывал, поручик артиллерии в отставке; у него жена, три сына и две дочери-невесты, чужак — никому в жизни не поклонился. Загряжский пробовал было потребовать его в город, он отвечал, я не мальчик разъезжать, что нужно губернатору, то пусть пишет, я грамотный, и не поехал. Чужак, но ни одно сословие не сказало о нем дурного слова: купцы говорили — честный барин, помещики — чужак, но честный; мужики — называли отцом родным, чиновники — боялись затронуть его; богатые называли его скупцом, бедные — благодетелем. Любви к нему не выражалось, но и не ходило о нем ни одного анекдота. Чужак этот был Егор Николаевич Мотовилов. О дочерях — ничего нельзя было узнать, их никто не видал, но городовые и горничные говорили, что старшую больно хвалят, дворян вся любит ее. На других деревенских семействах незачем было останавливаться. Однажды высказал мое любопытство Марии Петровне; она хохотала, говори-

ла, что она соседка в 20-ти верстах, но не знакома, потому что никто не знаком. Я просил ее съездить и посмотреть, не годится ли мне старшая дочь. Мария Петровна поехала и на другой день писала: «Если судьба назначила тебе иметь жену, то такому тирану нет другой жены, как бедная, кроткая Анюта! <sup>1</sup>» На другой день я был в Цильне — это верст 60 от Симбирска.

Приехал я часу в 5-м после обеда. Дом небольшой, деревенский, прост даже для очень небогатого помещика; внутри дома еще проще, стены не оклеены, не окрашены, мебель самая простая, домодельная, обтянутая кожей и жесткая, как камень. В зале, у стены кровать, на которой лежал пожилой человек, посреди комнаты небольшой стол, у которого сидела благообразная старушка и поп. Я отрекомендовался, говоря, что еду на следствие, но заехал напиться чаю. Больной старик встал и сказал, что он поручик Мотовилов, а старушка — жена его. На старике тулупчик и брюки были разорваны. Никакой церемонии, при встрече со мною никакой суеты не было. Старик сел на кровать и молчал, зато я говорил, как шарманка. Лакей, тут же в зале, начал готовить чай, и он же разливал. Коснулся я хозяйства и насилу вызвал старика на кой-какой ответ, он говорил неохотно и как-то странно.

— Да, бацка, наше дело хозяйничать, а ваше служить, каждому до своих дел.

Вошли две девицы.

— Это две мои дочери, — сказал старик, — вот старшая Анюта, эта младшая Александра.

Девочки в корсетах, в ситцевых поношенных платьях, молча сели. Надобно знать, что владею способностью по голосу женщины, не выдавши ее, заключить об ее характере и почти безошибочно. Не обращая внимания на девиц и поддерживая кое-как разговор со стариком, я хотел слышать голос старшей. Сестры были так непохожи между собою, будто разного семейства: старшая — блондинка, круглого лица, младшая — брюнетка с продолговатым лицом. За чаем что-то девицы отвечали матери; мне было довольно, чтобы заключить все хорошее о старшей.

Наступила темная октябрьская ночь, надобно было ночевать, старик без церемонии сказал:

— А вы ночуйте за рекой, там живет мой брат, да его нет дома, я прикажу вас проводить.

Из всего я увидел, что старик независимый и даже гордый человек. Уехал я ночевать к другому Мотовилову, меня там

приняли очень вежливо. Прощаясь со стариком, я напросился на утренний чай. Этот чудак старик имел более 1000 душ, отлично устроенных и незаложенных. В 5 часов меня разбудили и звали пить чай к старику. Я нашел все семейство в той же комнате, дочерей в корсетах и причесанных, а старика, сидевшего около стола у окна, в том же костюме. Я уселся по другую сторону стола. Мимо окна прогоняли превосходных лошадей, коров, меринсов, и старик, указывая на стада, рассказывал мне о своем хозяйстве.

— Да, бацка, — сказал он, вздохнув, — слава Богу, все хорошо, только не дает Бог здоровья. Я знаю, что долго не проживу, старуха скоро отправится за мною, сыновья у меня отделены, вот только не подумал я о дочерях, их жалко оставить, — без родителей им будет трудно жить.

— Кто жил для детей, — сказал я, — тот исполнил святую обязанность, и Бог не оставляет такие семейства. Впрочем, что же вам беспокоиться: дочери ваши пользуются прекрасною репутациею, никто не скажет о них ничего, кроме хорошего.

— Все оно так, — отвечал старик, — может быть, вы говорите и правду, но ныне времена тяжелые, одним молодым девицам жить трудно, есть у меня сын женатый, да сестры мужа не жилицы при невестке. Вот как подумаю о дочерях, так мне и жалко их.

— Я не понимаю, Егор Николаич, почему так тревожно положение ваших дочерей, отдайте за меня старшую. Мы все смертны; если Богу угодно, то я вас похороню, тогда младшая будет жить у сестры, а со временем и ее судьба устроится.

Старик серьезно посмотрел на меня и, сделав сердитые глаза, сказал:

— Шутить так неприлично, вам не дано повода к тому.

— Ни ваше положение, ни мое звание, — сказал я, — не дают мне права шутить. Я не из тех людей, чтобы позволить себе подобную шутку, скажу прямо, я нарочно к вам приехал, чтобы просить руку вашей старшей дочери, и повторяю мою просьбу.

— Да вы не могли знать моей дочери?

— Извините, я жандарм, я обязан знать все и знаю.

— Но я должен вам сказать, что мы вас не знаем.

— Вот это правда: предоставляю вам узнать о мне, а я вам доложу, что я превосходный человек во всех отношениях, и вы не найдете недостатков во мне.

— Ну, бабка, аржаная каша сама себя хвалит, — и старик рассмеялся, что мне и нужно было.

— Ну, так как же, Егор Николаич, какой ваш будет ответ?

— Послушайте, бабка, нам надобно подумать да узнать, что вы за человек.

— Вот и это можно; только если я имею не много ума, то я надую вас отлично, лучше верьте, что я прекрасный человек.

— Правда, нынешний народ хитер, трудно узнать человека, но все же надобно подумать и узнать.

— Итак, прощайте, я еду обратно в Симбирск, а вам хочу сказать: как родители, можете располагать рукою дочери и если откажете, то я, может быть, более буду уважать вас, этому верьте.

Перед отъездом я спросил, когда получу ответ. Старик обещал прислать.

В Симбирске никто и предполагать не мог о моем намерении.

Через четыре дня является ко мне лакей Мотовиловых, Тит.

— Что скажешь? — спросил я.

— Егор Николаевич и Прасковья Федосеевна приказали кланяться и просить вас пожаловать к ним в Цильну.

— Более ничего?

— Ничего-с.

— Ступай.

Это было рано утром, почтовые лошади, тарантас, и я опять к чаю в Цильне. Тот же час, в той же комнате, те же лица (кроме попа) и так же одеты, тот же лакей делал чай. Говорил опять только я почти один. Прошло два часа, старик ни слова не говорит о своем согласии или отказе. Не любя проволочки в делах, я сам начал:

— Егор Николаич, если вы припомните, я просил руки вашей старшей дочери; вы за мной прислали, вот уже два часа я здесь, но не слышу вашего слова.

— Мы с Прасковьей Федосеевной думали, старались узнать о вас, да ведь один Бог вас узнает. Но вот, видите ли, вы в голубом мундире, этого мундира никто не любит, но вас все хвалят, видно, и вправду вы хороший человек, а если так, то Бог вас благословит.

Я подошел к старику, поцеловал его руку и уверял его, что я такой хороший человек, что чем более меня узнает, тем более полюбит. Старик смеялся.

— А ты, бабка, все-таки себя хвалишь, — говорил он.

— Да кто же меня похвалит, если я сам не скажу о себе правды.

После этого я подошел к старухе и просил ее дать свое согласие. У этой добродетельнейшей из женщин и лучшей из матерей показались слезы на глазах.

— Мы вас не знаем, — сказала она взволнованным голосом, — я никогда не решилась бы отдать дочь неизвестному человеку, но 40 лет говоря моему мужу «да», всегда видела в том добро, не хочу и теперь сказать «нет», надеясь на Бога, что дочь моя будет счастлива.

— Пожалуйста вашу руку и позвольте назвать вас матерью. А что ваша дочь будет счастлива, в том не сомневайтесь, во-первых, потому, что я превосходный человек, а во-вторых, потому, что я сам хочу быть счастливым, а без счастья жены нет счастья для мужа. Будьте уверены, что вы полюбите меня не менее своих родных детей.

Старуха усмехнулась.

— Ну, батюшка, — сказала она, — хвалить-то себя ты мастер.

Потом подошел я к невесте.

— С родителями вашими уладил, — сказал я, — остается дело за вами.

— Я вас совсем не знаю, — отвечала она.

— Да где же вам и знать; не только молоденькую вас, но я и ваших родителей сумею обмануть. Не в том дело, а вот в чем: я до сих пор был один из счастливейших людей, хочу жениться не для того, чтобы быть несчастным; счастье состоит в согласии супругов, а это не всегда от них зависит. Вы слабые создания, а мы — сила; для уравниения Бог дал вам то, чего мы не имеем — женщина наделена от Бога особым чувством — инстинкта. Ни с того, ни с сего девушке не нравится в мужчине: голос, походка, манера — это называется антипатией; но мужчина, не красивый собою, привлекает внимание девушки каждым своим движением и ей нравится; это называется симпатия. Я глубоко верую в эти чувства. Мы друг в друга не влюблены, то можем рассудить хладнокровно. Нам не с стариками жить, если в вас есть ко мне малейшее чувство антипатии, заклинаю вас — скажите откровенно, потому что чувство антипатии я не волен изменить, тогда я буду несчастлив, и все несчастье падет на вас бедную. Вот, пожалуйста, посмотрите, я буду ходить,

голос мой вы слышали, наружность видите, подумайте и скажите, нет ли во мне чего-нибудь противного?

И я начал ходить по комнате; старики молчали.

— Скажите, заклиная вас, — спрашиваю я, остановившись перед невестою, — нет ли во мне чего-нибудь противного?

— Нет, — отвечает она.

— В таком случае пойдемте к образу, перекреститесь.

И только она перекрестилась, как я быстро поцеловал ее и сказал: теперь и с вами кончено, теперь вы моя невеста. Ночевал я опять за рекой, поутру в 5 часов пил чай и был уже не чужой в семье. Старик был болен, и я упросил его переехать ко мне в город. Он согласился. Это был такой человек, что, сказавши раз «да», слова своего не переменит, а сказавши «нет», тоже не изменит до смерти.

После я узнал, что этот по наружности чужак был замечательно умный и даже начитанный, но гордый и самостоятельный.

В городе никому и на ум не приходило, что я жених. Скоро старик переехал ко мне, и это обратило общее внимание. Пошли толки по всему Симбирску; предположений, пересудов, догадок и не сосчитать, а я никому ни одного слова. Странное отношение мое было с обществом, я был знаком со всем городом, бывал в семействах по-старому, спросить меня совестились, а я молчал. Раз идя по улице, встречаю своего корпусного товарища — Андрюшу Сомова. Он очень давно оставил флот, был в комиссариате и теперь в отставке. Он был помещик Саратовской губернии, жене его принадлежало 50 душ. Он приехал в Симбирск продать их, нашел плохого покупателя и просил меня помочь ему в этом деле.

— Каково это имение? — спросил я будущего тестя.

Старик знал все имения и сказал: «Очень хорошо». Я рассказал старику о желании Сомова продать, а что я хочу его купить.

— На что тебе? — спросил старик.

— Да вот видите ли, есть такой обычай дарить невесту: шалями, бриллиантами и проч. По-моему, это деньги пропащие, только хвастовство, а я хочу подарить моей невесте — деревню, это будет громко; но когда женюсь, то мой подарок придет к моим рукам без убытка.

— А как ты подаришь деревню невесте, а мы тебе откажем? — сказал старик.



— Тогда скажу, слава Богу, что я развязался с подлецами; потеря денег еще не важное дело, наживу вновь.

Старик рассмеялся и сказал:

— Видно, тебя голой рукой не возьмешь, ты порядочный плут; видно, ты знаешь, когда старик сказал «да», то никто этого не переменит. Бог тебя благословит, покупай, о подарках рассуждаешь умно. Что просят за имение?

— Шестьдесят тысяч рублей.

— Покупай, не торгуйся, имение, купленное дорого, выгоднее проданного, вот на продажу нет тебе моего благословения.

Чрез полчаса с Сомовым было дело кончено.

Я должен рассказать о положении детей Мотовилова. У него было три сына, старший Николай кончил курс в университете. Отец, презирая гражданскую службу, велел сыну поступить в военную; он скоро сделался старшим адъютантом в дивизии генерал-лейтенанта Дувинга<sup>2</sup>, который был немец, но женат на русской — Обручевой. У них было много детей, но все были в институтах и корпусах на казенном содержании, а дома была одна дочь Анна. Николай Мотовилов влюбился в дочь генерала; родители Анны были согласны, но отец Николая не давал согласия на том основании, что ненавидел немцев. Николай не слушался отца, но три года просил позволения жениться. Наконец, мать Николая в добрый час упросила мужа, тот согласился, но с условием — не видеть Дувингов.

Прошел год, у Николая родился сын Георгий. Семейному сыну надо помогать. Старик Мотовилов приказал сыну выйти в отставку, что Николай и исполнил. Приехал он с женою в Цильну, старик принял сына и невестку ласково и, хотя дом в Цильне тесен, но поместились. Жена Николая, любящая опрятность, по два и по три раза в день купала крошку сына. Это старику надоело.

Он отправился к помещику Бабкину и предложил ему продать свое имение Скорлятку, в котором считалось 100 душ, с условием продать все, что есть. Бабкину предлагалось надеть только шинель и шапку и выехать из имения. Не только белье, но одежду и все запасы: чая, сахара, кофе, часы в доме, серебро, посуду — все оставить покупателю. Бабкин запросил 80 000 рублей; старик не торговался и заплатил. Приехав домой с купчею, старик Мотовилов вручил ее сыну Николаю и дал ему еще 5000 рублей на первые потребности, а невестке ласково и шутя сказал:

— Ну, матушка, будешь довольна, там воды сколько хочешь, можешь купать своего сына.

Между прочим, покупка имения Воецкого у Сомова состоялась, у меня недоставало 10 000 рублей, но я знал, что 10 000 рублей мои деньги лежат в банке и билет хранится у отца; пока я написал к отцу о билете и просил благословения на брак, старик дал мне 10 000 р. на вексель и все дразнил меня, что он поступит со мною, как с должником, строго. Видимо, старик хотел подарить эти деньги. Для совершения купчей на имя Анюты потребовалось ее присутствие в Симбирске. В то время казалось неприличным ехать невесте в дом жениха и жить там, но старик приказал, мать и дочь прожили у меня три дня. Старик становился плох, того и гляди скончается, тогда траур и свадьба затянулась бы. Доктора по просьбе моей, можно сказать, искусственно тянули жизнь старика: ему постоянно делали ванны из бульона с вином, давали сильные возбуждающие средства внутрь.

Наконец, возвратился курьер с дозволением на брак. Я в тот же день поскакал в Цильну, посаженной матерью<sup>3</sup> моею была мой друг, Марья Петровна, а отцом я схватил в Симбирске отставного лейтенанта, старика Бестужева, шафером — отставного прапорщика Мякишева. Со стороны Анюты был посаженный отец дядя Ахматов, а шаферами братья. Старик благословил меня. На другой день свадьба была совершена без гостей и без шампанского; мне стоила она 15 руб[лей] ассигн[ациями].

Я не говорил ни слова в городе, что я женат; все ожидали моего объявления и приличных праздников, но ничего подобного не было. Анюта слышала прежде, что молодая обязана делать визиты знакомым мужа и своим. Я видел, что она неохотно собирается делать визиты, но на вопрос мой ответила, что исполнит все, что должно, хотя это ей неприятно.

— Так зачем же, мой друг, — сказал я, — делать неприятное?

— Да говорят, что это должно, — отвечала она.

— Послушай, Анюта, однажды навсегда: мы поженились для себя, а не для других, то и должно делать только то, что нам приятно. Визиты — это требование чужих нам людей, — тебе не хочется, ну, и не делай, поедешь тогда, когда захочешь и к кому захочешь, вот мой сказ.

Анюта радостно спросила:

— А если я ни к кому не поеду, вы сердиться не будете?

— Сердиться ни на что не буду и говорю тебе просто: делай, что тебе хочется, и все будет хорошо.

Для скромной Анюты это был праздник; она казалась совершенно счастливою. Однажды я спросил ее: любит ли она меня?

— Как это странно, — отвечала она, — чтобы я могла любить чужого человека; но я уважаю вас, уважаю ваши правила и характер, а, право, любить не могу.

— Как же ты решилась идти замуж за меня, не любя?

— Я повиновалась родителям, но очень боялась вас и думала: послушаюсь родителей и скоро умру.

Спустя месяца два-три я снова спросил Анюту, любит ли она меня? Она отвечала, что любит, но, конечно, не столько, как своих братьев, ведь я чужой, а братья — родные, и, ласкаясь, говорила, что, вероятно, я так буду справедлив, что никогда не потребую, чтобы она любила меня столько же, сколько братьев. Я находил все это разумным, справедливым и естественным. Анюта была очень умна от природы, училась кой-чему и даже хорошо, но в своей затворнической жизни совершенно была чужда жизни практической. Это воспитание должен был дополнить я.

Между тем с Кавказа приехал в годовой отпуск капитан Гельмерт. Так как в Симбирске я был старший, то все военные приезжие являлись ко мне. После смерти моей тещи через три месяца приносит ко мне денщик Гельмерта письмо от него. Как я ни бился, серьезно говоря, всего разобрать не мог, однако понял, что он просит руки Саши, сестры Анюты. Я сказал денщику, чтобы он просил барина ко мне, что письма его прочитать не могу. На другой день утром явился Гельмерт, а я между прочим собрал о нем кой-какие сведения и все в пользу его. Посадив его, я спросил, что ему угодно? Он долго мялся, конфузился, наконец высказал свое желание жениться на Саше. Я поблагодарил, но весьма серьезно сказал:

— Мы — военные, и открывать между нам вещь обыкновенная. Я честный человек и на честное ваше предложение сочту грехом не сказать вам правды; но дайте мне честное слово, что кроме нас никто о том не узнает. Моя сестра Саша может нравиться — в этом я не сомневаюсь, но, узнав ее недостатки, благоразумие указывает удалиться от нее, она имеет несчастье употреблять вина весьма неумеренно, и страсть эта усиливается. Вы теперь знаете, от какой беды охраняет вас моя искрен-

ность, но надеюсь, что все это останется между нами. Прощайте, невест много, желаю вам счастья.

Бедный Гельмерт откланялся.

Я Сашу очень любил, она вполне была добрая, кроткая и невинная сердцем девочка, тоже была привязана ко мне, часто говорила, что любит меня более всех своих братьев. Я дал слово покойникам устроить ее судьбу. Собирая подробные сведения о Гельмерте, я узнал, что это был простой, но совершенно добрый человек. Он был сын доктора, служил долго на Кавказе, имел много крестов и персидские на шее — льва и солнца. Где он видел Сашу, я не знал, а видела ли она Гельмерта? Скорее нет. После свидания я ни слова не сказал о предложении его, даже Анюте. Через неделю приходит он опять с предложением и признался, что он много думал, не спал ночи, молился, но не может найти покоя, — все видит Александру Егоровну.

— Если судьба назначила мне, — говорит он, — погибнуть в этой женитбе, то все равно, погибну и не женившись.

Я продолжал дурачиться, уверяя его, что он ищет беды. Он не красно говорил, но видимо страдал, и текли слезы по бледным щекам, так он похудел.

— Где вы могли видеть мою сестру?

— В церкви.

— Говорили с ней?

— Никогда, ни слова.

— Знает ли она вас?

— Полагаю, нет.

— Послушайте меня, не делайте глупости, успокойтесь и уезжайте на Кавказ, но, впрочем, для удостоверения вашего, я вас обманываю, приходите сегодня обедать в 2 часа.

Я тихонько сказал Анюте и просил ее до времени не говорить сестре. Перед обедом я сказал Саше, что у нас будет обедать нужный мне человек, и просил ее почаще наливать ему вина. Явился Гельмерт, расфранченный по-армейски, от каждой части тела пахло разными духами. За обедом только подмигну Саше, она за бутылку, а я, как будто боясь, чтобы она не налила себе, бутылку отнимал и передавал гостю, а ему подмигивал, давая знать, вишь как хватается за бутылку. Так повторилось раз шесть за обедом. По выходе из-за стола я успел шепнуть гостю:

— Видели, какая страсть у девушки, сколько мне заботы, чтобы при чужих не напивалась.

Гельмерт только вздыхал. Уселись в гостиной пить кофе, я шепнул Аняте, чтобы она незаметно вышла, а сам пошел за трубкой, но вместо того подсмотрел в притворенную дверь. Смотрю, мой капитан подъехал к Саше, что-то тихо говорит, и он, злодей, уже два раза поцеловал руку. Дал я им время болтать и при третьем поцелуе руки быстро растворил дверь и сердитым голосом крикнул:

— Это что значит? Что за интимные объяснения? Г[осподин] капитан, извольте сказать, что вы шептались с моей сестрой?

Смешался бедный, заикаясь и труся, признался, что просил ее руки.

— Ну, а ты, сударыня, бесстыдница, что ему отвечала?

— Я, братец, сказала, что если вы согласны, то и я буду согласна.

Входит Анята, я рассказал о бесстыдстве Саши и спросил у Аняты, что она об этом думает? Анята отвечала: если Саша желает быть женою Федора Федорыча, он ей нравится, тогда нам препятствовать не должно.

Я расхохотался и сказал:

— Сколько я ни старался вас поссорить и развести, но, видно, назначил Бог соединиться вам; ну, вы жених, а ты невеста, извольте целоваться.

Капитан расцвел, целует руки и болтает. Оказалось, что они несколько раз виделись в монастырской церкви, но не говорили ни слова. Саша после мне призналась, что она очень любила смотреть на него. Братьев на этот раз не было ни одного, траура мы никто не носили, откладывать свадьбу причин не было. Свадьба была такая же скромная, как моя. Как опекун, я сдал Гельмерту деньги Саши и имение. Впоследствии Гельмерт вышел золотой человек и сделал Сашу совершенно счастливою. Он считается честнейшим человеком в своем уезде, об этом мне говорил губернатор в 1848 году.

Между тем, я получил предписание, что по многим неисправностям в Саратовской губернии я перевожусь в Саратов. Я понял, что это была интрига Перовского, не возлюбившего меня после бунта удельных крестьян. Я в ту же минуту написал об отставке и послал к графу, а Дубельту написал: Вам не угодно было спросить меня, желаю ли я в Саратов, а я доложу вам, что я не мальчик и не желаю быть игрушкой. Не нужен и не годен я в Симбирске, то увольте меня из службы, а в Саратов я не поеду.

Дубельт отвечал: «Горячка Иваныч, граф посылает тебя в Саратов, как лучшего своего помощника, этого желал государь. Ты, Горячка Иваныч, не хочешь — оставайся в Симбирске и уничтожь свою просьбу, которую граф не принял». Опять моя взяла. В то время Бибилов был назначен киевским генерал-губернатором. Он считался родней гр[афу] Бенкендорфу и вот какой: старший брат Бибилова, Николай, умер бездетен, на вдове его женился гр[аф] Бенкендорф, тоже скоро овдовел, не имея детей. Кажется, нет родства, но считались родными. Бибилов обратился к Бенкендорфу с просьбою выбрать из своего корпуса штаб-офицера, способного занять должность правителя канцелярии. На этот раз опять пало на меня. Прописывая просьбу Бибилова, делающую честь корпусу, граф писал: «Желая исполнить просьбу Бибилова и просматривая несколько раз список штаб-офицеров корпуса, я всякий раз останавливался на вашей фамилии. Зная ваши способности, уверен, что в новой должности разовьется ваша деятельность»; к этому он прибавлял: «Корпус жандармов столько обязан вам, что если не понравится вам новая обязанность, то, по прошествии года, предоставляется вам занять место в корпусе по вашему выбору». Отказаться было неприлично. Я изъявил согласие, написал письмо и закончил его так: «В Киеве столовых 1000 р. Я не приму этой должности без 2000 р. и прошу дать мне на переезд 2000 р.». С первою же почтою все было исполнено, и мне не оставалось ничего делать, как поехать в Киев.

Прощай, мой милый Симбирск, прощай, моя вторая родина. Симбирск много дал мне счастливых дней, дал мне милую и ангела душою жену. Прощай, моя лихая деятельность. Я был на своем месте и по способностям, и по характеру. Я был любим всем обществом, не делал зла, [я] прекращал злоупотребления тихо, без шума и старался исправлять, а не губить.

После родной моей службы во флоте служба в Симбирске была мне по душе, по сердцу и по уму. Успехи служебные в Симбирске меня радовали, а успехов было много. Я много имел успехов в Киеве, но уже не радовался; поэзия моя осталась в Симбирске и не посетила меня.

За неделю до моего отправления в Киев нам Бог дал дочь Ираиду. Анюта должна была остаться, я отправился один в самую распутицу.

После моей жизни в Сибири и Симбирске не хочется говорить о жизни в Киеве. Я сделал важную ошибку, для чего не

воспользовался и чрез год не ушел из Киева в корпус жандармов, я имел на это право по письму графа Бенкендорфа. Мои способности, мое призвание было быть жандармским штаб-офицером. Да, по прошествии года в Киеве перейди опять я в жандармы, приятнее бы прошла жизнь моя, но я не сделал того, купил под Киевом деревню, хозяйство шло успешно, жена — то беременна, то кормит, трудно, казалось, переезжать — так и сделался оседлым жителем. А потом умер гр[аф] Бенкендорф, потом умер Дубельт. Поступив в корпус, я был бы новым человеком. Не хочется мне писать о Киеве, а к Симбирску так и тянет.

Наблюдая поляков в Симбирске и проверяя мои наблюдения после в здешнем крае, я положительно убежден, что мужчины-поляки, если отнять от них влияние полек, то они смиреннее рыбы, вся сила энергии — в головах женщин, у которых, без исключения, — все мужчины под башмаком. Женщины-польки вообще — худо учены, у них есть светский лоск, пропасть кокетства и только. Все женщины — изуверки, тоже от невежества; они подчиняются нравственно хитрым ксендзам, которые самым наглым образом распоряжаются загробною жизнью и раздают рай и ад — как свои владения. Полька с малолетства привыкает верить в могущество ксендза, а не имея философского взгляда, не может выбиться из-под его влияния всю жизнь. Вера в отпущение грехов создает фанатизм польки, а она, пользуясь влиянием на мужчин, электризует деятельность, особенно молодых. Поляк делается фанатиком, уже переступая за зрелые годы. Говоря о большинстве, поляки наделены прекрасными способностями во всех отношениях, но влияние иезуитов с давних времен направляет их воспитание совершенно ложно. Поляк, с малолетства получая фальшивое направление, тоже не может отбиться во всю жизнь от направления политической веры его иезуитами и подготовленными для того книгами. Молодой поляк, кровный, на все способен, восприимчив и легко увлекается. В каждом молодом поляке много рыцарского, много благородных порывов, но только порывов, а прозаическая жизнь протекает под влиянием женщин. Надобно видеть поляка, когда он сватается, — это рыцарь. Для него нет невозможного, жертва — его наслаждение; будучи женихом, он почти боготворит свою невесту, кокетку по природе; он готов ходить около нее на коленях, он пьет из ее башмака за ее здоровье. Поляк-жених — весь увлечение и страсть, невеста — чистый расчет кокетства.

Совершилась свадьба, поляк удовлетворен; как сильно пламенеет до свадьбы, так быстро разочаровывается после нее. Поляк-жених — мечта; воображение, поэзия заносят на седьмое небо; но, сделавшись мужем, поляк спускается на землю, проза жизни не удовлетворяет его, пыл его необузданной страсти тянет к новому и неизведанному. Он, сознавая свою неверность, старается притворной любовью услаждать жизнь жены, но женщину притворством обмануть нельзя, потому что на этом инструменте они сами артистки. Жена скоро замечает охлаждение мужа и даже узнает о скрытых проделках неверного, но, не выказывая подозрения, она инстинктом понимает, что наступило время быть требовательной и даже капризной. Муж, не догадываясь, что жена проникла тайну его сердца, стараясь сколь можно отдалить могущую быть катастрофу, исполняет все требования жены и повинуется ее капризам, — и вот жена фактически делается господствующим лицом в семействе. Но у жены является ксендз, который учит греху и разрешает его. С первого супружеского преступления муж делается рабом жены и все для того, чтобы отдалить могущую произойти катастрофу. Жена, отлично понимая эти чувства мужа, продолжает показывать, что она верит своему супругу и повелевает, как царица, в доме и властвует над мужем. Вот где кроется подчинение всех поляков своим женам. Поляк без женщины-польки — рыба, он и рассудителен, и кроток, он даже ленив на предприятие, но полька — это гальванический ток, который оживляет и умершие тела.

Возвращусь опять к Симбирску и скажу о специальном межевании в Симбирской губернии. Государь сказал: кто отмечается добровольно, тем даруется излишняя земля против крепостей, а если будет межевать правительство, то излишняя земля будет отрезана в казну. Я говорил, что, бывши женихом, я купил имение в селе Воецком, помнится, от 50 до 60 душ, на имя моей невесты Анюты. Село Воецкое стояло на небольшой реке Гуще, границей села была эта речка, а вся земля, принадлежавшая селу, шла от домов в степь и ограничивалась большою рекою Свиягою. Между этими реками было расстояние верст 13; реки были параллельны. Не помню, кому при Екатерине II была подарена эта земля, но первый хозяин захватил ее без меры — в ширину степи верст тоже на 12–13. Земля продавалась по частям, делилась по наследству, так что образовалось владельцев в Воецком помещиков 15, и я самый богатый. Дачу между собою делили от селения к реке Свияге. Помню, был у



меня сосед Есипов; ему, по числу душ, досталась такая узкая полоса, что только могла проехать телега в одну лошадь. Впрочем, твердых оснований на владение землею никто не имел, владели — по каким-то преданиям. Сообразив все дело, я ясно видел, что если отмежует казна по крепостным, то мы останемся едва ли при третьей части земли. Все говорило разуму, что надобно размежеваться полюбовно, тогда вся земля наша.

Снятый общей дачи план не мог удобно разделить дачу для всех, а нельзя же было дать Есипову только дорогу. Я собрал всех помещиков в своем доме в Воецком, сказал приличную речь о необходимости размежеваться полюбовно. Я первый изъявил согласие на какой угодно раздел земли и, предложив план, просил обсудить и решить, как размежеваться. Все в один голос говорили:

— Куда нам рассуждать, как вы разделите, так и будет.

Я ясно высказал и доказал, что так как мы сидим на реке Гуще, то раздел для всех удобен быть не может. Хотя дача почти квадрат и совершенно вся земля одного качества, но разделить безобидно можно только тогда, когда кто-нибудь переселится на Свягу, но так как переселение крестьян вызовет много хлопот и расходов, то кому угодно переселиться, мы сообща даем подводы для перевозки и на каждый крестьянский двор даем по 10 р.

— Итак, господа, кому угодно переселиться на Свягу? — спросил я.

— Да помилуйте, — заговорили все в один голос, — кто может согласиться на переселение, это для нас невозможно.

— Хорошо, господа, я богаче всех, не требую помощи подвод, не прошу по 10 р. на двор, а желаю переселиться и оставляю вам огороды и конопляники; вы разделите между собою, и всем будет просторно, и размежевание будет удобно. Итак, согласны на мое предложение?

Трое объявили, что они согласиться не могут.

— Отчего?

— А может быть, там земля лучше, — сказали они.

— Хорошо, так вот вам помощь и деньги, идите туда.

— Да помилуйте, кто же туда пойдет, это невозможно!

— Ну, так я без помощи и без денег пойду туда.

— На это мы не согласны, там, может быть, земля лучше.

— Господа, разделить нужно?

— Нужно, никто не спорит.

— Разделиться так, как сидим, невозможно.

- Видимое дело, невозможно.
- Вы переселиться не хотите?
- Никто не хочет.
- Так я переселюсь.
- На это согласиться нельзя, там, может быть, земля лучше.
- Ну, так как же мы разделимся? А разделиться необходимо?

Я от полдня до заката бился, бился, даже охрип, а ничего не добился, с тем и разошлись.

В Воецком был бедный помещик, старик, отставной майор Петр Иванович Романов; это был человек не мудрый, но здравого ума, он безвыездно жил в Воецком. Я этого старика сделал комендантом и генерал-полицмейстером в Воецком. По просьбе моей исправник приказал всем крестьянам повиноваться Романову, а я поручил ему даже и мое хозяйство, за что иногда старику делал подарочки. Старик молчал и сидел в стороне, сказав, что он на все согласен. Когда все разошлись без результата, старик начал смеяться надо мною, говоря:

- А что, много взял со своим красноречием?
- Да помилуй, комендант, я тут ничего не понимаю, это сумасшедший народ.

— А ты думал, все умные, вишь распустил силлогизмы, а много взял? Вот вы все нынешние говоруны такие, где надобно делать, так вы красно баите.

- Что же теперь делать, командир, ведь так оставить нельзя?
- Зачем оставлять; из-за трех дураков всем худо... Прощай, пришли-ка ко мне чаю и сахару, я за тобою пришлю, напою тебя чаем и сам с тобою напьюсь, а до тех пор не выходи из дома.

Явился с приглашением от Романова. Приезжаю; маленький чистенький домик так мило смотрит, что даже весело становится. Старик холостой, аккуратный и опрятный. Он встретил меня с пальцем на губах и нагайкой в правой руке, принял церемонно, усадил и громко сказал:

— Ко мне пришли господа с просьбою извинить их перед вами, они давеча не поняли ваших предложений, но, обдумав, согласились (в это время он показал нагайку). Я прошу вас извинить их, вот любовная сказка, они подписали на переселение ваше, следует только вам подписать.

Я подписал и хорошо не понимая, как это сделалось. Тогда Романов отпер запертую дверь перегородки и сказал:

- Выходите, господа, полковник не сердится.

Вышли робко три спорщика и заметно посматривали на нагайку, а Романов сказал: «Теперь ступайте». Ушли очень скоро.

— Скажи, ради Бога, старина, как это ты их уговаривал?

— Вот еще, чтобы я стал их уговаривать, отпустил им горячих нагаек по пяти, они и подписали, а я их запер, чтобы они видели, что и ты подписал. С такими людьми резонами и силлогизмами ничего не поделаешь, для них нагайка — они и слушают.

Я обнял старика и поблагодарил. По пропорции на души мне пришлось около 20 десятин на душу, я выбрал себе для поселения на берегу Свияги берег возвышенный, там, где был мой дом. Из земли бежал сильный родник превосходной воды, против дома — небольшой, но красивый остров, река — очень рыбная. Романов отмежевал мне квадратную дачу к границе общей дачи, и вышло только 8 верст до другой деревни нашей Чамбул, где много леса. Крестьяне перевезлись, устроились и после были очень довольны новым поселением. Наше полюбовное размежевание было утверждено формально — одно из первых. Не будь майора Романова, не размежевались бы. — Не правда ли, что это похоже на сказку? Трудно себе представить: какой-то бедный старик, отставной майор бьет нагайкой трех помещиков, богаче его и один, хорошо помню, с крестиком в петлице, и те покорно исполняют его волю. Честью уверяю, что это так и было. Если б я хотел солгать, то выдумал что-нибудь и похитрее, и поумнее.

## II. Последние дни жизни Эразма Ивановича Стогова

(Письмо его дочери в редакцию  
«Русской старины»)

12 марта 1881 г.

Снитовка

Главная черта характера моего отца, была необыкновенная сила воли, твердость. Он 35 лет курил сигары, лет 10 тому назад нашел, что это ему вредно, и больше не курил. Всю жизнь свою он очень любил преферанс; однажды, заметив, что партнеры играют с ним не для собственного удовольствия, а из любезности, он навсегда перестал играть. Он мог терпеть голод, жажду, холод, для него, кажется, не существовало выражение «не могу».

Целые дни отец проводил в своей комнате, до обеда читал, а после обеда — писал, «чтобы не заснуть». Много счастливых минут доставила ему «Русская старина», писать для нее было ему наслаждением.

Вы, Мих[аил] Иванович, могли заметить из его писем, как отец следил за всеми современными вопросами и как живо всем интересовался, хотя и не всему сочувствовал. Идеалом всей его жизни был покойный Николай I; он ставил его на недостижимую высоту и поклонялся ему усердно и пламенно.

Отец всегда был в хорошем расположении духа, говорил, шутил и смеялся очень охотно. Со всеми посторонними, без различия звания, положения и состояния — он был всегда внимателен, любезен и приветлив. Молился он всегда долго и усердно, но духовенства не жаловал.

Здоровьем пользовался завидным: не испытал в жизни своей головной боли, не горбился, не кашлял, как другие старики, а кушал как юноша. Лицо и руки у него были белые, гладкие и без морщин, глаза блестящие и живые, как у моло-

дого. Никогда не пил ни капли вина, водки, пива, если же приходилось кушать вино с пирожном, жаловался на неприятное ощущение: «В висках стучит, лицо горит». Это отвращение от вина наследственное, то же было у покойного деда, жившего очень долго, то же и у моего сына и у меня.

С детьми своими отец был всегда очень строг и требователен, но так любил нас, что не отдал ни одной из дочерей в институт, куда имел право поместить на казенный счет всех. Роскошь и развлечение преследовал строго, но дети были всегда веселы, хотя круглый год носили ситцевые платья, учились целые дни и чужих детей видели только во время уроков танцев. Все дочери верили, что они бедны. Зато, выйдя замуж, получив свободу и право пользоваться удовольствиями, жизнь казалась раем земным, вкусы же остались у всех очень умеренные, к роскоши не приучились. Когда дочери выросли, он сделался самым снисходительным другом их, к внукам же был бесконечно добр и ласков.

Шесть лет тому назад, т. е. в 1874 г., отец выдал замуж последнюю дочь и дал нам дарственную на свои имения (около 4000 десятин) с тем, чтобы мы (я с мужем) жили с ним. Так жили мы мирно, счастливо до конца 1880 г.; отец был весел и здоров, побаливала у него левая нога, но он не обращал на это внимания.

22-го августа уезжал после каникул мой сын в Киев; это был большой любимец дедушки, который в нем души не чаял.

Прощавшись с дедушкой, мальчик вышел от него весь заплаканный, растроганный: «Я никогда не думал, что дедушка так любит меня! Как он плакал, добрый дедушка!»

После отъезда любимого внука отец стал грустить, чего прежде с ним никогда не было, стал жаловаться на недостаток аппетита и, наконец, не приказал себе вовсе подавать обеда. Мы думали, что отец испортил себе желудок, но он долго не кушал, принимал свои пилюли, которыми лечился много лет, а аппетит все не возвращался.

30-го августа 1880 г. он скушал кусочек пирога за здоровье именинника, а потом уж крошки в рот не взял до конца, т. е. до 17-го сентября 1880 г. По утрам он пил свою чашку кофе и этим был сыт на целый день. Несмотря на такую диету, отец чувствовал себя бодрым и продолжал свои занятия по-прежнему.

4-го сентября 1880 г. я подала ему его кофе и, когда спросила о здоровье, он мне сказал:

— Знаешь ли, Юша, это ведь у меня не испорченность желудка, это смерть приходит! Я заметил сегодня, что у меня на желудке онемела кожа, вероятно, то же произошло и внутри, а это — смерть.

Говорил это бедный отец с такою ясностью, с таким поразительным спокойствием, точно не о нем речь идет! Видя мои слезы: «Не плачь, Юша, о чем плакать? Ты видишь, я говорю без отчаяния, без горечи, пожил долго и счастливо, благодарю Господа и без ропота пойду, когда он призывает меня!»

Мне больно было видеть его спокойствие и покорность воле Божией, я знала, как он страстно любит жизнь!

После долгих утешений мне и бесконечно ласковых, нежных слов отец встал со своего кресла, научил меня отпираться секретный замок своего денежного ящика — «а то ломать придется», другой ключ отдал мне: «А то забудешь, от чего он, некого спросить будет!» Все это с полным спокойствием, ни разу голос не дрогнул. О докторе отец и слышать не хотел: «Не поможет он мне, от смерти нет лекарства!» Едва выпросила позволение пригласить врача, для моего спокойствия.

Лекарства он все принимал безропотно, но ни минуты не сомневался в их бесполезности.

11 сентября 1880 г. хотел перейти от кресла к кровати и не мог, сказал: «Ножки отказались служить», и опять-таки со спокойной улыбкой, без испуга, без огорчения. С этого дня я не отходила от дорогого больного, ночи проводила в его кресле. Спал он тихо и спокойно, как дитя. Проснувшись, всякий раз улыбался мне самой счастливой улыбкой. На все вопросы мои отвечал: «Слава Богу, ничего не болит». И так ни жалобы, ни стоны до конца.

Одна из сестер моих гостила тогда у меня, других двух я вызвала телеграммами; он им был ужасно рад, но о близкой кончине своей не говорил им ни слова, — верно, не хотел зараннее огорчать их.

14-го сентября 1880 г. наш бедный больной стал забывать, спрашивал, где мы живем? Не мог вспомнить названия нашего уездного города. Но и тут он говорил *только* о своих дочерях, молился об их счастии. Со мной был все время так ласков, так нежен, что я и теперь не могу без слез вспомнить об этом!

16 сентября исповедался и приобщился с радостью и благоговением; тут он совершенно пришел в себя. Опять ласково уговаривал меня не плакать, не горевать о нем, просил похоро-

нить его рядом с матерью (покойною давно) около церкви, просил поставить памятник и решетку, такие, как у матери.

Ночь после этого отец провел не совсем спокойно. Несколько раз просыпался, просил помочь ему посидеть. Подниму моего голубчика, посидит, прислонившись ко мне, поблагодарит и просит опять положить его. К утру заснул тихо, спокойно и крепко.

Все в доме встали, приходили на цыпочках узнать о здоровье больного, — он не просыпался.

В два часа приехал доктор из Киева и сказал, что отец уже не проснется, хотя дыхание его было ровно и спокойно, а пульс, по словам доктора, сильный, как у здорового.

Доктор предложил мне оживить отца на несколько часов, но я пожалела его, не дала мучить. Несмотря на увещание доктора, я продолжала сидеть около отца, он продолжал так же спокойно спать.

17-го сентября, около 6 часов вечера, стал дышать реже, тише, тише, потом — совсем перестал.

Вот все, что я могла рассказать вам, многоуважаемый Михаил Иванович, о последних днях вашего сотрудника и почитателя.

Скончался мой отец, Э. И. Стогов, на 83-м году своей жизни.

*И. Э. Змунчила, рожденная Стогова*

### III. Инструкция графа А. Х. Бенкендорфа чиновнику III отделения

Стремясь выполнить в точности высочайше возложенную на меня обязанность и тем самым споспешествовать благотворительной цели Государя Императора и отеческому Его желанию утвердить благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть их охраняемыми законами и восстановить во всех местах и властях совершенное правосудие, я поставляю вам в непрременную обязанность, не щадя трудов и заботливости, свойственных верноподданному, наблюдать по должности следующее:

1е. Обратитъ особое ваше внимание на могущие произойти без изъятия во всех частях управления и во всех состояниях и местах злоупотребления, беспорядки и закону противные поступки.

2е. Наблюдать, чтоб спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо властью или преобразованием сильных лиц, или пагубным направлением людей злоумышленных.

3е. Прежде нежели приступить к обнаруживанию встретившихся беспоряд[ков], вы можете лично сноситься и даже предварять начальников и членов тех властей или судов или те лица, между коих замечены вами будут незаконные поступки, и тогда уже доносить мне, когда ваши домогательства будут тщетны; ибо цель вашей должности должна быть прежде всего предупреждение и отстранение всякого зла. Например, дойдут ли до вашего сведения слухи о худой нравственности и дурных поступках молодых людей, предварите о том родителей или тех, от коих участь их зависит, или добрым вашим внушением старайтесь поселить в заблудших стремление к добру и возвести их на путь истинный прежде, нежели обнаружить гласно их худые поступки пред правительством.



4е. Свойственные вам благородные чувства и правила несомненно должны вам приобрести уважение всех сословий, и тогда звание ваше, подкрепленное общим доверием, достигнет истинной своей цели и принесет очевидную пользу Государству. В вас всякий увидит чиновника, который через мое посредство может довести глас страждущего человечества до Престола Царского и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под высочайшую защиту Государя императора.

Сколько дел, сколько беззащитных и бесконечных тяжб посредством вашим прекратиться могут, сколько злоумышленных людей, жаждущих воспользоваться собственностью ближнего, устроятся приводить в действие пагубные свои намерения, когда они будут удостоверены, что невинным жертвам их алчности проложен прямой и кратчайший путь к покровительству Его Императорского Величества.

На таком основании вы в скором времени приобретете себе многочисленных сотрудников и помощников; ибо всякий Гражданин, любящий свое Отечество, любящий правду и желающий зреть повсюду царствующую тишину и спокойствие, потщится на каждом шагу вас охранять и вам содействовать полезными советами и тем быть сотрудником благих намерений своего Государя.

5е. Вы без сомнения даже по собственному влечению вашего сердца стараться будете узнавать, где есть должностные люди совершенно бедные или сырые, служащие бескорыстно верой и правдой, не могущие сами снискать пропитание одним жалованием, о каковых имеете доставлять ко мне подробные сведения для оказания им возможного пособия и тем самым выполните священную на сей предмет волю Его Императорского Величества — отыскивать и отличать скромных верно-служащих.

Вам теперь ясно открыто, какую ощутимую пользу принесет точное и беспристрастное выполнение ваших обязанностей, а вместе с тем легко можете себе представить, какой вред и какое зло произвести могут противные сей благотворительной цели действия: то конечно нет меры наказания, какому подвергнется чиновник, который, чего Боже сохрани, и чего я даже и помыслить не смею, употребит во зло свое звание; ибо тем самым совершенно разрушит предмет сего отеческого государя Императора учреждения.

Впрочем, нет возможности поименовать здесь все случаи и предметы, на кои вы должны обратить свое внимание, ни пред-

начертать вам правил, какими вы во всех случаях должны руководствоваться; но я полагаюсь в том на вашу прозорливость, а более еще на беспристрастное и благородное направление вашего образа мыслей.

Подписано: *генерал-адъютант Бенкендорф*

# Комментарии

## I

- <sup>1</sup> Послание обращено к М. И. Семевскому, бывшему в 1870–1892 гг. редактором журнала «Русская старина».
- <sup>2</sup> В данном случае *Адмиралтейство* — государственное предприятие, расположенное на берегу реки или моря, предназначенное для выполнения работ по ремонту и длительному хранению кораблей. Стогов занимал должность начальника иркутского Адмиралтейства в 1830–1832 гг.
- <sup>3</sup> Имеется в виду поход 1569–1570 гг. Ивана IV Грозного на Новгород и Псков, сопровождавшийся разгромом этих городов, массовыми убийствами, выселением многих знатных семей за пределы бывшей Новгородской республики.
- <sup>4</sup> В древних Афинах изгнание из города отдельных лиц по постановлению народного собрания.
- <sup>5</sup> Недвижимое имение, вотчина (*В. И. Даль*).
- <sup>6</sup> К вставке из публикации 1903 г.

*Генеральное межевание* — точное определение границ земельных владений отдельных лиц, городов, церкви и др., проводившееся в 1765–1861 гг.

*Сам-третий* — т. е. в три раза больше, чем сеяли.

*Десятина* — русская поземельная мера; в XVIII–XIX вв. существовали различные виды десятин (напр., косая, сотенная и т. п.); в данном случае речь скорее всего идет о казенной десятине, равной примерно 1 га.

*Более 200 дней в году постных* — Стогов не преувеличивает: постными считались среда и пятница каждой недели, Великий пост (49 дней), Петров пост (от 42 до 8 дней), Успенский пост (15 дней) и Рождественский пост (40 дней).

*Монастырь Колоцкой Божией Матери* — Колоцкий мужской монастырь 3-го класса, основанный в XV в. на берегу р. Колочи по случаю явления иконы Богородицы; располагался в Гжатском у. Смоленской губ.

*Великий пост* — семинедельный пост, предшествующий Пасхе.

- 7 Сведений о деде мемуариста и других его родственниках не сохранилось; с его слов можно установить лишь примерные годы жизни его родителей.
- 8 *Околодок (околоток)* — подразделение полицейского городского участка в дореволюционной России.
- 9 *Поезжане* — лица, находящиеся в составе свадебного поезда.
- 10 *Околица* — изгородь вокруг деревни или ворота (проход) в этой изгороди при въезде в деревню.
- 11 *Слобода* — вид поселений, возникших возле крепостей, городов, жители которых освобождались от налогов и повинностей. Начиная с XVIII в. слободы, сохранив свое название, превратились в обычные села, деревни, городские кварталы.
- 12 *Полушка* — самая мелкая монета, равная  $\frac{1}{4}$  копейки.
- 13 *Деньга* — мелкая монета, равная  $\frac{1}{2}$  копейки.
- 14 *Хаджи-бей* — татарское поселение, вошедшее в состав России по Ясскому мирному русско-турецкому договору (1791); в 1795 г. было переименовано в Одессу.
- 15 *Рекрут* — в русской армии в 1705–1874 гг. лицо, зачисленное в армию в соответствии с рекрутской повинностью.
- 16 *Капрал* — воинское звание младшего командного состава в России в конце XVIII — начале XIX в.
- 17 *Крашенинный* — шитый из крашенины, грубой крашеной ткани домашнего изготовления.
- 18 Т. е. примерно 174 см (старинные русские меры длины равны: 1 вершок = примерно 4,5 см; 1 аршин = 16 вершкам = примерно 71 см).
- 19 Согласно «Учреждениям для управления губерний Всероссийской империи о губерниях» 1775 г., в губернских учреждениях примерно  $\frac{1}{3}$  штатного состава чиновников замещалась лицами, выбранными местными дворянами из своей среды; в уездах число лиц, занимавших должности в местном управлении на основе выборов, было еще больше. В данном случае, скорее всего, отец мемуариста был главой уездного сословного суда.
- 20 *Игумен* — настоятель монастыря.
- 21 *Всенощная, или всенощное бдение* — вечернее богослужение в православной церкви, совершаемое накануне особо чтимых церковных праздников и накануне дней, в которые совершается поминовение святых, чтимых в той или иной местности.
- 22 *Федор Тирон* — раннехристианский великомученик, чье поминовение совершается 17 февраля (по ст. ст.) и в субботу первой недели Великого поста.
- 23 *Клиросы* — места для певчих, располагающиеся на возвышении перед иконостасом с правой и левой стороны.

- 24 Сведения Стогова о том, что П. Б. Бланк был известным экономистом, подтвердить не удалось. Редактор журнала «Русский архив» П. А. Бартенев, публикуя мемуары его брата-близнеца Василия Борисовича, сообщает, что Петр Борисович был известным деятелем Тамбовской губернии, автором книги «О съедобных грибах в России». Очевидно, Стогов спутал Петра Борисовича с его старшим братом — Григорием Борисовичем, который после выхода в отставку в 1850-х гг. активно выступал в печати (в том числе в «Трудах Вольного экономического общества»), защищая крепостное право, которое, по его мнению, являлось оригинальной и благотворной особенностью русской жизни.
- 25 *Соборование (елеосвящение)* — одно из семи таинств, признаваемых православной церковью, совершаемое над тяжелобольными или умирающими.
- 26 *Гардемарин* — звание воспитанника старших рот Морского кадетского корпуса.
- 27 *Глаголем* — т. е. буквой Г, называвшейся *глагол*.
- 28 Различные административные учреждения.
- 29 *Муравленный* — покрытый «муравой», т. е. глазурью.
- 30 *Гербовая бумага* — особая бумага с государственным гербом, продаваемая для оформления документов по гражданско-правовым сделкам, как бы подтверждающая уплату казне соответствующих подобным сделкам пошлин.
- 31 *Грош* — медная монета достоинством в 2 копейки.
- 32 Прилагательное *смазной* употреблялось для характеристики кожаных изделий, которые смазываются дегтем или ворванью (жидким жиром из рыб и других морских животных).
- 33 *Шафер* — в церковном свадебном обряде человек, состоящий при женихе (или невесте) и во время венчания держащий у него (нее) над головой венец.
- 34 Металлические брачные венцы, имеющие форму царской короны, употребляются только во время венчания и даже тогда не надеваются на головы жениха и невесты, а держатся над их головами.
- 35 *Сенные девушки* — прислуга в барском доме.
- 36 *Пошевни* — широкие крестьянские сани, обитые лубом или тесом.
- 37 Во время становления Московского государства (XIV–XV вв.) г. Руза находился в непосредственной близости от границ с Великим княжеством Литовским, правители которого совершали походы даже под стены Москвы.
- 38 *Соляной пристав* — одна из выборных должностей уездных чиновников.
- 39 *Фунт* — старинная мера веса, равная 409,5 г.

- 40 *Городничий* — по губернской реформе 1775 г. глава административно-полицейской власти в уездном городе; эта должность не выборная, а назначаемая.
- 41 *Исправник* (или *капитан-исправник*) — по губернской реформе 1775 г. глава полиции в уезде; избирался местным дворянством.
- 42 *Лужецкий Богородице-Рождественский мужской монастырь* 2-го класса; основан в начале XV в.; располагался в Можайском у. Московской губ.
- 43 *Иеромонах* — монах-священник.
- 44 *Темляк* — согнутая пополам тесьма (нитяная, кожаная или из галуна) с кистью на конце, носимая на рукоятке (эфесе) меча, шпаги, сабли, шашки.
- 45 *Морской кадетский корпус* — учебное заведение закрытого типа для подготовки морских офицеров, основан в 1752 г.
- 46 *Некрасивый армянин* — П. И. Шаликов был грузином.
- 47 *Абрис* — линейное очертание предмета.
- 48 Имя князя П. И. Шаликова стало нарицательным для обозначения приторной слащавой чувствительности, а сам Шаликов был объектом многочисленных эпиграмм, например:  
Дитя пастушеской натуры,  
Писатель Нуликов так сладостно поет,  
Что уж пора ему назваться без хлопот  
Кондитером литературы.
- 49 Возможно, речь идет о графе Алексее Ивановиче Мусине-Пушкине. Рассказ Стогова относится к первому десятилетию XIX в.; согласно «Истории родов русского дворянства» П. Н. Петрова (СПб., 1886), среди графов Мусиных-Пушкиных именно Алексей Иванович в это время имел дочерей в возрасте, подходящем к описанию Стогова: Екатерину, Софью и Веру соответственно 1786, 1792 и 1796 годов рождения.
- 50 *Народная школа* — народные училища были созданы в 1786 г. для детей из непривилегированных сословий и предусматривали двухлетний срок обучения (чтению, письму, катехизису, священной истории, элементарному курсу грамматики и арифметики); в 1803–1804 гг. были преобразованы в уездные училища.
- 51 Описанная Стоговым деревянная (а не каменная) скульптура Николы Можайского, выполненная в XIV в., являлась редчайшим образцом объемной скульптуры допетровской Руси. Она была самой почитаемой святыней города, слава о которой распространилась далеко за его пределы.
- 52 Упоминаемое Стоговым выравнивание главной — Дворянской (ныне Московской) — улицы, скорее всего, было связано не с желанием городничего, а с серьезной перестройкой Можайска в соответствии с регулярным планом городов Московской губернии, утвержденным в

1784 г. Согласно этому плану Можайск должен был стать регулярным городом с четкими прямоугольными кварталами в центре.

53 *Мартинисты* — члены одной из масонских организаций, получивших широкое распространение в России на рубеже XVIII–XIX вв.; название происходит от фамилии одного из наиболее почитаемых ими авторов мистических сочинений — француза Клода Луи Сен-Мартена (1749–1803).

54 Стогов путает: именно О. А. Поздеев был известным масоном; о сыне известно только то, что он был морским офицером.

55 *Казенные*, точнее — государственные *крестьяне* — одно из сословий в России в XVIII — 1-й пол. XIX в.; жили на казенных землях, платили казне ренту, подчинялись правлению государственных органов и считались лично свободными.

56 К вставке из публикации 1903 г.

...граф Каменский своего сына полковника перед фронтом наका-  
зал палками — Речь идет о генерал-фельдмаршале графе Михаиле Федоровиче Каменском и его старшем сыне — генерале от инфантерии Сергее Михайловиче. Сохранились воспоминания Энгельгардта, подтверждающие сказанное Стоговым: однажды, когда Сергей Михайлович был уже в чинах, отец публично нанес 20 ударов арапником [длинная охотничья плеть с короткой рукоятью. — Е. М.] за то, что он не явился в срок по какому-то служебному делу.

57 *Святки* — период от Рождества Христова (25 декабря по ст. ст.) до Крещения (6 января по ст. ст.), во время которого совершались многие обряды, сохранившиеся с языческих времен, в том числе гадания.

58 В древнегреческой мифологии богинь-покровительниц наук и искусств было девять; прозвище Буниной подчеркивает ее исключительность как женщины-поэтессы.

59 К вставке из публикации 1903 г.

*Будучи 17 лет, А. П. Бунина...* — Как это бывает нередко в мемуарах Стогова, в этом эпизоде описание реальных событий переплетается с вымыслом. — А. П. Бунина, рано лишившись родителей, до 1802 г. (т. е. до 28 лет) жила в деревне у родственников, затем переселилась в Петербург. В 1809 г. вышел сборник ее стихотворений «Неопытная муза», обративший на себя внимание жены Александра I — императрицы Елизаветы Алексеевны, назначившей Буниной ежегодный пенсион в 400 рублей. В 1811 г. за одно из новых стихотворений она получила от императрицы золотую лиру, осыпанную бриллиантами, для ношения на плече в торжественных случаях. В 1814 г. за «Песнь Александру Великому, победителю Наполеона и восстановителю царств» заслужила благоволение императора. В 1815 г. Бунина была отправлена в Англию для лечения за казенный счет; после возвращения в Россию в 1817 г. большую часть оставшейся жизни провела в провинции.

- 60 Т. е. к сестре Александра I — Екатерине Павловне, бывшей замужем за герцогом Георгом Ольденбургским. Принц в это время был тверским, новгородским, ярославским губернатором, и его главной резиденцией была Тверь.
- 61 *Ридикюль* — ручная женская сумочка.
- 62 *Камердинер* — слуга при господине (от нем. «комнатный слуга»).
- 63 *Флагман* — командующий флотом или соединением кораблей, которому присвоен должностной флаг.
- 64 Стогов рассказывает об этих событиях со слов ближайшего окружения адмирала, склонного его во всем оправдывать. В потере корабля «Всеволод» Ханыков, действительно, был не виноват: его приказ прийти «Всеволоду» на помощь не был выполнен капитаном корабля «Гавриил» Чернавиным (впоследствии за это привлеченным к суду). Но Ханыков был предан суду за неудачные действия против англо-шведской эскадры во время русско-шведской войны 1808–1809 гг. Оценивая эти события, Д. Б. Броневский, принимавший в них непосредственное участие, писал: «...кампания 1808 г. для корабельного флота была унизительна, но это произошло от слабодушия нашего адмирала и одного капитана». Адмиралтейств-коллегия сочла Ханыкова виновным «в неосмотрительной оплошности, слабости в командовании, медлительности и нерешительности» и приговорила к разжалованию на месяц; однако приговор не был подтвержден императором.
- 65 *Фельдзегерь* — военный или правительственный курьер для доставки важных документов.
- 66 Э. И. Стогов был зачислен в Морской кадетский корпус 8 февраля 1810 г.
- 67 *Кадет* — воспитанник младших классов Морского кадетского корпуса.
- 68 Скорее всего речь идет о Павле Александровиче Бартеневе (? — 1826), произведенном в гардемарины в мае 1811 г. и закончившем Морской кадетский корпус в 1814 г.
- 69 *Гор[о]виц, Варшавский* — Стогов имеет в виду выходцев из состоятельных еврейских семей. Западные губернии, где он жил на скло- не лет, входили в так называемую «черту оседлости», и здесь фамилии Горвицев и Варшавских были достаточно распространены.
- 70 В «Очерках истории Морского кадетского корпуса» Ф. Ф. Веселаго пишет о П. К. Карцове: «При своих преклонных летах, присутствуя еженедельно в Государственном Совете, Правительствующем Сенате и Адмиралтейств-коллегии и еще дома занимаясь делами, он не мог входить во все подробности управления и вполне доверял: распорядительную часть — Бярятинскому, Мамаеву, В. М. Головнину и впоследствии И. И. Сульменеву, а учебную [Платону Яковлеви- чу. — Е. М.] Гамалею и потом Горковенко. Воспитанники видели его чрезвычайно редко; в последнее время два или один раз в год».



- <sup>71</sup> *Штаб-офицер* — старший офицер, имеющий чин от майора до полковника.
- <sup>72</sup> *Обер-офицеры* — младшие офицерские чины до капитана включительно.
- <sup>73</sup> Стогов был произведен в гардемарины 13 мая 1814 г.
- <sup>74</sup> Отец пяти упоминаемых Стоговым братьев — Николай Петрович Семенов был женат на Марье Петровне Буниной — родной сестре Ивана Петровича, Анны Петровны Буниных и Варвары Петровны Усовой.
- <sup>75</sup> С 1814 г. великий князь Константин Павлович был главнокомандующим польской армии и фактическим наместником Царства Польского; постоянно проживал в Польше.
- <sup>76</sup> Вероятно, Стогов ошибся: среди выпускников Морского корпуса такая фамилия не встречается, но в 1808–1817 гг. одновременно со Стоговым и другими упоминающимися здесь лицами в корпусе учился и закончил его Колюбакин Василий Андреевич, который в 1826 г. вышел в отставку с чином капитан-лейтенанта.
- <sup>77</sup> К вставке из публикации 1903 г.

*Апокалипсис* (Откровение апостола Иоанна Богослова) — последняя из книг Нового Завета, в которой в форме аллегорий описываются будущие судьбы мира: борьба Христова воинства с Антихристом, второе пришествие Христа, конец света и Страшный суд. Там, в частности, говорится: «И увидел я... зверя с семью головами и десятью рогами... И дивилась вся земля... говоря... кто может сразиться с ним?.. И поклонились ему все живущие на земле... Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число 666».

Сражение под Бородиным произошло 26 августа (7 сентября) 1812 г.

*Аванпост* — передовой пост, выставленный войсками для своего охранения.

- <sup>78</sup> *Лейб-медик* — придворный врач.
- <sup>79</sup> Стогов ошибается: в гардемарины он был произведен 13 мая 1814 г.
- <sup>80</sup> Встреча Стогова с Авиновым, очевидно, относится к 1817 г., когда Авинов на корабле «Орел», а Стогов — на корабле «Берлин» находились в плавании от Кронштадта до Кале.

## II

- <sup>1</sup> ...он единственный учредитель клуба в Кронштадте — И. П. Бунин в 1802 г. основал Кронштадтское благородное собрание, которое позднее было переименовано в Кронштадтское морское собрание; по образцу его затем стали создаваться подобные организации и в других российских портах.

- 2 Все трое были откомандированы в Охотск в 1819 г.
- 3 *Генерал-аудитор* — заведующий судебной частью корпуса.
- 4 *Интендант* — военнослужащий, ведающий делами хозяйственного снабжения и войскового хозяйства.
- 5 *Рунд* — ближайший помощник дежурного по караулам («Устав гарнизонной службы») или лица, посылаемые начальником передовых постов для проверки последних («Устав полевой службы»).
- 6 *Форштадт* — предместье города.
- 7 *Танцевали только экосез... — Кадриль, экосез, тампет, матредур, котильон* — бальные танцы, популярные в начале XIX в.; разновидности контрданса, в котором возможно участие любого количества пар, образующих круг или две противоположные линии танцующих.
- 8 *Сажень* — русская мера длины, равная 2,1 м.
- 9 Дошедшие до нас отзывы современников о Трескине совпадают с рассказом Стогова, даже в тех нечастых случаях, когда мемуаристы симпатизировали губернатору. Сравните, например, рассказ одного из сибирских чиновников Н. П. Булатова: «Трескина я глубоко уважаю. Это был гениальный администратор. Конечно, он действовал деспотически; но таково было время, таков был дух...
- Впрочем, Трескина вынуждали к крутым мерам и самые обстоятельства. Местное купечество до него было так сильно, что 5 или 6 губернаторов сряду... были сменены по их жалобам. Когда поступил Трескин, купцы сначала присматривались, каков он будет... Трескину было необходимо показать свою силу...
- Не знали, когда спит Трескин. Его можно было встретить во всякое время дня и ночи, встретить скорее всего там, где не ожидаете... Трескин не любил формы и часто даже принимал в халате, — ходил по городу, заходил в частные дома, замечал все. То смотрит он на базаре калачи, и горе калашнице, которая обвесит хоть на золотник... Ходил он обыкновенно один, но полицейские следили издали и тотчас являлись куда нужно. Зайдет, бывало, в частный дом и видит — муж с утра ушел на работу, а жена сидит и попивает чаек. „А что ты, матушка, приготовила мужу поесть?“ — и в печь. А в печи-то ничего нет. Тотчас расправа».
- Или рассказ иркутского купца П. И. Обухова: «Трескин был прекрасный человек, распорядительный начальник!.. Конечно, с казной он делился порядочно. И насчет взяток тоже. Главным деятелем у него по этой части был Третьяков... „Губернатор, — говорит этот, — не берет, а вот Агнессе Федоровне [жене Трескина. — Е. М.] надобно поклониться. Купи мех соболий“. — Принесут мех, сторгуются тысяч за 5, за 6; и мех возьмут, и деньги. Другому, третьему — то же».
- 10 *Первогильдейцы* — купцы, принадлежавшие к первой (высшей из трех существующих) гильдии — корпоративной купеческой орга-

- низации, принадлежность к которой давала определенные сословные и хозяйственные привилегии. Для записи в первую гильдию требовалось наличие капитала в 10 тысяч рублей и более.
- 11 Сменивший И. Б. Пестеля на этом посту М. М. Сперанский в официальном отчете обвинял Пестеля в том, что он жил вне управляемого края (с 1809 г.), давал слишком много власти губернаторам и защищал их противозаконные действия. Сам Пестель считал себя жертвой «гнусных доносчиков» из Сибири и происков многочисленных врагов (в том числе и из среды высшей столичной бюрократии). Свое пребывание в Петербурге, а не в Сибири он оправдывал слабым здоровьем и тем, что сам неоднократно просил Александра I об отставке, но так ее и не получил. Вопреки распространенному мнению, что Пестель так же, как и Трескин, накопил большое состояние за счет взяток, он материальной выгоды от своей должности не получал и вышел в отставку, имея громадные долги, которые сумел полностью вернуть лишь незадолго до своей смерти.
- 12 После возвращения на государственную службу М. М. Сперанский в 1816–1819 гг. был пензенским губернатором, а затем в 1819 г. был назначен сибирским генерал-губернатором.
- 13 *Императорское третное в кармане* — т. е. треть годового жалованья (в то время жалованье часто выплачивалось по третям года).
- 14 *Я не застал жены его живою...* — Агнесса Федоровна Трескина погибла 9 мая 1819 г.
- 15 Стогов неверно называет имя и отчество спутника А. Ф. Трескиной во время ее последней поездки; речь идет об известном сибирском золотопромышленнике Ефиме Андреевиче (а не Иване Ефимовиче) Кузнецове.
- 16  $-20, -25^{\circ} \text{P}$  (точнее  $-20, -25^{\circ} \text{R}$ ) — имеется в виду вышедшая в наши дни из употребления шкала определения температуры по Реомюру.  $1^{\circ}$  по Реомюру равен  $1,25^{\circ}$  по употребляемой в наши дни шкале Цельсия. Т. е. речь идет о морозах  $-25^{\circ}$ , (примерно)  $-31^{\circ} \text{C}$ . Реомюр Рене Антуан (1683–1757), французский естествоиспытатель, иностранный почетный член Петербургской АН, физик, изобретатель шкалы термометра.
- 17 *Вицмундир* — форменный фрак гражданских чиновников.
- 18 *Ратуша* — здание, в котором находятся органы городского самоуправления.
- 19 Сперанский опекал Жоржа (Егора Егоровича) Вейкарта потому, что тот был сыном его умершего друга — врача Ж. Вейкарта; родственниками они не были.
- 20 *Цейер — правая рука Сперанского по бумагам.* — Цейер начал службу под началом Сперанского в 1797 г. в канцелярии генерал-прокурора Сената, а затем, по свидетельству М. А. Корфа,

«более 30 лет следовал неотлучно за всеми коловратностями его судьбы, оставаясь постоянно и неизменно ему преданным, деля его тяготы и горе, живя его жизнью».

- 21 ...он только носил звание, Сперанский не употреблял его. — Сперанский писал 20 мая 1820 г. графу В. П. Кочубею: «Канцелярия моя вся составлена из людей, при Иване Борисовиче бывших. Сначала я им не доверял, но впоследствии узнал, что они ни в чем не участвовали. Правитель канцелярии Шкларевский есть старый сенатский секретарь... В нем один только порок, что он болен, дряхл и не может управлять никакою канцеляриею. Он ничего не получил при переходе в Сибирь. Настоящий чин заключит его службу и очистит место другому».
- 22 Стогов ошибается: Батенков был серьезно ранен (10 штыковых ран) не в 1812 г., а в январе 1814 г. в сражении при Монмирале и тогда же попал в плен, в котором находился до февраля того же года.
- 23 *Канонир* — рядовой артиллерии.
- 24 *Кагал* — собрание (др.-еврейск.).
- 25 Стогов ошибается: в те годы Батенков еще не входил в декабристскую организацию; он стал членом Северного общества декабристов только в ноябре 1825 г. В данном случае, очевидно, речь шла об одной из масонских лож, членом которой был Батенков.
- 26 *Фут* — английская мера длины, равная 0,3 м.
- 27 *Вагенмейстер* — офицер, ведающий обозом воинской части.
- 28 Неясно, кого имеет в виду Стогов. У Батенкова действительно была невеста.
- 29 В литературе, посвященной Батенкову, упоминание о подобном свидании не встречается.
- 30 Батенков был приговорен к 20 годам каторжных работ, но вместо этого на основании высочайшего повеления до 1846 г. содержался в одиночной камере в крепости, затем был отправлен под строгий надзор полиции в Томск, который ему было разрешено покинуть после амнистии декабристов в 1856 г. Немотивированное изменение наказания и длительное содержание в одиночке дали современникам и исследователям повод для разнообразных предположений. Неоднократно высказывалась версия о причастности к этому Сперанского, якобы желавшего таким образом скрыть свои связи с тайным обществом.
- 31 Намек на происхождение Сперанского, который был сыном сельского священника и получил образование в духовной семинарии.
- 32 *Откупщик* — человек, получивший от государства за денежный взнос в казну исключительное право на получение каких-либо доходов или продажу каких-либо товаров (например, вина).
- 33 *Варначок*, от слова *варнак* — так в Сибири называли ссыльнокаторжных.

## III

- <sup>1</sup> *Кяхта* — торговая слобода, появившаяся в середине XVIII в. вокруг крепости того же названия; до строительства Китайско-Восточной железной дороги в начале XX в. — центр русско-китайской торговли; располагалась в трех верстах от заштатного города Забайкальской области Троицкосавска (основан в 1727 г.) и 80 саженях (примерно 170 м) от китайской торговой слободы Маймачин.
- <sup>2</sup> *Дзаргучей* — глава администрации китайской слободы Маймачин.
- <sup>3</sup> *Далай-лама* — титул первосвященника ламаистской церкви в Тибете.
- <sup>4</sup> *Каббала* — мистическое учение в иудаизме.
- <sup>5</sup> *Иезуиты* — члены католического монашеского ордена («Общество Иисуса»).
- <sup>6</sup> *Ганжур* — священная книга буддизма; собрание канонических произведений, приписываемых Будде, состоит из 108 томов.
- <sup>7</sup> *Данжур* — собрание тибетских канонических произведений, написанных разными лицами. Является продолжением Ганжура, содержит комментарии к нему и состоит из 225 томов.
- <sup>8</sup> *Американская компания* — точнее: Российско-американская компания — торговое объединение, учрежденное в 1799 г. в России в целях освоения территории Русской Америки, Курильских и др. островов. Ей предоставлялись в монопольное пользование все промыслы и ископаемые, находящиеся на той территории, право организовывать экспедиции, занимать вновь открытые земли и торговать с соседними странами. Была ликвидирована в 1868 г. в связи с продажей Аляски Америке.
- <sup>9</sup> Может быть, имеется в виду М. Н. Васильев.
- <sup>10</sup> Город в северной Богемии, входившей в состав Австрийской империи; здесь в сентябре 1833 г. была подписана конвенция между Россией и Австрией.
- <sup>11</sup> Стогов был переведен в Корпус жандармов 29 октября 1833 г. К вставке из публикации 1903 г.
- Положено было встретиться на другой день у Мордвинова на обеде... — скорее всего имеется в виду А. Н. Мордвинов.
- <sup>12</sup> *Патент* — документ на право занятия определенной должности (например, на офицерское звание).
- <sup>13</sup> Вместо этого абзаца в журнальной публикации было напечатано: «Меня назначили в Симбирскую губернию» (1878. № 12. С. 637).
- <sup>14</sup> Как отмечает И. В. Оржеховский (автор монографии о III отделении с.е.и.в.к.), в конце 1820 — начале 1830-х гг. инструкции, на основании которых предстояло действовать жандармским штаб-офицерам, отличались изобилием общих фраз «о долге, чести, ответствен-

ности» (см., например, приложение № 3) и порой противоречили друг другу. Кроме того, в это время Корпус жандармов комплектовался в значительной степени за счет офицеров, переведенных, подобно Стогову, из других ведомств и потому не имевших никакой специальной подготовки. Составить четкое представление о круге их должностных обязанностей было крайне затруднительно, и поэтому каждый из штаб-офицеров действовал в конечном счете по своему разумению.

Что касается полковника Маслова, то оценка его деятельности начальством (о чем свидетельствуют ежегодные отчеты о деятельности III отделения и Корпуса жандармов) была иной. В 1834 г. из Симбирской губернии он был переведен с повышением — поставлен во главе VII Округа Корпуса жандармов, вскоре «приобрел расположение генерал-губернаторов Восточной и Западной Сибири», способствуя «им всеми мерами к удержанию порядка в сем отдаленном крае», и в 1836 г. произведен в генерал-майоры.

15 В это время (с июля 1831 г. по декабрь 1834 г.) симбирским губернатором был А. М. Загряжский.

16 [подлец!] — вместо этого слова в публикации было напечатано в скобках: «более чем человек нехороший».

17 Стогов не был очевидцем событий на Сенатской площади и описывает их с чужих слов. История назначения Загряжского симбирским губернатором, рассказанная им, весьма сомнительна. За пять с половиной лет, прошедших с момента восстания до назначения Загряжского симбирским губернатором в июле 1831 г., он успел сменить ряд должностей: в январе 1826 г. был «уволен от военной службы для определения к статским делам»; служил в Сенате; «за усердную службу и особенные труды комиссии по коронации императора Николая I» был пожалован кавалером ордена Св. Анны 2-й степени; в 1829 г. назначен управляющим тамбовскою удельною конторою; в июле 1831 г. перешел из удельного ведомства в Министерство внутренних дел и получил назначение в Симбирск.

18 *Флигель-адъютант* — почетное звание, присваиваемое офицерам, состоящим в свите императора.

19 *Полумпериал* — русская золотая монета достоинством 5 рублей.

20 Сведений о майоре Юрьевиче найти не удалось, но в описываемое время при дворе, действительно, был Юрьевич Семен Алексеевич (1798–1865), являвшийся помощником воспитателя наследника цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II).

21 *Унтер*, т. е. унтер-офицер — звание младшего командного состава в русской армии.

22 Точнее: Фикельмон Карл-Людвиг.

- 23 ...по особым приключениям. — Т. е. чиновник по особым поручениям.
- 24 *Удельные имения* — имения, принадлежавшие императорской фамилии.
- 25 *Святейший Синод* — высший орган управления православной церковью в России с 1721 по 1917 г. Члены Синода назначались императором из духовных лиц; надзор за деятельностью Синода осуществлял обер-прокурор — также назначаемый императором, но из числа военных или гражданских чиновников.
- 26 *Гражданская палата* — т. е. палата гражданского суда, один из губернских судебных органов, в котором также оформлялись купчие, доверенности, духовные завещания и другие тому подобные документы.
- 27 *Андрей Первозванный* — первый из 12 апостолов Христовых, именуемый поэтому «Первозванным».
- 28 *Казенная палата* — орган Министерства финансов в губернии.
- 29 Раз в три года по разрешению губернатора в губернском городе созывалось губернское, а в уездных — уездное дворянские собрания, на которых выбирали соответственно губернского и уездных предводителей дворянства и некоторых других должностных лиц местной администрации.
- 30 Упомянутый Стоговым князь Дадьян скорее всего принадлежал к владетельному роду Дадиан, правившему в Мингрелии; в 1803 г. князья Дадиан приняли подданство России на правах вассальных владетелей, а в 1867 г. — окончательно уступили свои права России.
- 31 *Андреевская звезда* — орден святого апостола Андрея Первозванного, первый и высший орден России.
- 32 Хотя в публикации 1878 г. фамилия губернатора была скрыта под буквой «Z» и отсутствовал рассказ об отчете в «юмористическом духе», отправленном Стоговым в III отделение, а также упоминание о слезах и отчаянии Загряжского, бывший губернатор тотчас же прислал в редакцию письмо-протест. «Говорю категорически, — гневно писал он, — все, что г. Стогов повествует в своих рассказах об этом Z, если только он разумел под этой буквою меня, то положительно выдумка и клевета». Подчеркивая, что он не желает останавливаться на мелочах, Загряжский обращал внимание на «самый крупный факт», опровергающий «измышления» Стогова. Как следует из присланного им в редакцию формулярного списка, он продолжал государственную службу и после отъезда из Симбирска и вышел в отставку по болезни только в 1867 г. и по своему прошению. Загряжский требовал предоставить ему возможность в той же «Русской старине» опубликовать свои собственные воспоминания, чтобы всем окончательно стало ясно, что

«Записки» Стогова — это «оскорбительное, грязное, лживое и недостойное никакого порядочного человека марание бумаги». Редакция принесла Загряжскому свои извинения, в № 1 за 1879 г. были опубликованы его письмо и выдержки из формулярного списка, ему было обещано опубликовать его мемуары, как только они будут завершены. Но мемуары так и не появились.

Таким образом, видно, что рассказ Стогова порой нуждается в коррективах, а особенно его неоднократные упоминания о том, что то или иное должностное лицо увольняется с предписанием «впредь никуда не определять». И все же в данном случае есть все основания больше доверять Стогову, нежели Загряжскому. Рассказ Стогова можно сравнить с воспоминаниями преемника Загряжского на посту симбирского губернатора — И. С. Жиркевича, которого Загряжский не пытается опровергать. Жиркевичу не свойственна эмоциональность и склонность к преувеличениям, характерные для Стогова; к тому же он не одобряет некоторые поступки жандармов (Флиге и Стогова) в отношении своего предшественника. Однако его рассказ отличается от рассказа Стогова не по сути, а лишь в деталях (и не только относительно Загряжского). Жиркевич подтверждает, что отставке Загряжского предшествовала размолвка между ним и губернским предводителем Баратаевым, чью дочь скомпрометировал губернатор, будучи «нескромнен в речах и часто без размышления о последствиях». Он также подтверждает, что конфликт получил очень широкий резонанс — и в Симбирске, и в столице (правда, в качестве информаторов он называет не Стогова, а управляющего удельною конторою А. В. Бестужева и жандармского полковника К. Я. Флиге). Подробный пересказ наставлений, полученных Жиркевичем от Николая I перед отправкой в Симбирск, вскрывает причину смены губернатора: «Я им [Загряжским. — Е. М.] был, впрочем, доволен, но он занемог — политически разумеется! (Государь улыбнулся). У него вышли какие-то дразги с губернским предводителем Баратаевым. Личности, о которых я и знать бы не хотел. Они могли между собой разведаться, как им угодно. Мы бы сквозь пальцы посмотрели на это, но, к несчастью, и моему неудовольствию вмешалось тут дворянство! Оно готово на все и много делает полезного, но на этот раз поступило крайне неосмотрительно, вмешиваясь в это дело. До той минуты, когда я назначил вас в Симбирск губернатором, оно в Загряжском должно было знать своего прямого и настоящего начальника. Загряжский не умел поддерживать звания своего, как следует. Теперь вашему пр[евосходительст]ву предстоит труд поставить звание оное на ту точку, с которой оному не следовало спускаться».

33 Дочь А. М. Загряжского, Елизавета Александровна (1823–1895), вышла замуж за Льва Сергеевича Пушкина в 1843 г. Сам А. М. Загряжский приходился к тому же дальним родственником жене А. С. Пушкина.



- 34 Оценка деловых качеств Флиге, данная Стоговым, во многом совпадает с оценкой Жиркевича, которого Флиге за короткий срок довел буквально до белого каления, забрасывая записками о своих поездках, неисправных дорогах, мостах, нескорой явке чиновников и «разном подобном вздоре». При этом Флиге требовал ответа от губернатора. «Между прочим, — вспоминал Жиркевич, — доходили до меня слухи, что в уездах, куда отправлялся г. Ф[лиге], все занятия сопровождающих членов земской полиции заключались в том, что отводят и устраивают ему квартиру, доставляют ему разные житейские выгоды... Выведенный последнею запискою Ф[лиге] из терпения, я отвечал ему, что я искал в законах формы переписки с жандармскими штаб-офицерами, но ближайшего применения не нашел, как ту, которая указана для командиров баталионов внутренней стражи (те губернатору доносят, а губернатор к ним пишет отношения), что отчетом в моих действиях я обязан только Государю и Сенату... Разумеется, мой ответ ему не понравился. Он возразил мне, что я его обидел... что он имеет счастье носить один мундир с графом Бенкендорфом... Ответ мой ныне вынуждает его приостановить всякую переписку со мной и впредь все, что дойдет до его сведения, на основании «секретной инструкции», будет прямо доносить своему графу. Я благодарил Ф[лиге] за первое со времени нашего знакомства приятное для меня извещение, ибо окончание этой корреспонденции убавит у меня дела — и затем я решился все записки Ф[лиге], от прибытия моего в губернию, включительно с последним отзывом, а также копии с моих отношений, представить министру с просьбой устранить от меня назойливую и бесполезную переписку жандармского офицера, а равно и фамильярные, в сюртуке, визиты».
- 35 *Орден святого равноапостольного князя Владимира* — одна из высших наград в Российской империи; имел 4 степени; на шее носились ордена Св. Владимира 2-й и 3-й степеней, но полковник мог быть награжден лишь орденом 3-й степени.
- 36 Ср. с воспоминаниями самого Жиркевича: «В Симбирск я приехал ночью с 30-го на 31-е марта. Въехавши в город, велел ямщику везти себя в лучшую гостиницу, строго запретив объявлять, что я губернатор. Подъехавши к каким-то воротам, принялись стучать, чтобы вызвать дворника, который после долгих ожиданий, наконец, явился и повел нас в номер, в котором не было даже зимних рам... Холод и сырость в номере были невыносимые. Все убранство ее состояло из 3 или 4 просиженных соломенных стульев, из неокрашенной, загаженной мухами и клопами кровати с соломенным тюфяком, железного сломанного ночника и стен, униженных прусаками... Делать было нечего, безропотно покорился я своей участи, и... сидя на стуле, не решаясь лечь на кровать, продремал до света. В 6 часов послал человека с подорожной оповестить полицмейстера, что новый губернатор ночевал уже в городе».

- 37 В публикации 1903 г.: «история».
- 38 Шутка, фарс (от итал. *buffa*).
- 39 Вместо этих слов в публикации: «нелюбим».
- 40 Орган министерства уделов в губернии.
- 41 Термин *лашманы* происходит от нем. *lashmann* (*lashen* — обрубать, обтесывать и *mann* — человек). В 1718 г. вышел указ, положивший начало формированию сословия лашманов. Он предписывал для работ по вырубке и доставке корабельного леса в Воронежской и Нижегородской губерниях и Симбирском уезде брать татар, мордву и чувашей без всякой платы; с тех из них, которые жили слишком далеко от лесных дач, собирались деньги для найма вольных рабочих. Одновременно предписывалось в русских селах тех же губерний набирать плотников, пильщиков, кузнецов, зачислять их в рекруты и поселять особыми селениями с возложением на них обязанности заготавливать лес для флота. В 1817 г. от данной повинности были освобождены татары, живущие вдали от мест заготовки леса; те, для которых повинность сохранялась, освобождались от поставки рекрутов и получали плату за выполненные работы.
- 42 *Тиммерман* (голланд.) — старший корабельный мастер.
- 43 *Мулла* — служитель религиозного культа у мусульман.
- 44 *Ермолка* — маленькая круглая шапочка.
- 45 *Тамга* — первоначально у монголов особый знак (клеймо), которым отмечалось право собственности на скот; позднее — печать.
- 46 *Гурии* — фантастические девы, согласно Корану, улаживающие жизнь праведников в раю.
- 47 Во время крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева (1773–1775) волнения охватили прилегающие к г. Симбирску территории; сам город осаждался восставшими, но не был взят ими.
- 48 *Пароксизм* — приступ, внезапное обострение болезни.
- 49 *Дормез* — старинная дорожная карета, в которой можно расположиться спать.
- 50 *Фухтель* — от нем. «шпага, палаш». При наказании виновному наносились удары плашмя палашом или шпагой; этот вид наказания существовал в России в XVIII — начале XIX в. (в 1839 г. — заменен на наказание розгами).
- 51 *Курмыш* — уездный город в Симбирской губернии.
- 52 *Ахун* — представитель мусульманского духовенства более высокого ранга по сравнению с муллой.
- 53 Судя по ежегодным отчетам III отделения, события, связанные с переводом казенных крестьян в удельное ведомство, имели место в 1835 г., а возмущение лашманов — в 1836 г. В обоих отчетах

действиям Стогова дается высокая оценка, основанная на отзывах кн. А. Я. Лобанова-Ростовского и губернатора И. С. Жиркевича. Жиркевич, например, заявлял, что успешное окончание дела и возможность избежать применения военной силы связаны единственно с «благоразумным и усердным действием подполковника Стогова» (1835), являвшегося «главнейшим участником во всех распоряжениях по сему делу» (1836). Причину возмущения лашманов Бенкендорф, как и Стогов, усматривает в «неблагоразумном распоряжении» удельного начальства.

- 54 *Полицмейстер* — начальник городской полиции в губернских городах России (в столицах — обер-полицмейстер).
- 55 *Орден Святой Анны* — одна из высших наград в Российской империи; имел 3 степени. 2-й степени соответствовал крест, носимый на шее.
- 56 *Частный пристав* — чиновник, возглавлявший одну из территориальных полицейских единиц — «частей», на которые с конца XVIII в. делился город.
- 57 *Соломон* — царь Иудейско-Израильского царства в XX в. до н. э., которому библейская традиция приписывает авторство нескольких произведений, вошедших в Ветхий Завет.
- 58 В «Записках» Жиркевича отмечено, что император приехал в Симбирск 22 августа 1836 г.
- 59 Стогов пересказывает анекдот, имевший достаточно широкое распространение. Приводя этот случай в своих «Записках», известный поэт и государственный деятель кн. П. А. Вяземский относит его не к А. Х. Бенкендорфу, а к его отцу — Христофору Ивановичу Бенкендорфу.
- 60 *...там архиепископ с причтом...* — имеется в виду Анатолий (Максимович) бывший Симбирским и Сызранским архиепископом в 1832–1842 гг.
- 61 *Ремонтер* — офицер, занимающийся закупкой лошадей, т. е. «ремонтом», восполнением убыли лошадей в войсках.
- 62 Уездный город в Симбирской губернии.
- 63 Жиркевич сообщает о ней следующее: «Здесь в Симбирске есть некто княжна Тамара, фрейлина ее императорского величества, сосланная сюда из Грузии на жительство лет 6 тому назад по поводу открытого в Тифлисе заговора грузинских князей».
- 64 *Фермуар* — застежка из драгоценных камней на нагрудном или каком-либо другом ювелирном изделии; недлинное ожерелье, охватывающее шею.
- 65 Восстание 1830–1831 гг. на территории Царства Польского, входившего в состав России на правах автономии.
- 66 И. П. Хомутов был симбирским губернатором в 1836–1838 гг.
- 67 Скорее всего, она была дочерью В. А. Озерова.

- 68 *Елисаветинское дело* — сражение в ходе русско-иранской войны 1826–1828 гг., состоявшееся 13–14 сентября 1826 г. и завершившееся разгромом иранской армии. За это сражение Паскевич был награжден золотой саблей с бриллиантами и надписью «За поражение персиян под Елисаветполем».
- Елисаветполь* — до присоединения к России — Ганжа, столица Ганжинского ханства.
- 69 *Рескрипт* — именной акт, адресованный монархом какому-либо лицу.
- 70 *Кантонисты* — в 1805–1856 гг. солдатские сыновья, которые с рождения числились за военным ведомством.
- 71 Сражение между войсками Наполеона и войсками антинаполеоновской коалиции, вошедшее в историю под названием «битвы народов», состоялось под Лейпцигом 16–19 октября 1813 г.
- 72 Поселение на р. Иргиз, основанное старообрядцами в 1764 г. и носившее название Мечетная слобода, было одним из известнейших в России старообрядческих центров. Здесь в 1772 г. дважды побывал Е. И. Пугачев. В 1835 г. слобода была переименована в г. Николаевск и до 1850 г. входила в состав Саратовской, а затем — Самарской губернии. В 1918 г. город был переименован в г. Пугачев.
- 73 *Архимандрит монастыря* — Стогов хотел сказать: настоятель (т. е. игумен) монастыря. Сан архимандрита необязательно должен совпадать с должностью игумена, он присваивается и другим монашествующим лицам, либо занимающим административные посты, либо в качестве награды.
- 74 *Квартальный*, т. е. квартальный надзиратель — полицейский чиновник, возглавлявший низшую полицейскую инстанцию в городах — квартал.
- 75 *Начетники* — руководители старообрядческих общин, избираемые из лиц, отличающихся глубоким знанием старопечатных церковных книг.
- 76 *...чтобы никуда не определять...* — На самом деле А. П. Степанов 27 марта 1837 г. был освобожден от должности саратовского губернатора и причислен к Министерству внутренних дел с назначением членом Статистического комитета. 25 ноября того же года он скончался.
- Версию ликвидации раскольников монастыря, изложенную Стоговым, оспорил сын бывшего саратовского губернатора — Петр Александрович Степанов, опубликовавший в № 3 «Русской старины» за 1879 г. свое опровержение.
- 77 *Страстная (Вербная) неделя* — заключительная неделя Великого поста, начинающаяся после Вербного воскресенья. Во время нее пост соблюдался с особой строгостью.

- <sup>78</sup> *Через год переведен в Вятку.* — И. П. Хомутов был перемещен на должность вятского губернатора в 1838 г. Наличие серьезного конфликта между ним и симбирским дворянством подтверждается эпиграммой, посвященной этому событию, написанной М. А. Дмитриевым — племянником упоминаемого Стоговым местного уроженца, поэта и министра И. И. Дмитриева:

Иван Петрович наш назначен в перевод.  
Царю хвала и Богу слава!  
На Вятке будет он теперь давить народ,  
На Вятке, не у нас, получит Станислава!  
Иван Петрович наш назначен в перевод, —  
Вот как судьба правдива стала:  
И служба за царем его не пропадет,  
И наша за Богом молитва не пропала.

- <sup>79</sup> В публикации 1878 г.: «император Николай Павлович».

### Приложения

- <sup>1</sup> Имеется в виду А. Е. Стогова.
- <sup>2</sup> Вероятно, имеется в виду Александр Андреевич Дувинг. Рассказ Стогова относится к 1830-м гг. В «Списке генералитету по старшинству на 1834 год» (СПб., 1835) упоминается единственный генерал с такой фамилией.
- <sup>3</sup> По народному обычаю женщина, заменяющая на свадьбе мать.

# Аннотированный указатель имен

*Абрешитка* — татарин — 134, 135, 141–143.

*Авинов Александр Павлович* (1786–1854) — в 1803 г. окончил Морской корпус; в 1810–1821 гг. — лейтенант; впоследствии адмирал (1852). Служба Авинова насыщена яркими событиями; в частности, в звании мичмана в 1804–1807 гг. он плавал на судах английского флота в качестве волонтера и в 1805 г. принимал участие в Трафальгарском сражении; в 1816 г. за 18 морских кампаний был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени; в 1819–1822 гг. на шлюпе «Открытие» совершил кругосветное путешествие, в ходе которого выполнил описание северных берегов Америки и дал свое имя открытому им мысу — 70, 209.

*Адлерберг Владимир Федорович*, граф (1847) (1791–1884) — генерал от инфантерии (1843), генерал-адъютант (1828), член Государственного Совета (1842). С 1817 г. в качестве адъютанта сопровождал великого князя Николая Павловича (впоследствии — императора Николая I) в поездках за границу; с 1829 г. — во всех поездках — 149, 150, 156.

*Александр I* (1777–1825) — старший сын Павла I, император с 1801 г. — 18, 27, 55, 57, 58, 066, 75, 92, 98, 207, 208, 211.

*Александров* — атаман разбойничьей шайки в окрестностях Иркутска — 79.

*Анатолий* — в миру Андрей Максимович (ок. 1767–1844) — архиепископ Симбирский и Сызранский в 1832–1842 гг. — 150, 219.

*Анненков* — симбирский помещик — 119.

*Армстронг* — американский миллионер — 106.

*Арнольди Иван Карлович* (1783–1860) — генерал от артиллерии (1851), сенатор (1852), участник Отечественной войны и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. Потеряв ногу в сражении под Лейпцигом (1813), он тем не менее не покинул военную службу — 161.

*Ахвердов Николай Исаевич* (1755–1817) — генерал-лейтенант (1807); с 1799 г. — кавалер при воспитании великого князя Николая Павловича, которому с 1802 г. преподавал русскую словесность, историю, географию и статистику — 55.

- Ахматов* — симбирский помещик, родственник Мотовиловых — 186.
- Ахматов Петр Антонович* — симбирский помещик — 154.
- Ахматова* (наст. фам. *Горенко*) *Анна Андреевна* (1889–1966) — поэтесса; внучка Э. И. Стогова — 25.
- Бабкин Петр Петрович* — симбирский помещик — 111, 112, 148.
- Байрон Джордж Ноэль Гордон*, лорд (1788–1824) — английский поэт-романтик, с чьим именем связано распространенное в начале XIX в. в европейской литературе умонастроение, для которого, в частности, характерна подчеркнутая разочарованность в жизни — 120, 121.
- Баракин* — жандармский унтер-офицер — 132.
- Баратаев Михаил Петрович*, князь (1784–1856) — происходил из рода грузинских князей Бараташвили. С 1798 по 1809 г. находился на военной службе, которую был вынужден оставить из-за тяжелого ранения. С 1810 г. проживал в родовом имении Баратаевка близ Симбирска. В 1816 г. был избран уездным, а в 1820 г. — губернским предводителем дворянства, пост которого занимал до 1835 г.. М. П. Баратаев известен как поэт, ученый-нумизмат, член ряда научных обществ в России и за границей; был знаком со многими выдающимися деятелями своего времени, например, с А. И. и Н. И. Тургеневыми, Д. В. Давыдовым, И. А. Гончаровым. Имел двух сыновей (Михаила и Алексея) и шесть дочерей (Елизавету, Александру, Екатерину, Анну, Софью и Аделаиду) — 22, 120–122, 125–127, 130, 216.
- Бараташвили Николоз Мелитонович* (1817–1845) — грузинский поэт-романтик — 22.
- Бартенев Петр Иванович* (1829–1912) — редактор журнала «Русский архив» — 205.
- Бартенев* — гардемарин Морского корпуса — 60, 208.
- Басарчин* — фельдшер в Морском кадетском корпусе — 67.
- Баснин Василий Николаевич* (1799–1876) — принадлежал к роду известных сибирских купцов — меценатов и коллекционеров. С 12 лет участвовал в деятельности семейного торгового дома. Собирал коллекцию гравюр западноевропейских и русских художников, а также рукописи, карты и другие документы по истории Сибири, которые частично публиковал в «Чтениях общества истории древностей российских». В течение ряда лет проводил в Иркутске метеорологические наблюдения. Занимался акклиматизацией плодовых культур — 95, 99.
- Батенков (Батеньков) Гавриил Степанович* (1793–1863) — полковник; декабрист; в 1819–1821 гг. ближайший помощник М. М. Сперанского, занимавшегося подготовкой реформы управления Сибири — 7, 18, 24, 81–88, 90–91, 94, 97, 212.
- Белаго Гаврила Осипович* — помещик, родственник Стоговых, сын Т. С. Белаго — 52.

- Белаго Татьяна Семеновна* — крестная мать Э. И. Стогова — 11, 52, 53.
- Бенардаки Дмитрий Егорович* (ок. 1802 — 1870) — богатый откупщик — 128.
- Бенкендорф Александр Христофорович*, граф (1832) (1781 или 1783–1844) — генерал-адъютант (1819), генерал от кавалерии (1829), член Государственного Совета (1829); инициатор создания III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии — высшего органа политической полиции; с момента создания III отделения (1826) до своей смерти являлся главным начальником отделения и шефом приданного ему Корпуса жандармов — 13, 16, 22, 26, 27, 107, 108, 114, 126–128, 137, 147–152, 156, 160, 164, 172, 173, 175, 190, 191, 200–202, 217, 219.
- Бенкендорф Христофор Иванович* (1749–1823) — генерал от инфантерии (1798); отец А. Х. Бенкендорфа — 219.
- Бестужев Андрей Васильевич* — управляющий удельной конторой в Симбирской губернии — 26, 132, 137, 139–144, 216.
- Бестужев Борис Петрович* — отставной лейтенант флота, симбирский помещик — 109.
- Бестужев Григорий Васильевич*, генерал-майор — дважды избирался симбирским губернским предводителем дворянства: в 1835 и 1838 гг. Но второе трехлетие на этом посту ему отбыть не удалось: в «Сборнике исторических и статистических материалов о Симбирской губернии» (1868) указано, что он находился на этом посту до 11 мая 1840 г., что, скорее всего, означает до своей смерти — 22, 130–132, 148, 186.
- Бестужев Михаил Александрович* (1800–1871) — учился в Морском корпусе 1812–1817 гг.; декабрист — 7.
- Бестужевы*, семья — 158.
- Бибииков Дмитрий Гаврилович* (1791–1870) — генерал от инфантерии (1843), генерал-адъютант (1843), член Государственного Совета (1848); в 1837–1852 гг. — подольский и волынский генерал-губернатор, киевский военный губернатор; в 1852–1855 гг. — министр внутренних дел — 22, 157, 172, 173, 175, 190.
- Бибииков Николай Гаврилович* — брат киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибиикова — 190.
- Бичурин Никита Яковлевич* (в монашестве — Иакинф) (1777–1853) — русский китаевед. В 1807–1822 гг. был главою русской духовной миссии в Пекине; по обвинению в расстройстве дел миссии был предан суду и сослан простым монахом в Валаамский монастырь. В 1826 г. переведен в Александро-Невскую лавру в Петербурге и вскоре одновременно начал служить в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Опубликовал большое количество научных трудов — 100, 101.
- Бланк Анна Григорьевна*, урожденная Усова (? — после 1834) — жена Б. К. Бланка — 47, 48.



- Бланк Борис Карлович* (1769–1826) — стихотворец эпохи Александра I, известен как один из подражателей Н. М. Карамзина. Сын архитектора К. И. Бланка — 38, 47–50.
- Бланк Василий Борисович* (1820 — ?) — один из сыновей Б. К. Бланка, брат-близнец П. Г. Бланка — 205.
- Бланк Григорий Борисович* (1811–1889) — один из сыновей Б. К. Бланка — 205.
- Бланк Карл Иванович* (1728–1793) — архитектор, представитель барокко и раннего классицизма; в частности, принимал участие в перестройке Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, в строительстве усадьбы Кусково, принадлежащей графам Шереметевым, и т. д. — 48.
- Бланк Петр Борисович* (ок. 1820 — 1886) — один из сыновей Б. К. Бланка — 38, 205.
- Бланки, семья* — 11.
- Богданов Петр Иванович* — саратовский помещик — 152–155.
- Броневский Дмитрий Богданович* (1794–1867) — генерал-лейтенант, директор Императорского лицея; мемуарист — 208.
- Броневский Семен Богданович* (1786–1858) — генерал-лейтенант; в 1833–1837 гг. — генерал-губернатор Восточной Сибири; сенатор (1837). Большую часть военной службы провел в Сибири (1808–1837), начав ее в чине поручика адъютантом при Г. И. Глазенапе. Принимал активное участие в устройстве казачьего войска, защищавшего границы Западной Сибири — 73.
- Булатов Н. П.* — сибирский чиновник — 210.
- Бунин Иван Петрович* (1773–1859) — капитан 2-го ранга. В звании гардемарина в 1788 г. принимал участие в военных действиях против Швеции; в 1790 г. произведен в мичманы, в 1808 г. вышел в отставку — 11, 47, 48, 56, 58, 64, 71, 91, 209.
- Бунина Анна Петровна* (1774–1829) — русская поэтесса — 54–56, 64, 91, 207, 209.
- Буянов* — палач — 79.
- Валтер* — доктор — 85.
- Васильев Михаил Николаевич* (1777–1847) — вице-адмирал (1835); с 1831 г. — генерал-интендант флота. В 1819–1822 гг. начальник кругосветной экспедиции на шлюпах «Открытый» и «Благонамеренный» — 105, 213.
- Вейкарт Жорж* — врач, друг М. М. Сперанского — 211.
- Вейкарт Жорж (Егор Егорович)* — сын Ж. Вейкарта — 81, 96, 97, 211.
- Веселаго Феодосий Федорович* (1817–1895) — полный генерал по Адмиралтейству (1892), историк русского флота, почетный член Петербургской Академии наук — 208.
- Волконский Петр Михайлович*, светлейший (1834) князь (1776–1852) — генерал-фельдмаршал (1850), генерал-адъютант (1801),

в 1826–1856 гг. — министр императорского двора и уделов — 145, 173–175.

*Волошин* — иркутский капитан-исправник — 81, 93, 94.

*Воронов Николай Иванович* (? — 1853) — окончил Морской корпус в 1811 г.; в 1820–1823 гг. служил в Охотском порту; в 1824–1826 гг. состоял под судом за потерю катера с девятью матросами на Охотском рейде; понижен в чине — 71, 96.

*Вяземский Петр Андреевич*, князь (1792–1878) — сенатор (1855), член Государственного совета (1866); поэт — 219.

*Галилей Галилео* (1564–1642) — итальянский ученый, защищавший гелиоцентрическую систему мира — 88.

*Гамалея Семен Иванович* (1743–1822) — один из известных масонов, много занимавшийся переводом на русский язык мистических сочинений; сподвижник Н. И. Новикова; один из учредителей и управляющих новиковской типографической компании; конец жизни провел в имении Новикова — с. Авдотьине, где и был похоронен — 52.

*Гедельштрот (Геденштрот) Матвей Матвеевич* (ок. 1780 — 1845) — полярный исследователь, путешественник, автор труда «Отрывки о Сибири М. Геденштрота» (СПб., 1830); во время губернаторства Н. И. Трескина — верхнеудинский капитан-исправник — 86–88, 93, 94.

*Гельмерт Александра Егоровна*, урожденная Мотовилова — свояченица Э. И. Стогова — 180, 181, 187–189.

*Гельмерт Федор Федорович* — капитан; свояк Э. И. Стогова — 187–189.

*Георг Ольденбургский* (1784–1812) — принц, супруг Екатерины Павловны, сестры Александра. В 1809 (?) — 1812 гг. был тверским, новгородским, ярославским генерал-губернатором — 56, 208.

*Глазенап Григорий Иванович* (1750 или 1751 — 1819) — генерал-лейтенант (1800); с 1807 г. — командующий Отдельным Сибирским корпусом — 72.

*Голицын Дмитрий Владимирович*, светлейший (1841) князь (1771–1844) — генерал от кавалерии (1814), генерал-адъютант, член Государственного Совета (1821), московский генерал-губернатор (1820–1843) — 36–37.

*Голицына Мария Григорьевна*, княгиня — 27.

*Голов(н)ин Николай Вуколович* (ум. 1850) — в 1820 г. окончил Морской кадетский корпус; 2 марта 1832 г. назначен начальником Иркутского адмиралтейства; с 1837 г. — начальник Охотского порта; в 1845 г. уволен в отставку в чине контр-адмирала — 102.

*Голяткин* — саратовский квартальный надзиратель, впоследствии — киевский полицмейстер — 164.

*Гончаров Иван Александрович* (1812–1891) — писатель — 22.

- Горковенко Марк Филиппович* (? — 1856) — вице-адмирал (1851). Будучи зачислен в Морской корпус в качестве преподавателя математики в 1798 г. (еще до производства в мичманы в 1799 г.), он не прекращал педагогическую деятельность до своей смерти. Принимал активное участие в создании при корпусе типографии, в которой печатались составленные при его участии пособия по арифметике, математике, тригонометрии, физике и т. п. За педагогическую деятельность неоднократно удостоивался наград. В качестве инспектора классов педантично следил за успехами и знаниями своих питомцев. В подавляющем большинстве мемуаров, оставленных выпускниками корпуса разных десятилетий первой половины XIX в., ему выражается глубокая признательность — 63, 65, 208.
- Горчаков Александр Михайлович*, светлейший (1871) князь (1798–1883) — член Государственного Совета (1862), государственный канцлер (1867), министр иностранных дел (1856–1882) — 17, 27.
- Гребенщиков* — преподаватель в Морском кадетском корпусе — 65.
- Греч Николай Иванович* (1787–1867) — журналист, писатель; в 1812–1839 гг. (с 1825 г. совместно с Булгариным) издавал журнал «Сын Отечества»; в 1831–1839 гг. также совместно с Булгариным — газету «Северная пчела», пользовавшуюся покровительством III отделения — 69, 106.
- Давыдов Денис Васильевич* (1784–1839) — командир партизанского отряда из гусар и казаков во время Отечественной войны 1812 г.; генерал-лейтенант (1831); поэт — 66, 67.
- Давыдов Юрий Владимирович* (1924–2002) — советский писатель — 23.
- Дадьян* — князь — 120, 121, 123–127, 215.
- Дешаплет Андрей Самойлович* (? — 1841) — поступил в Морской корпус кадетом в 1811 г., произведен в гардемарины в 1814 г., закончил корпус и был произведен в мичманы в 1817 г. — 63, 64.
- Дмитриев Иван Иванович* (1760–1837) — известный русский поэт и государственный деятель; в 1810–1814 гг. — министр юстиции. Друг Н. М. Карамзина — 146, 171, 221.
- Дмитриев Михаил Александрович* (1796–1866) — критик, поэт, переводчик, племянник И. И. Дмитриева — 221.
- Добель Дарья Андреевна* — жена П. В. Добеля — 106, 107, 137.
- Добель Петр Васильевич* (? — ок. 1852–1855) — родился в Ирландии, вместе с родителями переехал в США. За помощь Крузенштерну награжден высочайше пожалованным ему перстнем и вскоре перешел на русскую службу, короткое время (ок. 1818 г.) был русским консулом на Филиппинских островах. Автор ряда работ, в которых описал свои путешествия — 105, 106.
- Дубельт Леонтий Васильевич* (1792–1862) — генерал от кавалерии (1856); с 1835 г. — начальник штаба Отдельного корпуса жан-

дармов; в 1839–1856 гг. — управляющий III отделением с.е.и.в. канцелярии — 14, 25, 26, 104, 105–108, 126, 128, 137, 145, 156, 160, 173–175, 189–191.

*Дубровин Николай Федорович* (1837–1904) — генерал-лейтенант (1888), академик Петербургской Академии наук (1890), военный историк, с 1896 г. редактор журнала «Русская старина» — 8.

*Дувинг Александр Андреевич* — генерал-лейтенант — 185, 221.

*Екатерина II* — Екатерина II Алексеевна (1729–1796), русская императрица с 1762 г. — 31, 111, 112, 148.

*Екатерина Павловна* (1788–1819) — великая княгиня, сестра Александра, супруга принца (герцога) Георга Ольденбургского — 56, 208.

*Елизавета Алексеевна* (1779–1826) — русская императрица, супруга императора Александра I — 207.

*Еразм* (XII в.) — монах Киево-Печерского монастыря — 10

*Ермолов Федор Иванович* — симбирский помещик — 169.

*Есинов* — симбирский помещик — 193.

*Жарков* — можайский купец — 54.

*Жиркевич Иван Сергеевич* (1789–1848) — генерал-майор; в 1834–1836 гг. — симбирский, в 1836–1838 гг. — витебский губернатор — 7, 8, 19, 20, 22, 128–133, 137–140, 144–149, 151, 216, 217, 219.

*Жмакин Александр Яковлевич* (1780–1850) — в 1826–1831 гг. — симбирский губернатор — 148.

*Жуков Василий Кириллович* — врач в Московском кадетском корпусе — 67, 68.

*Загряжская Каролина Осиповна*, жена А. М. Загряжского — 111, 127, 128.

*Загряжский Александр Михайлович* (1796 — после 1878) — в 1831–1834 гг. — симбирский губернатор — 8, 9, 19, 22, 24, 26, 109–113, 115, 116, 119–121, 123–128, 132, 134, 158, 159, 179, 214–216.

*Змунчила Ия Эразмовна*, урожденная Стогова — дочь Э. И. Стогова — 23, 25, 28, 196–199.

*Иван IV Васильевич Грозный* (1530–1584) — с 1533 г. — великий князь, с 1547 г. — царь — 30, 203.

*Иван Никитин* (1797 — ?) — слуга Э. И. Стогова — 35, 40, 45–47, 50, 51.

*Иванов*, полковник; комендант Омского гарнизона — 72, 74,

*Иринеи* — в миру Иван Гаврилович Нестерович (1783–1864) — являясь в 1830–1831 гг. архиепископом Иркутским, Нерчинским и

Якутским, вступил в конфликт с генерал-губернатором Восточной Сибири А. С. Лавинским. Эксцентричность поведения Ириней дала повод заподозрить у него «помрачение умственных способностей», и он был отправлен в вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь под надзор местного архиерея — 7, 29.

*Каменский Михаил Федорович*, граф (1797) (1738–1809) — генерал-фельдмаршал (1797) — 54, 207.

*Каменский Сергей Михайлович*, граф (1797) (1771 или 1772 — 1835) — генерал от инфантерии (1810), старший сын М. Ф. Каменского — 54, 207.

*Капцевич Петр Михайлович* (1772–1840) — генерал от инфантерии (1823), генерал от артиллерии (1835); с 1828 г. — командир Отдельного корпуса внутренней стражи — 150.

*Карамзин Николай Михайлович* (1766–1826) — писатель, историк; член Российской академии (1818), почетный член Петербургской Академии наук (1818) — 11, 171.

*Карцов Петр Кондратьевич* (1750–1830) — адмирал (1822), директор Морского кадетского корпуса в 1802–1825 гг. — 61–63, 68, 208.

*Кеплер Иоганн* (1751–1630) — немецкий астроном — 88.

*Килчевский* — жандармский полковник — 85.

*Клодт фон Юргенсбург Карл Федорович*, барон (1765–1822) — генерал-майор (1813); в 1817–1822 гг. — начальник штаба Отдельного Сибирского корпуса — 72, 73.

*Кобылин Дмитрий Петрович* — можайский капитан-исправник — 47.

*Кобылина Пелагея Ивановна* — жена Д. П. Кобылина — 47.

*Козлов Иван Яковлевич* — 79.

*Кокрен* — английский путешественник — 23.

*Колюбакин (Кумбакин)* — воспитанник Морского кадетского корпуса — 65, 209.

*Конарский Шимон* (1808–1839) — польский революционер, участник польского восстания 1830–1831 гг., после поражения которого эмигрировал. Вернувшись в Россию, создавал ячейки революционной организации на Украине, в Белоруссии и Литве. В 1838 г. арестован, в 1839 г. расстрелян — 157.

*Константин* — иеромонах лужецкого Богородице-Рождественского монастыря — 47.

*Константин Павлович* (1779–1831) — великий князь, второй сын Павла I — 55, 64, 112.

*Коперник Николай* (1473–1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира — 88.

*Корф Модест Андреевич*, граф (1872) (1800–1876) — член Государственного Совета (1843), почетный член Петербургской Академии наук (1852). В конце 1820-х гг. работал под руководством М. М. Сперанского во II отделении с.е.и.в. канцелярии над под-

готовкой Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. В 1861 г. издал первую подробную биографию Сперанского — «Жизнь графа Сперанского» (т. 1–2) — 211.

*Кочубей Виктор Павлович*, граф (1799), князь (1831) (1768–1834) — государственный канцлер внутренних дел (1834). В 1801–1803 гг. — член Негласного комитета; в 1802–1807 и 1819–1823 гг. — министр внутренних дел; с 1827 г. — председатель Государственного совета и Комитета министров — 212.

*Кроткий* — симбирский помещик — 153.

*Крузеништерн Иван Федорович* (1770–1846) — русский мореплаватель, адмирал (1842), почетный член Петербургской Академии наук (1806); совместно с Ю.Ф. Лисянским в 1803–1806 гг. возглавил первую русскую кругосветную экспедицию; описание путешествия и результаты океанических и этнографических исследований изложил в трехтомном труде «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежда“ и „Нева“». С 1811 г. был инспектором классов, а в 1827–1842 гг. — директором Морского корпуса — 63, 64, 105.

*Крутов* — полковник, флигель-адъютант — 113–117.

*Кузнецов Ефим Андреевич* (1771–1851) — известный сибирский золотопромышленник — 78, 79, 95–98,

*Кутузов Михаил Илларионович* (1745–1813) — светлейший князь Смоленский (1812); генерал-фельдмаршал (1812), с августа 1812 г. — главнокомандующий русской армией — 66, 83.

*Кутыгин Матвей Иванович* (1793–1862) — в 1811 г. окончил Морской корпус; в 1815–1824 гг. — начальник Иркутского адмиралтейства и местной морской команды; закончил службу в 1861 г. в чине полного генерала — 74.

*Лавинский Александр Степанович* (1776–1844) — в 1822–1833 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири — 7, 78, 79, 94, 95, 102.

*Лазаревич* — симбирский почтмейстер — 114.

*Лапчинский* — симбирский доктор — 130.

*Лафатер Иоганн Каспар* (1741–1801) — швейцарский писатель; пытался установить связь между духовным обликом человека и строением его черепа и очертанием лица — 97.

*Лейтон* — лейб-медик — 68.

*Лермонтов Михаил Николаевич* (1792–1866) — адмирал (1860); с 1832 г. — вице-директор Инспекторского департамента Главного Морского штаба; впоследствии — член Морского генерал-аудиториата — 105, 107.

*Лермонтов Михаил Юрьевич* (1814–1841) — поэт — 155.

*Лобанов-Ростовский Алексей Яковлевич*, князь (1795–1848) — генерал-адъютант (1833), генерал-лейтенант (1837). В 1836 г. был командирован в Симбирск для умирения крестьян, обязанных

поставлять лес для флота — 20, 22, 137–145, 160, 162, 163, 169, 174, 219.

*Ломов Гаврила Максимович* — сын М. К. Ломова, дядя Э. И. Стогова — 39, 41–46.

*Ломов Максим Кузьмич* — дед Э. И. Стогова — 11, 35, 39, 40–46.

*Ломова Настасья Ивановна* — жена М. К. Ломова, бабушка Э. И. Стогова — 39–46.

*Ломова Олена Яковлевна* — жена Г. М. Ломова — 42–46.

*Лопухин Василий Васильевич* — крестный отец Э. И. Стогова — 51, 52.

*Лопухина Авдотья Васильевна* — дочь В. В. Лопухина — 52.

*Лоскутов* — преподаватель Морского кадетского корпуса — 64.

*Лоскутов* — нижеудинский капитан-исправник — 93, 94.

*Лутковский Петр Степанович* (1802–1882) — в 1817 г. окончил Морской корпус; член Морского генерал-аудиториата (1858), член Главного военно-морского суда, адмирал (1867) — 65, 68.

*Мандрыка Николай Яковлевич* — генерал-лейтенант, в 1833–1854 гг. — окружной генерал 4-го округа внутренней стражи — 150.

*Мария Федоровна* (1759–1828) — вдовствующая императрица, вдова убитого в 1801 г. императора Павла I, мать императоров Александра I и Николая I — 55, 56.

*Маслов* — жандармский подполковник, предшественник Э. И. Стогова на посту симбирского жандармского штаб-офицера — 8, 12, 108, 109, 214.

*Матюшкин Федор Федорович* (1799–1872) — мореплаватель, исследователь Арктики; адмирал (1867), сенатор (1861) — 23.

*Мелина Анна Петровна*, урожденная Ханыкова, графиня — дочь адмирала П. И. Ханыкова — 56, 57.

*Меншиков Александр Сергеевич*, светлейший князь (1787–1869) — прямой потомок известного сподвижника Петра — А. Д. Меншикова; генерал-адъютант (1817); адмирал (1833); с 1827 г. являлся начальником Главного морского штаба — 103–105, 107.

*Михаил Павлович* (1798–1849) — великий князь, четвертый сын Павла I — 55, 113.

*Моллер Антон (Отто) Васильевич, фон* (1764–1848) — адмирал (1829); член Государственного Совета (1822); с 1821 г. — начальник морского штаба с правами управляющего Морским министерством; в 1828–1836 гг. — морской министр — 107.

*Мордвинов Александр Николаевич* (1792–1869) — ближайший помощник А. Х. Бенкендорфа, в 1831–1839 гг. — управляющий III отделением, впоследствии — действительный тайный советник, сенатор — 107, 213.

*Мотовилов Георгий Николаевич* — сын Н. Е. Мотовилова — 185.

*Мотовилов Егор Николаевич* — симбирский помещик, тесть Э. И. Стогова — 179–186.

- Мотовилов Николай Егорович* — сын Е. Н. Мотовилова — 185.
- Мотовилова Анна*, урожденная Дувинг — жена Н. Е. Мотовилова — 185, 186.
- Мотовилова Прасковья Федосеевна* — жена Е. Н. Мотовилова, теща Э. И. Стогова — 180, 182-186.
- Мотовиловы*, семья — 25.
- Мошинская Иоанна Яновна* — в 1818-1833 гг. — жена П. И. Мошинского; после развода с ним вторично вышла замуж за Станислава Юревича — 157.
- Мошинский Петр-Станислав-Войцех-Алоизий Игнатьевич*, граф (1800-1879) — масон, член Патриотического общества по Киевской, Волынской и Подольской губерниям; в августе 1825 г. у него в доме в Житомире состоялись переговоры с представителями Южного общества декабристов; арестован после восстания декабристов. В 1829 г. за участие в делах тайного польского общества приговорен к лишению титула и дворянства, к ссылке в Сибирь на поселение на 10 лет; в 1834 г. переведен из Тобольска в Симбирск; вскоре после этого получил разрешение вернуться на Украину — 19, 156-158.
- Муравьев Александр Николаевич* (1792-1863) — один из основателей первых декабристских организаций, впоследствии отошедший от дел тайного общества. В 1826 г. был приговорен к ссылке в Сибирь; с 1828 г. возвращен на государственную службу; в 1828-1831 гг. служил городничим в Иркутске. С 1861 г. — генерал-лейтенант и сенатор — 30.
- Мусин-Пушкин Алексей Иванович*, граф (1744-1817) — государственный деятель; президент Императорской академии художеств, известный археолог, член Российской Академии (1789), собиратель старинных рукописей (он, в частности, был владельцем подлинника «Слова о полку Игореве») — 49, 206.
- Мякишев* — отставной прапорщик — 186.
- Наполеон I Бонапарт* (1769-1821) — французский император в 1804-1814 гг. и в марте-июне 1815 г. — 46, 66, 92, 207.
- Нараевская Наталья Карповна* — 81.
- Нараевский* — полковник — 81.
- Нарышкин Александр Львович* (1760-1826) — обер-гофмаршал, обер-камергер, в 1799-1819 гг. — директор императорских театров. Вся его карьера была сделана при дворе. По свидетельству современников, Нарышкин отличался остроумием, склонностью к каламбурам, острым отзывам об окружающих, которые «сами вырывались из уст его, без напряжения ума» — 58, 75, 98.
- Нессельроде Карл Васильевич*, граф (1780-1862) — канцлер (1845), с 1816-1856 гг. — министр иностранных дел — 17.
- Нефедова* — симбирская помещица — 22.
- Никита* — слуга И. Д. Стогова — 34, 35.



*Николай Павлович* (1796–1855) — великий князь, с 1825 г. — император Николай I; третий сын Павла I — 10, 13, 15–18, 20, 21, 23, 26, 55, 87, 105, 112, 113, 116, 121, 137, 145, 147–151, 172–174, 176, 192, 214, 216, 219, 221.

*Ньютон Исаак* (1643–1727) — английский математик, механик, астроном — 88.

*Обухов П. И.* — иркутский купец — 210.

*Огнев* — симбирский чиновник — 114.

*Озеров Владислав Александрович* (1769–1816) — поэт, автор нескольких трагедий, пользовавшийся в начале XIX в. громкой, но кратковременной славой — 159, 171, 219.

*Оржевитинов* — симбирский помещик — 110–112.

*Оржеховский Игорь Вацлавович* — историк — 213.

*Островский* — капитан — 119.

*Павел I* (1754–1801) — сын Петра III и Екатерины II, с 1796 г. — император.

*Пан-Поняровский Василий Иванович* — можайский городничий — 46, 47, 51.

*Паскевич Иван Федорович*, граф Эриванский (1828), светлейший князь Варшавский (1831) (1789–1856) — генерал-адъютант (1825), генерал-фельдмаршал (1829) — 159, 220.

*Перовский Лев Александрович*, граф (1840) (1792–1856) — генерал от инфантерии (1854), генерал-адъютант (1854). В 1828–1840 гг. — вице-президент Департамента уделов, с 1840 г. — товарищ министра уделов; в 1841–1852 гг. — министр внутренних дел; в 1852–1856 гг. — министр уделов — 115, 172–175, 189.

*Пестель Иван Борисович* (1765–1843) — в 1806–1819 гг. — генерал-губернатор Сибири; отец декабриста П. И. Пестеля — 18, 75, 78, 211.

*Петр Великий, Петр I Алексеевич* (1672–1725) — с 1682 г. — царь, с 1721 г. — император — 51, 133.

*Повалишин Николай Васильевич* — в 1817 г. окончил Морской корпус; в 1819–1826 гг. служил в Охотске; в 1834 г. уволен со службы с чином капитана 2-го ранга — 71, 81,

*Подушкин Павел Алексеевич* — в 1817 г. окончил Морской корпус; генерал-майор (1851) — 65.

*Поздеев Алексей Осипович* — служил корпусным офицером в Морском кадетском корпусе в 1802–1819 гг.; затем вышел в отставку — 52, 55, 58, 63, 64, 207.

*Поздеев Осип Алексеевич* (ок. 1742 — 1820) — один из наиболее авторитетных в среде масонов людей (особенно после ареста в 1792 г. Н. И. Новикова); в его доме происходило посвящение в магистры масонских лож; к нему обращались главы лож за

советом во всех затруднительных теоретических и практических случаях — 52, 55, 207.

*Потемкин Григорий Александрович*, светлейший князь Таврический (1783) (1739–1791) — генерал-фельдмаршал (1784). Его биография обильна рассказами о его поступках и связанных с ним событиях, достоверность которых часто сомнительна — 33, 34.

*Прожек Марья Петровна*, урожденная Белякова — 128, 179, 180, 186.

*Протасов Николай Александрович*, граф (1799–1855) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант (1840), член Государственного Совета (1853); с 1836 г. — обер-прокурор Святейшего Синода — 115–117, 119, 120, 128.

*Птолемей Клавдий* (ок. 90 — ок. 160) — древнегреческий астроном, создатель геоцентрической системы мира — 89.

*Пугачев Емельян Иванович* (1740 или 1742 — 1775) — предводитель крестьянской войны 1773–1775 гг. — 137, 161, 218, 220.

*Пушкин Александр Сергеевич* (1799–1837) — поэт — 21, 25, 216.

*Пушкин Лев Сергеевич* (1805–1852) — младший брат А. С. Пушкина — 128, 216.

*Пушкина Елизавета Александровна*, урожденная Загряжская (1823–1895) — дочь А. М. Загряжского, жена Л. С. Пушкина — 128, 216.

*Раев* — правитель канцелярии симбирского губернатора — 129, 165.

*Ратманов Макар Иванович* (1772–1833) — вице-адмирал (1829), директор Инспекторского департамента Морского министерства (1827); мореплаватель. В 1803–1806 гг. на корабле «Надежда» принимал участие в первой русской кругосветной экспедиции — 63.

*Реомюр Рене Антуан* (1683–1757) — французский естествоиспытатель — 211.

*Рибас Хосе де (Дерибас Осип (Иосиф) Михайлович)* (1749–1800) — русский адмирал (1799); будучи испанцем по происхождению, перешел на русскую службу в 1772 г.; в 1789 г. командовал авангардом при взятии Хаджи-бея — 33.

*Рикорд Петр Иванович* (1776–1855) — русский мореплаватель, адмирал (1843), член-корреспондент Петербургской Академии наук (1818); в 1817–1822 гг. — начальник Камчатской области; за успехи в освоении Камчатки награжден орденом св. Анны 2-й степени — 69, 105, 106.

*Романов Петр Иванович* — майор в отставке, симбирский помещик — 194, 195.

*Румянцев*, граф — 98.

*Савин Аристарх Федорович* — учился в Морском корпусе в 1810–1817 гг.; в 1842 г. вышел в отставку с чином капитана 2-го ранга — 65.

- Семевский Михаил Иванович* (1837–1892) — историк, журналист, общественный деятель; в 1870–1892 гг. — редактор журнала «Русская старина» — 7, 8, 29, 30, 196, 203.
- Семенов Александр Николаевич* — участник Отечественной войны 1812 г.; был тяжело ранен в боях под Смоленском и на Бородинском поле — 64.
- Семенов Василий Николаевич* (1801–1863) — выпускник Царскосельского лицея, офицер (с 1824 г. — в отставке), чиновник Министерства народного просвещения, в 1830–1836 гг. — цензор — 64, 107, 108.
- Семенов Михаил Николаевич* — полковник лейб-гвардии Измайловского полка — 64.
- Семенов Николай Николаевич* — в 1851–1857 гг. — вятский губернатор — 64.
- Семенов Петр Николаевич* (? — 1832) — капитан лейб-гвардии Измайловского полка; отец известного географа и исследователя Тянь-Шаня — Петра Петровича Семенова (с 1906 г. — Семенова-Тян-Шанского) — 64.
- Семеновы, братья* — 64, 209.
- Сенковский Осип Иванович* (1800–1858) — писатель, журналист, востоковед, профессор С.-Петербургского университета (1822–1827); в 1834–1847 гг. (номинально — до 1856 г.) — редактор журнала «Библиотека для чтения», в котором под псевдонимом «Барон Брамбеус» публиковал свои повести и фельетоны — 107.
- Сен-Мартен, Клод Луи* (1749–1803) — французский философ-мистик, основатель масонской секты мартинистов — 207.
- Сеславин Александр Николаевич* (1780–1858) — командир партизанского отряда во время Отечественной войны 1812 г.; первым обнаружил отход французов из Москвы; генерал-лейтенант (1814) — 66, 67.
- Слизов* — кадет Морского корпуса — 59.
- Сновидов (Сनावидов) Ростислав Дормидонтович* — учился в Морском корпусе в 1808–1817 гг.; в 1826 г. вышел в отставку с чином капитан-лейтенанта — 65.
- Соломка* — вагенмейстер — 86.
- Сомов Андрей Николаевич* — учился в Морском корпусе в 1810–1817 гг.; 13 февраля 1829 г. уволен от флотской службы с чином капитана для определения к статским делам — 184–186.
- Сперанский Михаил Михайлович, граф* (1839) (1772–1839) — русский государственный деятель. Сын священника. В 1809 г. по поручению Александра I подготовил план государственного преобразования, в котором предлагал придать самодержавию внешние формы конституционной монархии. План не был реализован. В 1812 г. Сперанский по подозрению в государственной измене был сослан в Нижний Новгород, затем — в Пермь. В 1816 г. возвращен на государственную службу; в 1819–1821 гг. был ге-

нерал-губернатором Сибири — 7, 10, 17, 18, 24, 29, 75, 79, 80–85, 87–97, 211, 212.

*Станкевич* — польский врач, сосланный в Симбирск — 158.

*Степанов Александр Петрович* (1781–1837) — в 1835–1837 гг. саратовский губернатор; известен также как писатель, публиковавший свои повести и рассказы в журнале «Библиотека для чтения» — 161–163, 164, 220.

*Степанов Петр Александрович* (1805–1891) — генерал от инфантерии (1881), военный писатель, с 1870 г. — царскосельский комендант — 220.

*Стогов Дмитрий Дементьевич* — дед Э. И. Стогова — 31, 32, 35, 204.

*Стогов Иван Дмитриевич* (1766 или 1767 — 1852) — отец Э. И. Стогова — 11, 15, 18, 30–38, 41, 46–55, 64, 66, 102, 103, 186, 204.

*Стогов Михаил Дмитриевич* — можайский помещик, дядя Э. И. Стогова — 33, 34, 54.

*Стогов Федор Дмитриевич* — можайский помещик, дядя Э. И. Стогова — 33, 34, 54.

*Стогова Анна Егоровна*, урожденная Мотовилова (ок. 1817 — ок. 1863) — жена Э. И. Стогова — 25, 168, 180–184, 186–189, 191, 192, 221.

*Стогова Ираида Эразмовна* — дочь Э. И. Стогова — 190.

*Стогова Прасковья Максимовна*, урожденная Ломова (ок. 1781 — 1820-е гг.) — мать Э. И. Стогова — 35, 36, 38, 39, 45–48, 51, 52, 54, 55, 102.

*Суворов Александр Васильевич*, граф Рымникский (1789), князь Итальянский (1799) (1729 или 1730 — 1800) — русский полководец, генералиссимус (1799) — 33, 66.

*Сурков* — преподаватель в Морском кадетском корпусе — 59.

*Тамара* — грузинская царица — 155, 156 219.

*Тамерлан (Тимур)* (1336–1405) — создатель одного из могущественных государств Средней Азии, эмир (1370); совершил многочисленные завоевательные походы в Иран, Закавказье, Индию и др. — 136.

*Терновский* — капитан корабля «Святослав» — 69.

*Тит* — лакей Е. Н. и П. Ф. Мотовиловых — 182.

*Толстой* — граф, полковник — 120, 121, 124, 126.

*Толь Карл Федорович*, граф (1829) (1777–1842) — генерал от инфантерии (1826), генерал-адъютант (1823); во время Отечественной войны 1812 г. — генерал-квартирмейстер 1-й Западной армии — 66.

*Трескин Николай Иванович* (1763–1842) — в 1805–1820 гг. иркутский гражданский губернатор; назначен на этот пост по протекции генерал-губернатора И. Б. Пестеля, при котором служил с 1789 г. (Пестель взял его из Рязанской духовной семинарии и

определил писарем). Пестель считал Трескина деятельным, честным и преданным ему человеком и доверял ему до конца своей жизни — 18, 74, 75–80, 88, 93–96, 98, 210.

*Трескина Агнесса Федоровна* (? — 1819) — жена Н. И. Трескина — 78, 210, 211.

*Тургенев* — симбирский помещик — 110–112.

*Тургенев Александр Иванович* (1784–1845) — общественный деятель, историк, писатель; брат Н. И. Тургенева — 22.

*Тургенев Николай Иванович* (1789–1871) — декабрист; один из основателей «Союза благодетеля» и Северного общества; в 1824 г. уехал за границу; вернулся в Россию после амнистии 1856 г.; экономист, писатель — 22.

*Усова Варвара Петровна*, урожденная Бунина (до 1773 — после 1834) — вдова чиновника Дворцового ведомства; сестра И. П. и А. П. Буниных — 47–49, 209.

*Федор Тирон* (ум. 306) — раннехристианский святой — 37, 204.

*Фигнер Александр Самойлович* (1787–1813) — полковник (1813); командир партизанского отряда во время Отечественной войны 1812 г. Под видом французского офицера вел разведку в занятой французами Москве; под видом итальянского купца проник в крепость Данциг и вошел в доверие к французскому коменданту, который послал Фигнера с депешами к Наполеону (Фигнер доставил их русскому командованию). В 1813 г. погиб при переправе через р. Эльба — 66, 67.

*Фикельмон Карл-Людвиг*, граф (1777–1857) — австрийский посланник в Петербурге в 1829–1839 гг. — 114, 214.

*Флиге Карл Яковлевич* (1785 — после 1841) — генерал-майор (1839), военный губернатор Каменец-Подольской и гражданский губернатор Подольской губерний; в 1833–1839 гг. — жандармский штаб-офицер — 115, 128, 140, 216, 217.

*Фома Кемпийский* (ок. 1380 — 1471) — нидерландский религиозный мыслитель; канонизирован католической церковью — 91.

*Ханыков Иван Петрович* — сын адмирала П. И. Ханыкова — 56, 57.

*Ханыков Петр Иванович* (1743–1813) — адмирал (1799); с 1801 г. — главный командир Кронштадтского порта — 47, 56–58, 71, 208.

*Ханыков Петр Петрович* — сын адмирала П. И. Ханыкова — 56, 57.

*Ханыкова Екатерина Ивановна* — жена адмирала П. И. Ханыкова — 56.

*Хомутов Иван Петрович* — в 1836–1838 гг. — симбирский губернатор; в 1838–1839 гг. — вятский губернатор — 19, 21, 159, 165, 167, 168, 171, 172, 219, 221.

*Цейдлер Иван Богданович* (1780–1853) — комендант Иркутска; затем — в 1821–1835 гг. — иркутский гражданский губернатор; снят с этой должности за попытку облегчить положение сосланных в Восточную Сибирь декабристов — 75–77.

*Цейдлер Луиза Ивановна* — жена И. Б. Цейдлера — 81.

*Цейер Франц Иванович* (1780 — после 1835) — после назначения М. М. Сперанского генерал-губернатором Сибири по его просьбе был прикомандирован к нему; во время ревизии сибирского управления был председателем трех следственных комиссий и выполнял по поручению Сперанского самые ответственные задания — 81, 93, 96, 211.

*Чаадаев Петр Яковлевич* (1794–1856) — религиозный философ, публицист — 2.

*Чернавин* — капитан корабля «Гавриил» — 208.

*Черных В. А.* — исследователь — 8, 25, 26, 28.

*Чингис-хан (Тимучин)* (ок. 1155 — 1227) — основатель и великий хан (с 1206 г.) Монгольского государства; организатор завоевательных походов против народов Азии и Восточной Европы — 136.

*Шаликов Петр Иванович*, князь (1768–1852) — писатель, журналист; принадлежал к числу подражателей Н. М. Карамзину — 48–50, 206.

*Шахматов Павел Савватеевич* — дядя Э. И. Стогова — 64.

*Шенбок (Шембок) Юзеф*, граф — зять П. И. Мошинского — 157, 158.

*Шенбок Янина Петровна*, урожденная Мошинская (1820–1897) — дочь П. И. Мошинского, жена Ю. Шенбока — 157, 158.

*Шекспир Уильям* (1564–1616) — английский драматург — 34.

*Шиллинг фон Канштатт (Каштадт) Павел Львович*, барон (1786–1837) — известен как ориенталист, а также изобретатель электромагнитного телеграфа; ему принадлежит идея применения гальванического тока для взрыва мин и инициатива устройства литографии при Министерстве иностранных дел. П. Л. Шиллинг фон Канштатт состоял на военной службе, затем в 1814 г. перешел в Министерство иностранных дел и был отправлен в Монголию и к границам Китая. Занимался изучением китайского языка; собрал множество китайских, тибетских, монгольских рукописей, впоследствии переданных в музей Академии наук — 100–102, 104.

*Шишмарев* — капитан, адъютант Э. И. Стогова; в 1838 г. произведен в майоры и назначен симбирским жандармским штаб-офицером — 12, 168.

*Шкларевский Иван Иванович* — правитель канцелярии сибирского генерал-губернатора, уволен от службы в январе 1822 г. — 81, 212.

*Энгельгардт Лев Николаевич* (1765–1836) — генерал-майор (1799), мемуарист — 207.

*Эразм Роттердамский* (1469–1536) — нидерландский ученый-гуманист, писатель, филолог, богослов, виднейший представитель северного Возрождения — 97.

*Юрьевич* — майор — 113–115, 117, 214.

*Юрьевич Семен Алексеевич* (1798–1865) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант, с 1826 г. помощник воспитателя наследника цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II), которому с 1828 г. преподавал фортификацию, артиллерию и польский язык — 114, 214.

*Языков Николай Михайлович* (1803 — 1846/1847) — поэт — 171.

*Якубович Александр Иванович* (1796 или 1797 — 1845) — капитан Нижегородского драгунского полка. Членом тайных декабристских обществ, вероятно, не был, но 14 декабря 1825 г. принимал активное участие в восстании на Сенатской площади — 112.

Научное издание

**Эразм Иванович Стогов**

**Записки жандармского штаб-офицера  
эпохи Николая I**

Оригинал-макет *С. В. Родионовой*

**Издательство «Индрик»**

Книги издательства «Индрик» можно приобрести  
в книжной галерее «НИНА» по адресу:

ул. Б. Якиманка, д. 6  
тел. 238-02-69

**INDRIK Publishers** has the exceptional right to sell this book outside Russia  
and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered  
by

e-mail: [indric@mail.ru](mailto:indric@mail.ru)  
or by tel./fax: +7 095 938 57 15

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) — 95  
3800 5

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.

Формат 60×90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная.  
15 п.л. Тираж 1200 экз. Заказ № 8274

Отпечатано с оригинал-макета  
в ППП «Типография „Наука“».  
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6





В своих «Записках»  
Эразм Иванович Стогов —  
родной дед  
по материнской линии  
известной русской поэтессы  
Анны Ахматовой —  
рассказывает о жизни и нравах  
мелкопоместного дворянства,  
в кругу которого  
на рубеже XVIII-XIX вв.  
прошло его детство  
и начал формироваться  
его характер;  
об учебе в Морском  
кадетском корпусе;  
о командировке в Сибирь;  
о службе в Симбирске  
в качестве жандармского  
штаб-офицера  
в 1830-е гг.